

МАРИНА ЦВЕТАЕВА. СЕРГЕЙ ЭФРОН



Нет на земле второго Вас...

МАРИНА ЦВЕТАЕВА

СЕРГЕЙ ЭФРОН

Нет на земле второго Вас...



ВАГРИУС



МАРИНА ЦВЕТАЕВА
СЕРГЕЙ ЭФРОН

Нет на земле второго Вас...

Проза, стихи, письма
1911–1925

«Вагриус»
Москва

УДК 882-94
ББК 84Р7
Ц27

Предисловие Льва Аннинского
Примечания Людмилы Поликовской
Составление Елены Толкачевой

Художник А.Рыбаков

Цветаева М.И., Эфрон С.Я.

Ц27 Нет на земле второго Вас...: Проза, стихи, письма: 1911–1925 /
Марина Цветаева, Сергей Эфрон / Предисл. Л.Аннинского, примеч.
Л.Поликовской, сост. Е.Толкачевой. – М.: Вагриус, 2007. — 304 с.

ISBN 978-5-9697-0451-0

Название этой книге дала строчка из стихотворения Марины Цветаевой, обращенного к ее мужу Сергею Эфрону.

История их отношений неоднозначна и до сих пор вызывает много вопросов, рождает много догадок. В этом сборнике, где их произведения и письма впервые собраны под одним переплетом, им предоставлена возможность самим рассказать друг о друге и о времени, в которое им пришлось жить.

УДК 882-94
ББК 84Р7

Охраняется Законом РФ об авторском праве

ISBN 978-5-9697-0451-0

© Аннинский Л.А., предисловие, 2007
© Поликовская Л.В., примечания, 2007
© Толкачева Е.В., составление, 2007
© Оформление. ЗАО «Издательство «Вагриус», 2007

Эфронт Марины Цветаевой

- Мама, что такое Наполеон?
- Как? Ты не знаешь, что такое Наполеон?
- Нет. Мне никто не сказал.
- Да ведь это же — в воздухе носится!

Диалог Марины с матерью

Список мужчин, в которых была влюблена Марина Цветаева, не покажется столь уж фантастическим, если учесть, что чувство любви она ощутила с момента, когда начала себя помнить; определить, кого полюбила «самого первого», не хотела, ибо всегда находился еще и «до-первый», и, наконец, это чувство ничего общего не имело с такими пошлостями, как брак и замужество. На этот счет она хорошо «высказалась» в отрочестве: дала объявление в «Брачную газету» и указала свой адрес в Трехпрудном переулке. Мистификация кончилась скандалом: явившихся соискателей выпроваживал дворник. Отец семейства, тихий самоотверженный музейщик, с трудом терпел такие шуточки дочери, привыкая к тому, что любовь для нее — не просто преимущественное состояние души, но род сомнамбулического безумия, мало считавшегося с реальностью.

Я, когда не люблю, — не я.

Итак, «самый первый» избранник сердца — Наполеон. Страсть простирается до того, что из личной иконы выброшен святой, а в оклад вставлен Бонапарт. Отец от такого кошунства в отчаянии, но дочь непреклонна. Любовь переносится и на Бонапартова сына; тут, к счастью, находится некошунственный выход: перевод Ростанова «Орленка» с французского на русский (в сущности, первое приобщение Марины Цветаевой к литературному труду).

Две эпохи спустя, отплывая из Франции в СССР на гибель, она вспомнит отплытие из Франции к острову Святой Елены своего первого избранника, обозначив его буквой N.

Следующие избранники — служители муз. Поэт-мистик Эллис (переводчик с французского, тепливший свечку перед портретом Бодлера). Поэт-антик Нилендер (переводчик Орфея и Гераклита, объяснивший Марине, что нельзя дважды войти в одну реку). В последнем случае дело едва не дошло до обручения... Бог спас.

От элементарностей Гименея молоденькую Марину Цветаеву оберегает миражный мир, ее окруживший (точнее, ею сотворенный из того, что «в воздухе носится»). Но если дорасти до состояния, когда природа потребует своего, — тогда из «царства теней» выведет ее на свет реальности даже и самый обыкновенный молодой человек (между прочим, ее моложе).

Этот момент в жизни Марины Цветаевой рельефно высвечен в книге Виктории Швейцер: «Она жила в заколдованной стране своего одиночества... Расколдовал ее... Сережа Эфрон»¹.

Насчет того, кто кого «расколдовал», есть и другие мнения. Виктория Швейцер приводит ироническую строчку Софьи Парнок, обращенную к Сергею: «Не ты, о юный, расколдовал ее». Это достаточный повод объяснить, что в патетических строчках Цветаевой, обращенных к Сергею, есть любовь, но нет эротики, которая пошла по другому адресу. Кто тут прав, Софья или Виктория (не удержусь от каламбура: спасет ли нас Мудрость от сомнительной Победы), я судить не хочу (хотя троих отпрысков свежеповенчанная пара в конце концов на свет произвела), — но что встреча с Сергеем Эфроном воспринята Мариной Цветаевой как провиденциальная в ее (и его) судьбе, — факт. Факт жизни. И факт поэзии.

Что он такое — для нее?

В нем — странное скрещенье вроде бы несовместимых начал. Не только русского и еврейского (каковой контакт для рубежа XIX—XX веков отнюдь еще не столь обыкновенное дело, как для послереволюционной Советской эпохи, когда евреи кинулись в столицы через упраздненную черту оседлости). Еще разительней в древе Сергея — скрещенье психологических, социальных и политических ветвей: евреи (которым вроде бы указано судьбой идти в революцию) хранят старинный, раввинический, жестковейный дух Завета. Из русских же — из рода Дурново (есть версия, будто мать Сергея приходилась племянницей московскому генерал-губернатору, но это спорно); бесспорно же вот что: из колен этого верноподданного русского рода выходит настоя-

¹ Виктория Швейцер. Марина Цветаева. Серия «Жизнь замечательных людей». М., 2002. С. 84—85.

щая «тургеневская героиня» и идет в революцию — рушить русское государство. Ее путь: «Народная воля», террор, арест, суд, побег за границу. Дети, воспитанные в эсэровском духе. Один из сыновей, гимназист, играя в «казнь народовольца», случайно срывается с петель на шею. Узнав о его гибели, в ту же ночь вешается его мать.

Вырастая в этом безумии, Сергей Эфрон на всю жизнь приобретает комплекс: «шатость в устоях». Отсутствие точки опоры. Сиротство, взывающее к духовной опеке.

Марине важно даже не то, что тут скрестились две крови (в ней самой русское приправлено и немецким, и польским), и не то, что сошлись взаимоисключающие политические начала (у нее у самой «декабристы и версальцы» запросто меняются ролями), — ее потрясает то, что такой же, как и она, сомнамбулический изгой эпохи так же, как и она, ищет опору. И ищет — в ней!

И еще: с первой встречи (в Коктебеле летом 1911 года) он влюбляется — на всю жизнь! — в ее стихи. Для поэтов это едва ли не важнее самой жизни.

Литературные возможности Сергея Эфрона, как известно, некоторыми биографами берутся под сомнение. Но его рассказ «Волшебница», написанный в том же 1911 году, когда они влюбились друг в друга, свидетельствует и о явном таланте, и о тонком чувстве юмора, и о поразительной психологической проницательности.

Синяя юбка метнула меня по лицу. Сумасшедшая... Большая девочка в синей матроске. Короткие светлые волосы, круглое лицо, зеленые глаза, прямо смотрящие в мои.

Это же прямое попадание в портрет Цветаевой, написанный Магдой Нахман два года спустя!¹

Когда мы на следующее утро вышли к чаю, мы не узнали вчерашней Мары. Серо-бледная, с крепко сжатыми губами, сидела она у стола, порывисто мешая свой кофе ложечкой. При виде нас она покраснела и молча протянула нам фуку...

Считает нас слишком маленькими?..

— Днем она всегда такая...

¹ И воспроизведенный на обложке книги Викторией Швейцер — лучший, пожалуй, портрет Цветаевой, и во всяком случае — единственный ее живописный портрет, сделанный с натуры.

Да это же всегдашняя «утренняя» Цветаева, в пепельном освещении изматывающей работы — такой ее запомнит и опишет дочь Ариадна много лет спустя.

Сергей Эфрон в «Волшебнице» передает ощущение некоторого столбняка при появлении новой знакомой.

...она обедала стоя... оставившая тарелку, стояла, высоко подняв голову, — теперь кудри лежали у нее по плечам — и рассматривала свой дым.

Не могу отвязаться от наваждения: вот так же будет стоять она тридцать лет спустя в Елабуге перед петлей, а по углам избы — отставленные мешочки с крупами, приготовленные на зиму. Ей будет сорок восемь.

В рассказе Эфрона ей — семнадцать. По «метрике». А по самоощущению?

— Мне уже не семнадцать, а двадцать семь, а тридцать семь, а сорок семь лет... От меня требуют разумного поведения, спокойного взгляда на жизнь, знания ее. А в глубине я все тот же сорванец, та же семнадцатилетняя, с тем же сердцем и той же душой... Мне приходится сдерживать себя, изменять настоящей себе из-за этого старого лица, — быть почтенной дамой, над которой я сама смеюсь. Это ужасно, ужасно!

Заметим и это: ничего «дамского»!

Рассказчику — не шестнадцать, как должно быть по «метрике», а лет на десять меньше. Реальный Сергей Эфрон (переименовавший себя в рассказе в Кира) моложе Марины на год. А по мироощущению — неизмеримо моложе. Слабее. Несчастнее. Вся немислимость тогдашнего окружающего мира, все «носившееся в воздухе», нависшее надо всем безумие — в нем.

«Взяла за руку и повела по жизни», — кажется, Виктория Швейцер цитирует в этой связи Эренбурга, развивавшего перед ней концепцию такого любовного союза: она «лепит» его образ, как мать — образ сына. Как поэт — своего героя. Как трагическая Пифия — несчастного смертного, которого жизнь «швыряет из стороны в сторону».

Его портрет в ее стихах:

*На светло-золотистых дынях
Аквамарин и хризопраз
Сине-зеленых, серо-синих,
Всегда полужакрытых глаз.*

«Венецианские глаза» Эфрона унаследует дочь Ариадна.

*Я с вызовом ношу его кольцо
— Да, в Вечности — жена, не на бумаге. —
Его чрезмерно узкое лицо
Подобно шпаге.*

Зачем Вечности — шпага? Что значат две капли в море крови?..
А брезжит трагедия.

*Безмолвен рот его, углами вниз,
Мучительно-великолепны брови.
В его лице трагически слились
Две древних крови.*

Какая «польза» от этого кровосмешения?

*Он тонок первой тонкостью ветвей.
Его глаза — прекрасно-бесполезны! —
Под крыльями распахнутых бровей —
Две бездны.*

Какое «будущее» у бездны?

*В его лице я рыцарству верна.
— Всем вам, кто жил и умирал без страха.
Такие — в роковые времена —
Слагают стансы — и идут на плаху.*

До плахи ему — еще четверть века. А колокол уже бьет. Стихи мечены 3 июня 1914 года...

В том, что Сергей Эфрон в военное время записывается в армию, некоторые исследователи усматривают прямое влияние Марины Цветаевой, желавшей видеть в своем избраннике воина и рыцаря. Такое же влияние можно усмотреть в воинском самоопределении Николая Гумилева, желавшего быть воином в глазах Анны Ахматовой. С тою разницей, что Гумилев и по характеру воин, а Эфрон — скорее мечтатель-миротворец. Первый, непримиренный, в конце концов будет казнен противниками-большевиками. Второй сначала попадет к белым, потом к красным и в конце концов будет тоже казнен (чекистами, к которым переметнется).

Эта драма — впереди. А пока что солдатка пишет письма мужу-новобранцу, которого по рыцарскому ритуалу продолжает называть на Вы.

Я живу очень тихо... сижу в палисаднике, над обрывом, курю, думаю...

Это написано 19 октября 1917-го. За пять дней до большевистского переворота.

— *А у нас недавно был большевик!.. «Да, да, прочел нам целую лекцию. Обыватель — дурак, поэт — пророк, и только один пророк, — сам большевик».*

— *Кто ж это был?*

— *Поэт Мандельштам.*

Все во мне взызрало.

Мандельштам прекрасный поэт.

— *Кто знает конец... Мандельштама?*

Может, и хорошо, что никто не знает? Конец Мандельштама — через два десятилетия. Конец Империи — через два дня...

...Как низки люди!... Ах, Сереженька! Я самый беззащитный человек, которого я знаю. Я к каждому с улицы подхожу вся. И вот улица мстит. А иначе я не умею...

«Роковые времена» научат. И ее. И Сереженьку.

Прапорщик Эфрон, перешедший с осени 1917 года на казарменное положение, описывает октябрьские дни в Москве так скрупулезно, что не сообразишь, то ли это дневниковые записи, то ли они так обработаны литературно — «Записки добровольца». В любом случае — это честный до бесхитростности репортаж о буднях офицера, оказавшегося на улицах столицы в дни Октябрьского переворота.

Неразбериха безначалия. Обреченные выплески воинской доblesти. Уличное столпотворение, когда хорошо видны «дураки и дуры, которые ничего не чувствуют и ничего не понимают». Не так видны уличные мальчишки, похватавшие брошенное солдатами оружие и притаившиеся на крышах и чердаках. Комнатные же мальчишки, явившиеся из гимназических классов к господам офицерам, хотят получить оружие, чтобы сражаться с уличными мальчишками.

Где, кто, почему, на чьей стороне? — не разберешь. Видна только ненависть толпы к «золотопогонникам», а когда прапорщик

переодевается в гражданское, его все равно опознают: «морда юнкерская».

Хорошо еще, «венцианские глаза» не засекли. С таким же физиономическим восторгом чуть позднее Сергей Эфрон живописует увиденную в вагоне простонародную деваху: пунцовые щеки, утиный носик, щелки глаз... Квиты!

В этом впечатляюще описанном преставлении светов поразительны два зияющих ОТСУТСТВИЯ.

Отсутствие всякого намека на то, за что и почему сражается этот прапорщик. Царю присягал? Да царь-то отрекся. О какой присяге можно говорить после Февраля 1917 года? Кому хранить верность? Керенскому, что ли?!

Уже отвалив на Юг и записавшись в Белую армию, прапорщик Эфрон подает начальству нечто вроде проекта: вот если формировать полки, давая им имена городов (Московский, Петроградский, Киевский и т.д.), вдруг придут и средства из этих городов? И за этой интеллектуальной программой извольте уловить тоску по единству «всей остальной России»? Да любые четыре строчки Цветаевой из «Лебединого стана», слезами и кровью написанные, смоят эту запоздалую умозрительность!

*Белый был — красным стал:
Кровь обогрела.
Красным был — белым стал:
Смерть побелела...*

Но ни намека на присутствие Цветаевой — в «ауре» офицерских записок Эфрона. И это второе зияющее ОТСУТСТВИЕ тоже вызывает к объяснению. У него же дом «на Поварской», и — ни звука! Он что, присягу дал отречься от жены?

Представьте себе, дал. Уже в Новочеркасске подписал очередную присягу как солдат Добровольческой армии: «Отказаться от личной жизни, чтобы отдать ее — всю — спасению Родины». Особый пункт — «отречься от личных уз (родители, жена, дети)...».

И всё. Вываливается жена в какой-то тифозный бред, запись которого (уже от имени некоего вымышленного Василия Ивановича) примыкает к «Запискам добровольца»: странный сон, во сне он хочет постучаться в родное московское окно, а там — ни стекла, ни рамы...

В завершение эпизода — чья-то нацарапанная на стенке вагона надпись: «Моя любовь. Май, 11 год».

Тот самый, 1911-й...

По убеждению Ильи Эренбурга (который в 1921 году нашел Сергея в Праге и «вернул» Марине), не уход мужа в Добрармию сделал Цветаеву певцом Белого дела, а наоборот, ее отношение к событиям направило мужа на этот путь. Она, можно сказать, толкнула его на Юг...

Так, может, разгадка его на этот счет молчания тем и объясняется, что он, получивший от возлюбленной такое рыцарское напутствие, не решается признаться ей (и себе), что оно не выполнено?

Или это природная самоистребительная неустойчивость заставляет его тушеваться перед крутой определенностью ее напутствия?

Вот это напутствие:

...Вы с Вашим инстинктом самоистребления. Разве Вы можете сидеть дома? Если бы все остались, Вы бы один пошли. Потому что Вы безупречны. Потому что Вы не можете, чтобы убивали других. Потому что Вы лев, отдающий львиную долю: жизнь — всем другим, зайцам и лисам. Потому что Вы беззаветны и самоохраной брезгуете, потому что «я» для Вас не важно, потому что я все это с первого часа знала!

Если Бог сделает это чудо — оставит Вас в живых, я буду ходить за Вами как собака.

Зачем — про собаку? Разве Прекрасная Дама, напутствующая своего Рыцаря на подвиг, ТАК о себе мыслит? Или тут самоуничтожение паче гордости?

А вдруг — обмолвка на будущее? Чтобы два десятка лет спустя приписать: «Вот и поеду — как собака. 17 июня 1938» — собираясь за Эфроном в страну, где победила ненавистная революция?

Дочь Ариадна:

«Мама дважды сломала свою жизнь из-за отца. Первый раз — когда уехала за ним из России, второй — когда за ним же вернулась».

Как все это связать?

Уж у Марины-то Цветаевой, в отличие от ее либерального окружения, система убеждений сочетается с безошибочной зоркостью на реалии процесса. У тех — сквозь бесчинства мародеров Февраля мерцает богоподобная Свобода. А ей эта Свобода напоминает «гулящую девку на шалой солдатской груди». У тех — сквозь реквизиции большевиков сияет будущий справедливый строй. А она сознаётся, что, принимая иных из коммунистов, сам коммунизм ненавидит. Их революционность питается ненавистью к самодержавию. А у нее ненависть к само-

держцу вспыхивает один раз — за его слабость, и это скорее жалость к царю...

Так что же, Цветаева — монархистка?

Нет! Не более чем «бонапартистка» за десять лет до 1917 года. Наделенная трагическим чутьем на общую беду, она смотрит поверх голов, сквозь всю эту муть и жуть. Ибо видит жуть куда более страшную. Гибель России. А если и спасение России — то через пугачевское самоуничтожение, через татарский террор, через разинский разгул.

*Стенька Разин, я не персияночка, во мне нет двуострого коварства:
Персии и нелюбящей. Но я и не русская, Разин, я до-русская, до-татар-
ская, — довременная Русь я — тебе навстречу!*

Из этой довременности, вневременности, из крошечного безвыхода — как ей любить избранника, шатающегося от павшей на него роли, самоубийственно неготового к этой роли? Он — НЕ ХОЧЕТ в Добровольческую армию! Но — идет.

— *Теперь о главном. Мариночка, — знайте, что Ваше имя я крепко ношу в сердце, что бы ни было — я Ваш вечный и верный друг. Так обо мне всегда и думайте.*

Она, как нормальная жена-солдатка, думает еще и о том, как обеспечить его — насущным.

Завтра отправлю Вам деньги телеграфом... отправлю Вам простыни, — когда они дойдут? Я страшно боюсь, что потеряются. Отправлю две... Может быть, Вы помните, — куда Вы девали ключ от сундучка?..

И рядом — как ненормальная — не «деньги» мыслит, а все ту же рыцарскую шпагу, «простыни» режет символическим кортиком, не «сундучок» видит — ларчик волшебный:

*На кортике своем: Марина —
Ты начертал, встав за Отчизну.
Была я первой и единой
В твоей великолепной жизни.*

*Я помню ночь и лик пресветлый
В аду солдатского вагона.
Я волосы гоню по ветру,
Я в ларчике храню погоны.*

Погоны Эфрон снимет, когда убедится, что Белое дело безнадежно. Ее — убеждать не надо: как Пифия, она чует катастрофу заранее — и именно в катастрофу в конце концов ввергнется вместе с ним.

Она и теперь — готова. В небытие неизвестности (не в печать, понятно) адресует стихотворение, обозначая адресата инициалами: С.Э.

*Писала я на аспидной доске,
И на листочках вееров поблёлкых,
И на речном, и на морском песке,
Коньками по льду и кольцом на стеклах, —*

*На собственной руке и на стволах
Березовых и — чтобы всем понятней! —
На облаках — и на морских валах —
И на стенах чердачной голубятни...*

Два десятилетия спустя, в отчаянии от неизвестности, она попробует «пристроить» это стихотворение в печать (безумная затея, понятно), прокричав о своей любви — ему, сходящему с ума в застенках НКВД.

*И на стволах, которым сотни зим,
И, наконец — чтоб было всем известно! —
Что ты любим! любим! любим! — любим! —
Расписывалась — радугой небесной.*

Пошла бы к нему туда, в застенок, в 1941-м, как в 1921-м...

*Пусть весь свет идет к концу —
Достою у всемогущей!
Чем с другим каким к венцу —
Так с тобою к стеночке.*

Свет пойдет-таки к концу. С поблеклыми веерами, морскими и речными пляжами, кольцами обручальными и радугами небесными. Стеночкой все кончится. Через двадцать лет.

А пока — отсрочка.

Найдется за кордоном суженый — и бросится к нему за кордон (а потом обратно — когда вихрем катастрофы его шатнет возвратиться вспять).

Но прежде, чем обрести его ТАМ, надо еще промяться до мая 1922 года — ЗДЕСЬ, в государстве, где разинско-пугачевским ог-

нем запылали ценности, которые и сам Наполеон не смог нам привить. Теперь – горите!

*Так вам и надо за тройную ложь
Свободы, Равенства и Братства!*

Нет ли в записках этой красной поры тайных знаков мужу-белогвардейцу, все еще числящемуся в пропавших без вести?

Есть. Но не в тех записках, что сняты с матерящихся уст «народа» в вагонах, набитых мешочниками. А в тех записках, что сложены во время «служб» в советских идеологических конторах, где пристроились интеллигенты раскладывать по полочкам для начальства вырезки из буржуазных газет.

Мысленный диалог с коллегой, таким же молчаливым «белым негром», то есть таким же вынужденным бездельником:

«Ликвидация безграмотности»... «Долой белогвардейскую свол»... – Это вам – «Буржуазия орудует»... Опять вам... «Все на красный фронт»... Мне... «Обращение Троцкого к войскам»... Мне... «Белоподкладочники и белогвар»... Вам... «Приспешники Колчака»... Вам... «Зверства белых»... Вам...

Потопая в белизне. Под локтем – Мамонтов, на коленях – Деникин, у сердца – Колчак.

– Здравствуй, моя «белогвардейская сволочь»! Строчу со страстью.

– Да что же вы, товарищ Эфрон, не кончаете?.. Товарищ Эфрон! (Шепот почти над ухом. За плечом мой «белый негр», весь красный. В руке хлеб.) – Вы не обедали, может, хотите? Только предупреждаю, с отрубями...

И фамилию носит – мужа-белогвардейца. Не боится же!

Таинственный смысл этого бесстрашия – как всегда, в стихах:

*Сижу без света, и без хлеба,
И без воды.
Затем и насылает беды
Бог, что живой меня на небо
Взять замышляет за трупды.*

*Сижу, – с утра ни корки черствой –
Мечту такую полюбя,
Что – может – всем своим покорством
– Мой Воин! – выкуплю тебя.*

16 мая 1920

Каким же она его два года спустя выкупила?

Из статьи Сергея Эфрона «О Добровольчестве», написанной уже после возвращения и семейного воссоединения в Праге:

Положительным началом, ради чего и поднималось оружие, была Родина. Родина как идея — бесформенная, безликая, не завтрашний день ее, не «федеративная», или «самодержавная», или «республиканская», или еще какая, а как не определяемая ни одной формулой и не объемлемая ни одной формой. Та, за которую умирали русские на Калке, на Куликовом, под Полтавой, на Сенатской площади 14 декабря, в каторжной Сибири и во все времена на границах и внутри Державы Российской, — мужики и бары, монархисты и революционеры, благонадежные и Разины.

Какую Родину он хочет? Не знает. Шатается дух, честный в своем шатании. Готов каяться. Перед кем? Перед Россией? Но ее заново укрепляют для себя — красные. Если не признать вину перед ними — то и в Россию не вернуться. Мы же всё еще белые. То есть мы уже черные от грязи...

Плутага меж версиями евразийства, студент Пражского университета, решивший из прапорщиков переквалифицироваться в филологи (сразу надо было в филологи идти! — Л.А.), мучительно перебирает варианты: какая Родина ему нужна.

Рационально ничего тут не объяснить и в сотне трактатов.

Поэтически — хватает четырех строк:

*Знай, в груди моей часы
Как завел — не ржáвели.
Знай, на красной на Руси
Всё ж самодержавие.*

Это — чтобы не вдаваться в оттенки. Так что соизмеряйте силы, рыцарь: выдержите ли Вы то самодержавие, которым на Руси все оборачивается. А иначе не претендуйте на Русь.

Испытание влюбленных далью заканчивается. Начинается испытание близью. Ясноглазый Эфрон надеется на близость, в которой все разрешится. Ясновидящая Цветаева готовится к худшему.

Дочь запомнила их встречу:

«Сереза уже добежал до нас, с искаженным от счастья лицом, и обнял Марину, медленно раскрывшую ему навстречу руки, слово оцепеневшие.

Долго, долго, долго стояли они, намертво обнявшись, и только потом стали медленно вытирать друг другу ладонями щеки, мокрые от слез...»

Это не счастливый финал. Это начало предпоследнего акта трагедии.

От пятнадцати эмигрантских лет остается не так много напрямую взаимосвязанных текстов — герои живут вместе, семейно, детно. В отличие от предыдущих десяти лет переклик любви восстанавливается по косвенным свидетельствам: по записочкам, по фразам, застрявшим в памяти мемуаристов, по письмам третьим лицам.

Ход событий уже восстановили биографы (лучшая реконструкция, на мой взгляд, сделана Викторией Швейцер, к чьей книге я и отсылаю читателей), лирический же нерв драмы попробую нащупать.

Две измены сразу после встречи подрезают любовь: измена телом и измена душой.

Бурные и громкие романы Цветаевой, свидетелем коих сразу делается Эфрон, исследователями пронумерованы и объяснены; я все это повторять не хочу; меня интересует душевное состояние двух главных героев, и прежде всего — «Сереженьки».

Исповедуется он — своему старому другу Волошину:

Дорогой мой Макс!

...Марина — человек страстей. Гораздо в большей мере, чем раньше... Отдаваться с головой своему урагану для нее стало необходимостью, воздухом ее жизни. Кто является возбудителем этого урагана сейчас — неважно. Почти всегда ... все строится на самообмане. Человек выдумывается, и ураган начался. Если ничтожество и ограниченность возбудителя урагана обнаруживаются скоро, Марина предается ураганному же отчаянию. Состояние, при котором появление нового возбудителя облегчается. Что — не важно, важно — как. Не сущность, не источник, а ритм, бешеный ритм. Сегодня отчаянье, завтра восторг, любовь, отдавание себя с головой, и через день снова отчаяние. И это все при зорком, холодном (пожалуй, вольтеровски-циничном) уме. Вчерашние возбудители сегодня остроумно и зло высмеиваются (почти всегда справедливо). Все заносится в книгу. Все спокойно, математически отливается в формулу. Громадная печь, для разогревания которой необходимы дрова, дрова и дрова. Ненужная зола выбрасывается, а качество дров не столь важно. Тяга пока хорошая — все обращается в пламя. Дрова похуже — скорее сгорают, получше — дольше.

Нечего и говорить, что я на растопку не годюсь уже давно.

И впрямь непосильная задача: иметь дело с женщиной, то есть с душой и с телом ее, — зная ежемгновенно, что в этой душе и в этом теле живет дух, который испепеляет в своих видениях и душу, и тело... а они меж тем бунтуют, ибо требуют своего.

Как всегда, мятущееся многословие «Сереженьки» великая поэзия уравнивает четырьмя строками:

*Христианская немочь блédная!
Пар! Припарками обложить!
Да ее никогда и не было!
Было тело, хотело жить...*

Как всегда, возлюбленный готов устраниваться. И душой, и телом:

...О моем решении развехаться я сообщил Марине. Две недели она была в безумии. Рвалась от одного к другому. (На это время она переехала к знакомым.) Не спала ночей, похудела, впервые я видел ее в таком отчаянии. И наконец объявила мне, что уйти от меня не может, ибо сознание, что я где-то нахожусь в одиночестве, не даст ей ни минуты не только счастья, но просто покоя. (Увы, — я знал, что это так и будет.)

Так изживается измена тела. Но нависает и измена души. Уже не с ее — с его стороны.

С его стороны, то есть по его душевному самоощущению, — это никакая не измена, а напротив: возвращение к некоей исходной ценности, которая совпадает у Эфрона с именем России. Он и заполняет это имя вариантами наличного содержания. Не важно, какая она будет: самодержавная, республиканская, федеративная или еще какая, — для Эфрона (как и для огромного числа русских людей, оказавшихся за кордоном в невесомости и честно ищущих опору) это естественная реакция НОРМАЛЬНОЙ души, попавшей в катастрофу.

Для души НЕНОРМАЛЬНОЙ естественно противоположное направление поиска. Для нее катастрофа — не крах того или иного строя ценностей, а фатальная точка отсчета ЛЮБЫХ ценностей, и от этого камня (отправного на перекрестке, краеугольного, могильного) отсчет может вестись только в сторону слабодушия. В сторону ИЗМЕНЫ.

Сергей Эфрон, готовый принять «любую» Россию, — уже изменяет своему добровольческому белогвардейству, не так ли?

Но, по такой логике, его белогвардейство есть не что иное, как измена монархизму, ибо прапорщики, присягнувшие Керенскому, а потом бросившиеся под Белое знамя, эти молоденькие офицеры (вчерашие студенты и гимназисты) никакого царя не признавали и умирать за него не хотели. За царя умирали старики-генералы в орденах да простые мужики, царю и генералам по традиции верящие, — но те монархисты были уже в историческом гробу, а люди эфроновской складки (он все-таки отпрыск террористов-народовольцев, а не русских православных музейщиков!) вместо царских орденов повесили февральские красные банты и именно эту сезонную свободу пошли защищать от Совдепии...

Так где же кончается верность и начинается измена? Или так оно и идет по кругу: такая страна, сякая страна... или еще какая...

Да, так! Именно так это бывает у обыкновенных людей, когда их накрывает эпоха Смуты, Революции, Контрреволюции, войны Мировой, войны Гражданской...

Но если на пути этого мыслеворота попадается душа необыкновенная, зачарованная, для которой все это коловращение — бренность и мерзость? Если бушует в такой душе *наитие стихий*, то все евразийские расклады и пасьянсы чем ей должны казаться? Трепетаньем-трепыханьем тварей перед фатумом? А если в это копошение втягивается любимый человек? Да понимает ли он, что на каждом шагу должен изменять тем «принципам», за которые держался шагом раньше?

Бесовское чреполосье душ следующим образом описано у Виктории Швейцер: «эмигранты, занимавшиеся, как им казалось, антибольшевистской деятельностью, на самом деле работали на НКВД. Об этом страшно думать...»

Страшно. Если «самое дело» исчерпывается противостоянием тех и этих. Если честные слабости нормальных людей используются бесами из НКВД. Но еще страшнее думать о том, что и в бесовских органах работают люди честные, верящие в победу самого справедливого строя на шестой части суши, а потом и во всемирном масштабе. И те и другие не подозревают о потаенных целях великих инквизиторов, но видят, что иных вариантов в наличии нет: или ты перестаешь жить, забываешь, что ты русский, и навсегда теряешь родину, или ты вступаешь в договор с бесами, которые (повторяю) себя считают отнюдь не бесами, а героями, а бесами, причем мелкими, — таких, как ты, перевертыш.

Можно представить себе, с каким запредельным презрением и с каким каменным сердцем должна наблюдать Цветаева этот, по-русски говоря, шабаш. Этот, английским словом говоря, бедлам. А если французским словом (дело-то происходит в Париже) — этот афронт.

По мере того как Эфрон втягивается в евразийское возвращение, вся эмигрантская рать, и так пронизанная перекрестной ревностью-завистью-ненавистью, начинает клеймить его как предателя, а его жену — «обтекает», не прикасаясь. На грани бойкота.

Любящая женщина, она бросается на его защиту и даже пишет какие-то «ответы»... Но в глубине окаменевшего сердца таится предзнание куда более страшное. Там гремит приговор ВСЕМУ ЭТОМУ...

Ответы: «Как она не устает греметь?.. Нищая, как мы, но с царскими замашками. Ха-ха!» — Издевающиеся юмористы невзначай попадают в декор, изначально совпавший с неприступностью ее духа: ЦАРСКИЙ.

Проходить мимо подобных насмешек хоть и тошно, но посильно. Однако советская агентура использует Эфрона для мокрого дела, он проваливается и бежит в СССР, — тогда Цветаевой приходится отвечать уже не газетным насмешникам, а следователям французской полиции. Тут в «ха-ха» не сыграешь.

Что она отвечает?

Что в политические дела муж ее не посвящал, а сама она занята исключительно писанием стихов?

И начинает читать стихи остолбеневшим следователям. А может, и не остолбеневшим, а насквозь видящим ее и жалеющим в ней несчастную женщину?

А может, они уважают в ней безумие великой поэтессы?

Если говорить о самом убийстве Рейсса, — верят ли они, что Цветаева и впрямь ничего не знает об участии Эфрона в этом деле? Вряд ли. Но это уже не так важно. Важно другое: можем ли в это поверить мы?

Конечно, муж не посвящал ее в детали тех операций, в которых участвовал, зарабатывая у советских органов прощение за свое белогвардейское прошлое. Операции — секретные, так что о многом Эфрон и обязан был молчать. Но я думаю, что скрывал он от нее «технические подробности» своей энкавэдэшной службы — потому что жалел и берег ее. Боялся этим — убить. Кого? Ее. И — себя, ибо его душа держалась, из последних сил расплываясь на ее стойкости.

Она-то в конце концов если не обо всем догадалась, то почувала — все. И перед французскими полицейскими просто разыграла поэтическую невменяемость, сменив «царские замашки» на одержимость юродивой... да и было ли это таким уж полным притворством? Великие поэты и впрямь одержимы...

Не тронули ее французские особисты, как три года спустя не тронули особисты советские. А может, чуяли, что великого поэта и трогать не надо — он сам себя доведет до гибели...

Что делать любящей женщине, в душе которой каменеет такое запредельное знание?

Моему дороговому вечному добровольцу, — посвящает поэму «Перекоп».

Расшифровка: *Добровольчество — это добрая воля к смерти* — эпитафия к «Посмертному маршу».

Сознавая все, — жена готовится к своему посмертному маршу — туда, куда скрылся муж.

В последние недели ее пребывания в Европе Запад, ею любимый (Чехия, Германия, Франция), но далекий от иллюзионного евразийства ее мужа, — дает ей прощальный пинок. От имени Мировой Истории. Точнее, от мировой политики.

Вообще-то Марина Ивановна политики сторонится. За газетами не следит. Новости узнаёт из разговоров (более всего — от мужа, пока тот еще не рванул в СССР). Так что на новость, что в Европе появился новый Наполеон и собирается сделать новый Порядок, — могла бы пожать плечами: «Мне никто не сказал». — «Да ведь это же в воздухе носится»...

А разве великий поэт не дышит тем же воздухом?

Да, дышит. Только глубже, чем надо. Тем оглушительнее открытие, что очередной N (о котором еще никто не решился сказать, что он похож на Наполеона, как котенок на льва), — котенок уже растерзал Чехию (где как-никак три года прожила Цветаева до переезда в Париж). Она, наконец, чувствует, что мировая катастрофа вторгается в ее личные пределы. В марте 1939 еще можно сказать в полушутку: *Спи, богемец, не то немцу, пану Гитлеру отдам!* Но когда Богемия ложится к ногам пана, шуточки застревают в горле. Переступая через любовь к Германии (впитанную от матери-немки с детства), Цветаева выкрикивает, выкашливает, вырывает из сердца — что? — да ВСЮ вот эту жизнь! Как сказал автор «Бесов», билет Богу возвращает.

Рождаются последние стихи, обожженные гениальностью. Финальные. Антигимн антижизни.

*О черная гора,
Затмившая — весь свет!
Пора — пора — пора
Творцу вернуть билет.
Отказываюсь — быть.
В Бедламе нелюдей
Отказываюсь — жить...
.....
Не надо мне ни дыр
Ушных, ни вещей глаз.
На твой безумный мир
Ответ один — отказ.*

На этом великая поэзия умолкает. Дальнейшие стихи — в СССР — либо полухуливые, на случай («реплика» Тарковскому), либо переводы («ах, восточные переводы, как болит от них голова» — «реплика» Тарковского).

Стихами к Чехии великий поэт замыкает уста. Закончен цикл 11 мая 1939 года.

12 июня советский пароход отчаливает из Гавра.

Как только я ступила на трап, я поняла, что все кончено.

18 июня пароход причаливает к советским берегам.

Цветаеву поселяют в подмосковном Болшеве на даче НКВД, где уже обитают Сергей Эфрон и Ариадна (рванувшая из Франции в СССР двумя годами раньше).

В отличие от 1922 года дочь не описывает встречу родителей — может, она при встрече и не присутствует: распропагандированная отцом, она все время проводит в Москве среди друзей-комсомольцев и пылает общим советским энтузиазмом.

Сергей Яковлевич живет в одной из двух комнатух («за перегородкой»), другая предоставлена Марине Ивановне и их детям.

В отличие от Цветаевой, находящейся преимущественно в состоянии подавляемой ярости, Эфрон ровен и приветлив как с членами воссоединенной семьи, так и вообще с окружающими. Правда, иногда, если вслушаться, можно подумать, что из его комнаты доносятся рыдания. Возможно, Сергей Яковлевич уже понимает, в какую ловушку попал и на какую судьбу обрек жену, дочь и сына, но, общаясь с ними, старается не подать вида.

Письменных свидетельств их семейного общения мало; есть кошвенные. Например, словесный портрет Цветаевой (и сына, про-

званием Мур), оставленный поэтессой Верой Звягинцевой: Марина (вопреки ожиданиям) «совершенно другая, дамская. В нормальном платье, гладкая, аккуратная, седая. И сын, как будто вырезанный из розового мыла».

Почему «совершенно другая»? Потому что влюбленные в нее с 20-х годов читатели стихов привыкли не к «даме», а в лучшем случае к «Царь-Девнице». Ей и вообще не важно, как выглядеть: челка так челка, пенсне так пенсне, а если пальцы черны от чистки картошки, — так пусть! Ничего «нормального»!

А тут — седые кудерьки, завитые по московской «норме» 30-х годов. Внешность — то ли учительницы, то ли библиотечарши. Законопослушная советская интеллигентка.

Какой вулкан затаился за этой наведенной гладкостью?

Арест дочери в августе 1939-го позволяет нам заглянуть в преисподнюю: сохранилась запись, год спустя (в 1940-м) сделанная Цветаевой. Сделанная — с содроганием.

27-го в ночь, к утру, арест Али. — Московский Уголовный Розыск. Проверка паспортов. Открываю — я. Провожая в темноте (не знаю, где зажигается электричество) сквозь огромную чужую комнату. Аля просыпается, протягивает паспорт. Трое штатских. Комендант. — А теперь мы будем делать обыск. — (Постепенно — понимаю.) Аля — веселая, держится браво. Отишучивается... Скверность — му: волчье-змеиное. — Где же Ваш альбом? — Какой альбом? — А с фотокарточками. — У меня нет альбома. — У каждой барышни должен быть альбом. (Дальше, позже: — Ни ножниц, ни ножа... Аля: — Ни булавок, ни иголок, ничего колющего и режущего.) Книги. Вырывают страницы с надписями. Аля, наконец, со слезами (но и улыбкой): — Вот, мама, и Ваша Colett поехала! (Взяла у меня на ночь Colett — La Maison de Claudine.)...

Всех знобит. Первый холод. Проснувшийся Мур оделся и молчит. Наконец, слово: Вы — арестованы. ... Аля хочет уйти в «босоножках» (подшвы на ремнях). Приношу кое-что из своего (теплого). Уходит, не прощаясь! Я — Что ж ты, Аля, так, ни с кем не простившись? Она, в слезах, через плечо — отмахивается. Комендант (старик, с добротой) — Так — лучше. Долгие проводы — лишние слезы...

Отец так и не показывается из своей комнаты. Он вступает в действие на следующий день — пишет заявление на имя товарища Берия: ручается головой за политическую честность дочери.

Этот жанр — заявление на имя товарища Берия — очень скоро освоит и Цветаева. Это, можно сказать, финал их с Эфроном

письменного общения — через такого интересного посредника. Лебединая песнь их любви в ритме тюремных передач.

За Эфроном придут пять недель спустя — в октябре 1939-го. О последнем прощании в записях Цветаевой — ни слова. Кто-то из понятых (домработница? сосед?) запомнил, что осенила его вслед широким крестным знамением. Словно с небес.

«Она вся в облаках и вне времени». Это уже не от домработницы, это — от читательницы, знающей, что Цветаева — герой. Знают! А всё ж недолюбливают. Чего приехала? Чего не хватало за границей? Соображала же, на что идет! Теперь вот мучается, чистит картошку на общей кухне. Вдруг поднимет голову:

К чему это все? В чем смысл всего?

Небожительница... «Как выдумала себя, так выдуманная и живет».

Невыносимая, невыполнимая стилистическая задача — письмо товарищу Берия. Как сохранить достоинство и притом докричаться?

Товарищ письма, наверное, и читать не стал. А может, бросил на первой строчке:

Товарищ Берия...

Вот так: без «дорогого» и даже без «уважаемого». С царской осанкой.

Обращаюсь к Вам по делу моего мужа... и моей дочери...

Ни жалобы, ни гнева. Призыв к справедливости. Не более.

...Кончаю призывом о справедливости. Человек душой и телом, словом и делом служил своей родине и идее коммунизма (всё — правда: Эфрон этой идее служил, Цветаева — нет. — Л.А.). Это — тяжелый больной, не знаю, сколько ему осталось жизни — особенно после такого потрясения. Ужасно будет, если он умрет не оправданный.

Если это донос, т.е. недобросовестно и злонамеренно подобранные материалы — проверьте доносчика.

Если же это ошибка — умоляю, исправьте пока не поздно.

Умоляю — подчеркнуто самой Цветаевой. Единственное слово, вырвавшееся не у сдерживающей бешенство богини, а у любящей женщины, чья душа кровоточит от горя.

Зато в последних записях для себя кровоточит каждое слово.

При запросе сведений есть только один способ понять, жив ли человек, замурованный в застенках: примут или не примут передачу. Примут — значит, жив. Не примут...

Из письма Цветаевой сестре Сергея Яковлевича.

3 октября 1940... Спешу Вас известить: С. на прежнем месте. Я сегодня сидела в приемной полумертвая, потому что 30-го мне в окне сказали, что он на передаче не числится (в прошлые разы говорили, что много денег, но этот раз — определенно: не числится). Я тогда же запросила на обороте анкеты: состояние здоровья, местопребывание. Назначили на сегодня. Сотрудник меня узнал и сразу назвал, хотя не виделись мы месяца четыре, — и посылно успокоил: у нас хорошие врачи и в случае нужды будет оказана срочная помощь! У меня так стучали зубы, что я никак не могла попасть на «спасибо»...

«Хорошие врачи» — это психиатры. Можно предположить, КАКАЯ помощь и почему понадобилась Сергею Яковлевичу (вот так же на первых допросах впал в безумие Заболоцкий, и это не было симуляцией). Но ни звука, ни строчки не доносится оттуда, где выколачивают показания. Много лет спустя цветаеведы, пробившиеся в архивы Госбезопасности, прочтут, наконец, обрывки из того, что заносят в протоколы допросов дознаватели.

— Я не отрицаю того факта, что моя жена печаталась в белоэмигрантской прессе, однако никакой политической антисоветской работы она не вела.

— Вы эту работу скрываете! (напирает следователь).

— Я не скрываю. Я отрицаю.

Приговор «подписан» еще до ареста: Госбезопасность старается не оставлять в живых своих провалившихся агентов.

Почему-то Эфрона не расстреляли, как его подельников, в июле 1941 года. Он прожил еще 102 дня — в камере смертников. Казнили его в числе 135 других («особо ценных»?) зеков в октябре, когда немцы подошли вплотную к Москве и в столице началась паника; тогда спешно добились тех, кого оставили (про запас? на случай новых «дел»?), испугались, что они попадут живыми в руки немцев (и те используют их для фабрикации СВОИХ «дел»).

Что может прибавить ко всем этим откровениям каземата великая поэзия?

*Всеми пытками не исторгли!
И да будет известно — там:
Доктора узнают нас в морге
По не в меру большим сердцам.*

Великая поэзия подсказала это — предсказала задолго до финала трагедии.

Когда поэзия онемела, финал озвучился в другом жанре.

В предсмертной записке сыну:

Передай папе и Але — если увидишь — что любила их до последней минуты...

* * *

Выпало бы им жить в более счастливую эпоху — прожили бы, как полагается, до ста лет вместе и умерли бы в один день.

Сорок пять дней разделяют ее самоубийство и его казнь.

В одном судьба сжалилась над ними: они не узнали о гибели друг друга. Он был еще жив, когда она прилаживала петлю, и она верила, что он жив. А когда его поставили к стенке, он о ее конце не знал и тоже верил, что жива.

Лев Аннинский

Друг у друга мы навек в плену

Сергей Эфрон

ВОЛШЕБНИЦА

I

Одной из наших добровольных обязанностей было — стеречь почтальона.

Папа, мама, Люся, Лена, Fräulein*, Андрей, даже кухарка с горничной, даже дворник — все получали письма, все, кроме нас. И все-таки, несмотря на эту ежедневно повторяющуюся несправедливость, все письма проходили через наши руки.

Что побуждало нас к этому? Желание сыграть роль в жизни старших, смутная надежда на получение своего письма, наконец — тайна, заключенная в этих больших и маленьких, узких и квадратных, надписанных различными почерками конвертах.

Каждый раз, когда приходил почтальон, мы с Женей в один голос спрашивали: «А нам есть?» — и неизменно слышали ответ: «Вам еще пишут».

Пишут? Кто? Может быть, какой-нибудь капитан, собирающий юнг для своего корабля, может быть, маленький граф, которого украли цыгане, или Fräulein Else (она в прошлом году уехала в Германию и обещала писать), или та девочка в «Спящей красавице», или просто какой-нибудь король, которому мы понравились и который хочет сделать из нас принцев. Пока письмо не получено, открыты все возможности.

* Fräulein (нем.) — фрейлейн, здесь: немка-гувернантка. — *Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, примеч. комментатора.*

Дни по письмам делились нами на хорошие, «ничего себе» и бедные. Хорошие — пять, шесть писем, открытки с картинками и газета; «ничего себе» — письма два и газета; бедные — одна газета!

Какое разочарование! Нести одну-единственную газету — какой стыд! Еще немного, и мы бы начали оправдываться при виде стольких разочарованных лиц.

Иногда мы обманывали, говоря, что нет писем. Особенно приятно было проделывать это с Люсей.

— Мне есть?

— Нет, только маме!

— Ну, хорошо! Узнают они, что значит не отвечать на письма!

— А что значит? — любопытствовали мы, с трудом сдерживая смех.

— То, что я никогда, никому из них не...

— На!

Нужно было видеть мгновенную перемену ее лица! Сдвинутые брови расходились, глаза из слишком темных снова превращались в желтые. Улыбка расплывалась во все лицо... От радости она даже забывала сердиться.

Дразнить Лену не представляло для нас и половины того интереса. Более сдержанная, она ограничивалась ответами вроде: «Странно». Или: «Я и сама давно не писала». Отсутствие Люсиных угроз отнимало у нас всякое желание устраивать Лене «сюрпризы». Потому мы и в этот день сразу отдали ей письмо.

— От Мары! — воскликнула она, осторожно обрывая краешек конверта.

Через минуту весь дом уже знал, что завтра, с вечерним поездом, приезжает из Петербурга ее бывшая гимназическая подруга Мара.

Каждый отнесся к этому известию по-разному: мама — спокойно, Люся — радостно, Андрей — насмешливо («какая такая Мара?»), мы — с любопытством, папа — довольно недоброжелательно.

— Она какая-то сумасшедшая, твоя Мара, — сказал он в ответ на Ленино известие. — Ни в одной гимназии не ужилась, из последнего класса вышла. Что она теперь делает?

— В предпоследнем письме она писала, что выходит замуж, но теперь все расстроилось. Оказалось, что жених выдавал ей чужие стихи за свои.

— Она увлекается стихами?

— Она сама пишет! — гордо ответила Лена.

— А сколько ей лет?

— Семнадцать.

Папа снова принялся за газету. Лена, обиженная за подругу, обратилась к нам:

— Вы рады, что она приезжает?

— А она с маленькими разговаривает?

— Конечно. Она вас даже полюбит.

— Наверное?

— Если вы будете себя хорошо вести.

В ответ на эту давно знакомую фразу Женя только выразительно свистнул. «Хорошо будем себя вести» — значит, она нас не полюбит. Вот Лена всегда так: начнет хорошо, а кончит, как большая!

Мы пошли в детскую, обиженные и мстительные. Мару мы уже разлюбили.

— Но ведь папа сказал, что она сумасшедшая! — воскликнул Женя, занявшийся было увеличением дыры в занавеске (признак дурного настроения).

— Он шутил, — недоверчиво возразил я.

— Ни капельки не шутил — он даже не улыбнулся. Чего же тут особенного? Мало ли сумасшедших!

— Но разве сумасшедших надо слушаться?

— Что ты! Они сами должны всех слушаться, они хуже маленьких.

— Откуда ты знаешь?

— Помнишь, когда мы чуть-чуть не зажарили соседскую курицу, мама сказала, что мы с ума сошли.

— Так что же?

— Значит, они хуже.

Нельзя сказать, чтобы Женино объяснение отличалось особенной ясностью, но основное было вне сомнений: Мара — сумасшедшая.

— Нужно напомнить об этом Лене, — предложил я.

Мы побежали к ней в комнату.

— Что вам надо? — недовольно спросила она, закрывая какую-то тетрадку.

— Лена, а Мара нас будет слушаться?

— Слушаться — вас?

— Папа сказал, что она сумасшедшая, а сумасшедшие всех должны слушаться.

— Даже маленьких, — дополнил Женя.

— Идите и не приставайте с глупостями, — сухо сказала Лена. — Вы даже шутку не в состоянии понять!

Мы вышли.

— Ей стыдно, что у нее сумасшедшая подруга, — догадался Женя.

— Я на ее месте был бы очень рад, — произнес я задумчиво.

Мара-сумасшедшая нравилась нам больше Мары — «ведите себя хорошо».

II

С самой минуты Лениного отъезда на вокзал мы беспрестанно подбегали к окнам.

Первый взрослый человек, который будет нас слушаться, — да еще сумасшедший! Нетрудно понять наше нетерпение.

Марино сумасшествие приняло со вчерашнего утра сверхъестественные размеры. Она не только все время поет, кричит и танцует (это ведь можно встретить и у не-сумасшедших), но когда говорит, брызжет пеной, когда трясет волосами — мечет искры; из ноздрей ее, как у дикой разъяренной лошади, клубами вылетает пар; руки с длинными когтями, глаза как у кошки, облитой одеколоном, ноги с копытами...

В последнем, впрочем, Женя усомнился. (Рассказывал я.)

— Если она с копытами — она черт! — заявил он.

— Какой ты смешной. Разве лошадь — черт?

— Как же она будет ходить по паркету?

— Научится, — в цирке лошади даже танцуют.

— Она все вещи перебьет.

— Нужно будет все прятать.

— У нее все время пена на губах?

— Конечно.

— А вдруг она с нами полезет целоваться?

— Потом вымоешься, а может быть, тоже сделаешься сумасшедшим.

— Я не хочу.

— Так не целуйся — скажи, что у тебя насморк.

— Очень она испугается! Я скажу: скарлатина, дифтерит...

— Чума, — предложил я.

— Да, да! — обрадовался Женя.

Время за этим разговором летело быстро. Прошло уже около часа с Лениного отъезда.

Взволнованные предстоящей встречей и собственными догадками, мы так и прилипли к стеклу. Напрасно звала нас Люся пить молоко, напрасно со двора доносились звуки шарманки, — мы не двигались с места.

И вот наконец, когда к Мариным когтям и копытам прибавился еще хвост, раздался звонок. Коротко и резко — так звонила только Лена.

— Как же мы не видели санок?

— Мы смотрели слева, а она приехала справа.

— Пойдем отворять?

— Еще вцепится, пусть лучше Дуня откроет.

Мы остановились у рояля.

Вот Дуня отодвигает засов; запела дверь. В передней Ленин голос:

— Раздевайся скорей, ты, наверное, совсем замерзла.

— Совсем не замерзла, мне всегда жарко!

Она! Сумасшедшим всегда жарко.

Мы беремся за руки. Я, как старший, делаю шаг вперед. Вытягиваем головы. Вот кусочек Лениной шубы, вот что-то темное на полу. Сумасшедшая приехала и начала беситься!

Голос Мары:

— Такое маленькое, лиловенькое — я без него жить не могу!

Голос Лены:

— Не беспокойся, сейчас найдем. С цепочкой?

— Да, с серенькой, то есть с серебряной. Оно у меня с одиннадцати лет! Господи, господи!

— Ты только сейчас заметила, что его нет?

— Да, на извозчике я его еще щупала.

— Надо позвать мальчиков — они всегда все находят.

Мы так и застыли. Сумасшедшая потеряла свою цепь, и мы теперь должны ее найти.

— Кира! Женя! Идите скорей!

Глядим друг другу в глаза; я дергаю Женю за руку. Секунда молчания.

— Сейчас!

Мы в передней. Лица Мары не видно, она ползает по полу спиной к нам. Лена в шубе стоит на корточках и шарит руками под вешалкой.

— Мара сейчас уронила свое сердечко; поищите хорошенько. Сердечко?.. Бедная Лена!

— Что же вы стоите?

Будь что будет! Становимся на колени, стараясь не дотрагиваться ее синего платья. Шарим под вешалкой без всякой надежды найти — разве можно потерять сердце?

— Мара, — говорит Лена, вставая, — может быть, оно у тебя где-нибудь спрятано?

— Ты думаешь? Нет, кажется... Я сейчас посмотрю.

Синяя юбка метнула меня по лицу. Сумасшедшая встала. Я тоже встаю. Большая девочка в синей матроске. Короткие светлые волосы, круглое лицо, зеленые глаза, прямо смотрящие в мои.

— Кира или Женя?

— Кира.

Она опускает руку за матросский воротник. Вынула сначала огромный складной нож, потом портсигар и маленькую кукольную голову. Опустила все обратно, роется еще. Вытащила кошелек, открыла.

— Нашлось! Женя, не ищи! Лена, смотри, вот оно!

В высоко поднятой над головой руке лиловый камешек на цепочке.

— Слава богу! Я без него жить не могу!

— Идем скорей чай пить, ты, наверное, простудилась, — озабоченно говорит Лена, успевшая за это время снять шубу.

Все выходят, кроме нас.

— Копыт нет, а когти есть, — шепчет Женя.

— Видел?

— Слышал, как скреблась.

— Посмотрим ее шубу!

Рядом с Лениной шубой что-то странное, коротенькое, лохматое — медвежья шкура шерстью вверх.

— Не трогай! — останавливаю я Женю. — Еще заразишься и сам с ума сойдешь.

В столовой сидели папа, сестры, Андрей и Мара. Последняя, впрочем, не сидела, а стояла, прислонившись к печке. Люся разливала чай.

— Вам, Мара, какого? Крепкого, среднего или слабого?

— Черного, как кофе.

— Ведь это очень вредно...

— Страшно действует на нервы, отравляет весь организм, лишает сна, — скороговоркой продолжала Мара.

— Зачем же вы его пьете?

— Мне необходим подъем, только в волнении я настоящая.

— Вы слишком дорого оплачиваете это волнение. Подумайте, что с вами будет через два-три года, — сказала Люся.

Мара нетерпеливо замотала головой.

— Через три года мне будет двадцать лет — это пока ясно и несомненно. И еще ясно, что я не хочу и не могу жить долго.

Мы с интересом следили за ее ответами. Не хочет и не может жить долго? Наверное, она боится, что еще больше сойдет с ума и ее запрут в клетку. Бедная!

Папа предложил ей сесть.

— Благодарю вас, я никогда не сижу, я терпеть не могу сидеть.

— Неужели вечное стояние вас не утомляет?

— Я ведь не целый день стою — хожу или, когда устану, лежу.

— Вы, кажется, горячий противник гигиены?

— Люди, слишком занятые своим здоровьем, мне противны. Слишком здоровое тело всегда в ущерб духу. Изречение «в здоровом теле — здоровая душа» вполне верно — потому я и не хочу здорового тела.

Папа отодвинул чашку.

— Так здоровая душа, по-вашему...

— Груба, глуха и слепа. Возьмите одного и того же человека здоровым и больным. Какие миры открыты ему, больному! Впрочем, все это давно известно!

Она вздохнула.

— Вы, наверное, много читаете?

— Можно мне закончить вашу мысль?

— Пожалуйста.

— Вы сейчас смотрите на меня и думаете: «Тебе семнадцать лет, ты еще ничего не видела от жизни и считаешь себя умной, потому что много читала для своих семнадцати лет». Так ведь?

Я действительно считаю себя умной. Умной — да, по сравнению с другими. Но главное, что я ценю в себе, — не ум.

Она внезапно опустила глаза.

— А что же, можно спросить? — сказал папа.

— Вам, наверное, странно, что я так говорю с вами — как равная с равным. Не беспокойтесь, никто больше меня не уважает старости.

Тут папа улыбнулся.

— Я хочу дать вам верное понятие о себе. Если бы я сейчас замолчала, вы бы сочли меня за рисующуюся, самовлюбленную девчонку. Но я не такова, потому продолжаю. Мы говорили о главном, что я ценю в себе. Это главное, пожалуй, можно назвать воображением. Мне многого не дано: я не умею доказывать, не умею жить, но воображение никогда мне не изменяло и не изменит.

— Мара, ты, наверное, устала с дороги, пойдем спать, — сказала Лена, вставая.

— Пойдем, но не спать! Я тебе ужасно много должна рассказать! — весело воскликнула Мара.

Напряженное выражение на ее лице сменилось новым, детски-лукавым и нежным. Простившись со всеми взрослыми — с папой особенно вежливо, — она подошла к нам:

— Вам скучно было все это слушать?

— Совсем нет! — в один голос ответили мы.

— Ну-с, скажи, Женя, что ты понял из моих слов? Я, между прочим, уверена, что ты все великолепно понял.

— Что вы не хотите долго жить, что вы умная...

— Bravo! Еще?

— Что вы боитесь... — Женя замялся.

— Чего боюсь?

— Что вас посадят в клетку.

Лена сильно дернула его сзади за рукав.

— Идем, Мара, детям спать пора. Видишь, Женя уже бредит!

— Нет, это интересно!

— Идем, — повторила Лена, делая в нашу сторону большие глаза.

— Завтра вечером ты мне это объяснишь, Женя, хорошо? Желаю вам чудных снов, мальчики.

Странные сны нам снились в эту ночь.

III

Когда мы на следующее утро вышли к чаю, мы не узнали вчерашней Мары. Серо-бледная, с крепко сжатыми губами, сидела она у стола, порывисто мешая свой кофе ложечкой. При виде нас она покраснела и молча протянула нам руку.

Обиделась ли она на Женю? Считает ли нас слишком маленькими?

Мы спросили у Лены.

— Днем она всегда такая. Только не подавайте вида, что заметили; она из-за этого способна уехать.

Странная сумасшедшая! Да вообще — сумасшедшая ли? Конечно, она не как все: курит одну папиросу за другой, вчера вечером не переставая говорила, сегодня не переставая молчит... Но где же пена у рта, дикие танцы, хохот, копыта, когти? Даже когтей у нее нет — Женя ошибся. Просто очень длинные ногти. Не совсем понятно тоже, почему она сегодня сидела за столом, когда этого терпеть не может? Разве ее кто-нибудь заставлял? И почему покраснела, здороваясь с нами?

К завтраку она не вышла. Напрасно все по очереди, не включая папы, приглашали ее.

— Благодарю вас, мне не хочется есть.

— Но вы и утром ничего не ели. Разве можно жить одним черным кофе? Вы совсем ослабеете.

— Наоборот — чем меньше я ем, тем лучше себя чувствую.

Когда подали сладкое, мама послала нас с Женей еще раз позвать ее. Первым начал я.

— Мара, мама очень просит вас съесть сладкое.

— Какое сладкое?

— Как каждый день, такое же.

Тут вмешался Женя:

— Мама сказала, чтобы мы привели вас к столу. Мы сейчас едим компот, и вам еще много осталось.

— Слушайте, мальчики, — начала Мара, затеняя лицо руками, — скажите маме, что я очень благодарна ей, но никогда завтракать не буду. Ни сегодня, ни завтра — никогда.

— Почему? — спросили мы в один голос.

— Вы когда-нибудь бывали совершенно сыты? Так сыты, что противно даже думать о еде?

Мы помолчали. Потом Женя сказал:

— Бывали — один раз, на именинах у дяди Володи. Я тогда съел семь пирожных, а Кира девять.

— Отлично. Ну, а я всегда сыта, точно одна съела семь и девять пирожных.

— Да ну-у? — почтительно удивился Женя.

— Совершенно так. Поняли? Теперь подите и скажите это маме. И ради бога, не возвращайтесь больше с этим!

Марины слова, в точности нами переданные, страшно рассмешили всех, кроме Лены.

— Очень странно смеяться над такой простой вещью, что человеку не хочется есть, — сказала она.

— Не в святые ли она собирается? — насмешливо спросил Андрей.

Лена, не отвечая, вышла из столовой. Мама с папой переглянулись.

До самого обеда Мара не показывалась.

— Я прямо не знаю, как с ней быть, — говорила мама Лене, — ведь это твоя подруга, ты должна же знать ее немножко.

— Я ее очень хорошо знаю — не ее, а ее привычки. Она непременно будет обедать. При лампе она никого не стесняется.

За обедом — она обедала стоя — снова начался разговор о еде.

— Мне так неприятно доставлять вам беспокойство, — говорила она, пуская дым кольцами, — я бы так хотела объяснить вам, что питание — совершенно второстепенная вещь.

— Я и не утверждаю, что в нем весь смысл жизни, — улыбаясь, сказал папа.

— Значит, в этом мы сходимся. Но я скажу больше: еда — явление совершенно отрицательное. После обеда люди всегда глупеют. Разве сытому человеку придет в голову что-нибудь необыкновенное? Разве в минуту подъема человек думает о еде? Чем умнее человек, тем меньше он ест...

— Судя по тому, как мало вы кушаете, вы, должно быть...

— Андрей! — сердито воскликнула Лена.

Мара пожала плечами.

— Вы совершенно правы, — продолжала она спокойно, — и я могу привести вам много примеров.

- Пожалуйста.
- Но я этого не сделаю.
- Почему?
- Вспомните бисер и свиней!
- Благодарю вас!

Мама нагнулась к Андрею и что-то пошептала ему на ухо. Он покраснел и налил себе воды. Все замолчали.

Мара, давно отставившая тарелку, стояла, высоко подняв голову, — теперь кудри лежали у нее по плечам — и рассматривала свой дым.

Так кончился обед.

IV

- Мальчики, вы спите?
 - Нет, не спим.
 - Я пришла поговорить с вами.
- Пахнуло дымом. На пороге темная, тонкая фигура Мары.
- Почему вы не спите?
 - Кира рассказывает мне сказку.
 - О чем?
 - О колодце и девочке, которая по ночам не спит.
 - Значит, обо мне?
- Мара садится на мою постель.
- Нет: вы не девочка, вы большая.
 - Я не большая! — тихо смеется она. — Я совсем маленькая — как ты, как Женя.
 - Вам семнадцать лет!
 - Кто это тебе сказал?
 - Лена.
 - Лена не знает. Впрочем, я сама не знаю. Мне и семь, и семнадцать, и семьдесят.
 - Значит, вы совсем старая? — доносится с другой кровати испуганный голос Жени.
 - Иногда. Сейчас я совсем маленькая. Кира, расскажи же мне свою сказку, — говорит она, помолчав.
 - Вы будете смеяться.
 - Нет, я не буду смеяться.
 - Про что же мне рассказывать?

— То же самое. Что Жене, — о колодце и девочке. Только, мальчики, говорите мне «ты». Или я вам буду говорить «вы».

— Мы всем большим гостям говорим «вы».

— Я — маленькая.

Я приподнимаюсь на локте и тихонько трогаю ее локоны.

— Вы не рассердитесь, если я вам... тебе скажу одну вещь?

— Конечно, нет. Говори!

— Другие говорят, что ты сумасшедшая.

Мара молчит, потом берет мою руку, ту, что гладила ее по волосам.

— Значит, вы меня боитесь оба?

— Нет, ты совсем не страшная. Мы думали, ты с когтями и копытами, а ты просто большая девочка.

— Маленькая, — поправляет она.

— Почему же у тебя такое длинное платье?

— Платье — вздор. Впрочем, ты прав — оно ужасно длинное. Я бы хотела быть мальчиком.

— Fräulein нам рассказывала, что когда вся земля затрясется, все мальчики будут девочки, а все девочки — мальчики, — задумчиво говорит Женя.

— Ты наверное это знаешь?

— Наверное.

— Это будет чудно! Ну что же, Кира, а сказка?

— Раз был один колодец — глубокий, глубокий; в нем была серебряная вода. И была еще одна маленькая... нет, большая девочка с золотыми кудрями.

— Ты говорил — с черными, — обиженно поправляет Женя.

— А теперь она с золотыми. Эта девочка никогда по ночам не спала, — все бегала, всюду рылась. Она была очень непослушная девочка. Ну, вот, когда мама заснула, она выбежала в сад. А ночь была темная, страшная-страшная. Она испугалась и стала кричать, но никто ее не слышал, потому что все спали. Тогда она еще больше стала кричать. И вдруг за ней кто-то затопал. Она не знала, что это добрый медведь, и побежала. Бежала, бежала и — бух в колодец. А вода в нем была серебряная.

— А потом? — спросила Мара.

— Потом — не знаю. Я еще не выдумал.

— Это прекрасная сказка. Твоя девочка очень похожа на меня — я тоже никого не слушаюсь и тоже не сплю по ночам.

— Что же ты делаешь?

- Читаю, пишу, курю, хожу по комнате.
- А тебе не страшно ночью?
- Иногда страшно — когда я забываю о своем сердечке. Это мой талисман. Мне его подарил один человек, когда мне было одиннадцать лет. С тех пор я с ним не расстаюсь.
- Что это — талисман?
- Вещь, которая бережет от несчастья. Пока на тебе талисман, ты не утонешь, не наделаешь глупостей. Я недавно сделала страшную глупость.
- Какую?
- Я не знаю, поймете ли вы... Нет, конечно, поймете! Дело в том, что один человек читал мне чудные стихи и говорил, что он их сам сочинил. Мне они ужасно нравились, и я сделалась невестой этого человека.
- Как невестой? Ведь ты маленькая!
- Это было ужасной глупостью. Во-первых, я маленькая, а во-вторых, это были не его стихи, а чужие. Он мне все выдумывал. Я сказала ему, что презираю его, и уехала.
- К нам?
- Да.
- А он за тобой не приедет?
- Пусть попробует! Я ему покажу! — сердито воскликнула Мара, и я видел, как вздрогнули ее тонкие ноздри.
- Ты на него очень сердисься? — спросил Женя.
- Она встала с постели и несколько раз прошлась по комнате. Потом, наклонясь над Женей, спросила:
 - Представь себе, что человек, которого ты любишь и в которого веришь, ну, Люся или Лена, тебя обманул. Что бы ты ему сказал?
 - Что это очень плохо!
 - Понимаешь, если бы этот человек прямо сказал мне: «Это прекрасные стихи, но писал их мой товарищ», — я бы тогда не сердилась. Но сказать, что сочинил их он, и знать, что я люблю его за чужие стихи, — какая гадость! Я бы хотела, чтобы он уехал в Америку!
 - Я тоже хочу в Америку, — сказал я.
 - Зачем?
 - Так... Интересно на корабле. Ты когда-нибудь ездила на корабле?
 - На воздушном.

- Разве есть воздушные корабли?
- Конечно, есть. Мы еще с вами поедem!
- Правда? Когда?
- Как-нибудь вечером. Послезавтра, кажется, будет новолуние — это лучшее время для такой поездки.

— Ты нарочно это говоришь?

Сердце мое забилося.

— Я говорю вполне серьезно. Царь луны, мальчик-месяц, мой большой друг. У него много воздушных кораблей, и он с удовольствием даст мне один.

— Он добрый?

— Очень добрый. Послезавтра вы о нем узнаете.

Комната мало-помалу наполнялась дымом. Мара курила не переставая. То и дело трещал, открываясь и закрываясь, металлический портсигар, то и дело чиркала спичка. Окруженная облаком дыма и сиянием коротких пышных кудрей, это была уже не Ленина подруга Мара, которая утром краснела и за обедом спорила с папой...

— Мара, — сказал я тихо, — я знаю, кто ты.

— Кто?

Ее блестящие глаза пристально взглянули в мои.

— Ты — волшебница. Правда, Женя?

— Правда!

— Догадались? Как я рада! Я сразу увидела, что вы меня поймете. Как же вы это узнали?

— Ты знакома с мальчиком-месяцем...

— Ты так легко ходишь!

— У тебя такие глаза, такое сердечко...

— И такие волосы...

— Ты по ночам не спишь, ты ничего не ешь, у тебя...

— Ты такая чудная!

— Мальчики мои! Ты, Кира, — золото, ты, Женя, — бриллиант! Нет, вы оба — аметистовые сердечки, как у меня на шее!

— А другие знают, что ты волшебница?

— Никто не знает!

— Даже Лена?

— И она не знает, — только вы, мои золотые, серебряные мальчики! Недаром у вас аквамариновые глаза! Это такой драгоценный камень морской воды.

— Ты любишь море?

— Вы любите стихи, да? Ну, слушайте:

Пока огнями смеется бал,
Душа не уснет в покое.
Но имя Бог мне иное дал:
Морское оно, морское!

В круженье вальса, под нежный вздох
Забуть не могу тоски я.
Мечты иные мне подал Бог:
Морские они, морские!

Поет огнями манящий зал,
Поет и зовет, сверкая.
Но душу Бог мне иную дал:
Морская она, морская!*

Мара кончила.

Имя морское, душа морская, — может быть, она русалка?

— Ты русалка, Мара?

— Я всё — и волшебница, и русалка, и маленькая девочка, и старуха, и барабанщик, и амазонка — всё! Я всем могу быть, все люблю, всего хочу! Понимаете?

— Конечно, ты волшебница!

— Закройте глаза!

Когда мы их открыли — она уже исчезла.

Часы в гостиной пробили двенадцать.

V

Снова ночь, снова вспыхивающий огонек папиросы, снова моя рука в спутанных волосах волшебницы Мары. Лица ее не видно; от всей Мары — только голос. Три перекликающихся голоса в темноте.

— Кира, что, по-твоему, старость?

— Это когда ходят с палкой, надевают очки и кашляют. Все лицо в складочках, и после каждого слова: «э-э-э».

* Марина Цветаева («Волшебный фонарь»). — *Примеч. авт.*

— А по-твоему, Женя?

— Это когда мальчик растет, растет и вдруг седой станет и у него уже внуки.

— Ты бы хотел быть старым?

— Нет, старому страшно. Идет, ничего не видит и раз — под конку! А ты бы хотела быть старой?

— Тоже нет. Сейчас мне семнадцать лет, и я все могу. Хочется лезть на дерево — лезу, кататься по ковру — катаюсь. Мне все позволено. Но представь себе пожилую даму, лезущую на дерево, — нелепо, правда?

Мы расхохотались.

— Вот, видите, вам смешно. А по-настоящему это не смешно, а ужасно. Положим, я живу все дальше и дальше. Мне уже не семнадцать, а двадцать семь, а тридцать семь, а сорок семь лет. Обо мне говорят уже не «молодая девушка», а «пожилая дама». От меня требуют разумного поведения, спокойного взгляда на жизнь, знания ее. А в глубине я все тот же сорванец, та же семнадцатилетняя, с тем же сердцем и той же душой. Я прекрасно знаю, что кататься по полу со старым лицом — нельзя, невозможно, нелепо, смешно. Мне приходится сдерживать себя, изменять настоящей себе из-за этого старого лица — быть почтенной дамой, над которой я сама смеюсь. Это ужасно, ужасно!

— Ты, наверно, уж скоро будешь старой?

— Лет через десять, то есть не старой, а среднего возраста. Это еще хуже... Впрочем, довольно об этом!

Она вздохнула и положила голову рядом с моей на подушку. Мне вдруг захотелось ее утешить.

— Ты — волшебница, а волшебницы всегда молодые и красивые. Я читал в сказках.

— И у тебя ведь волшебная палочка, — добавил Женя.

Мара слегка приподняла голову, мягко щекоча меня по щеке волосами:

— Какие вы оба умные! Конечно, я не могу состариться. Я только пошутила, я ничего не боюсь. Довольно об этом! Будем говорить о веселом. Расскажите мне что-нибудь страшно глупое!

— Мы про глупое ничего не знаем, — с достоинством ответил Женя.

— Мы, когда были маленькие, очень много говорили глупостей, но теперь мы все позабыли, — отозвался я.

— Жалко! Ну, тогда другое. Ты, Кира, начни что-нибудь рассказывать, потом будет продолжать Женя, за Женей я. Начинай, Кира!

— Когда один человек играл на рояле, у него сломался палец. Он пошел на улицу и схватил одного другого человека за руку и оторвал у него палец. Тот разозлился и пошел к городовому. Тогда тот, с роялем, тоже оторвал у городского палец. Городовой заплакал, и другой человек тоже. И вот они плакали, плакали, плакали...

— Довольно, Женя, дальше!

— И вот они плакали, плакали, и вокруг них уже было целое озеро. Против городского жила одна девочка. Она выбросила свои калоши из окна, потому что они ей надоели. А ей как раз нужно было ехать на бал. Вот она вышла на улицу и видит: всюду вода, все извозчики потонули и от домов — одни крыши. Как же теперь без калош?

— Довольно, Женя! Я продолжаю. Тут она вспомнила, что ее няня всегда сравнивала ее губы с калошами. Она страшно обрадовалась, вытянула губы и — представьте себе! — вместо калош получила целый мост. Было уже поздно, бал уже давно начался — пришлось бежать по собственным губам. В замке уже звенела музыка, сияли все люстры, кружились пары... Она вбегает в залу, и — о ужас! — громкий смех! Оглядывается, за ней тащится весь мост! Продолжай, Кира!

— Тогда она подняла мост, как слон хобот, и начала всех им бить, и скоро все убежали. Она осталась одна и до утра танцевала. Все!

— Прекрасный рассказ! — воскликнула Мара. — А вы еще думали, что все это забыли. Нет, глупостей нельзя забывать. Только в них спасенье!

— Но ты сама ведь умная? — спросил Женя.

— Только умные люди делают настоящие, самые глупые глупости. Ты сейчас поймешь. Положим, что как-нибудь утром мама скажет тебе: «Бегай, играй, гуляй целый день, только не учись!»

— Мама так не скажет! — мгновенно вставил я.

— Представь себе такое чудо. Бывают же чудеса!

— Бывают: я раз утром нашел у себя в постели шоколадку. Как она туда попала, совсем не знаю!

— Вот видишь! Итак, мама позволила тебе целый день ничего не делать. Ты вышел на двор, погнался за соседской кошкой, порыл колодец, залез к Каштану в будку, попробовал в сарае испорченный велосипед — словом, взял от свободы все, что мог. И вот ты вернулся домой пить чай.

— Мне чая не дают, только по воскресеньям, и то с молоком.

— Хорошо. Ты выпил свое молоко и опять побежал играть. Опять роешь колодец, подманиваешь кошку и т.д. В этом кончается день. На другое утро мама вдруг запрещает тебе выходить из комнаты, ты должен сидеть и учиться. Только вечером тебе удастся поиграть на дворе. Когда же веселей играть — после целого дня учения?

— Если я целый день буду учиться, я умру. Это доктор сказал.

— Или сойдешь с ума, — это говорю я. Да, к чему я тебе рассказываю всю эту скучную историю?

— Я не знаю.

— И я тоже не знаю. Иногда мелькнет какая-нибудь мысль, попробуешь подтвердить ее примером — и кончено, исчезла! Это все равно что, идя куда-нибудь на елку, заходить по дороге во все дома, где тоже елка. В конце концов забываешь, куда шел. Положим...

— Ты все время говоришь «положим».

— «Положим» — то же самое, что «представь себе». Жизнь так скучна — ты скоро в этом убедишься, — что все время нужно представлять себе разные вещи. Впрочем, воображение — тоже жизнь. Где граница? Что такое действительность? Принято этим именем называть все, лишненное крыльев, — принято мной, по крайней мере. Но разве Шенбрунн — не действительность? Камерата, герцог Рейхштадтский... Ведь был же момент, когда она, бледнея, поднесла к губам его руку! Ведь все это было! Господи, господи!

— Ты, когда была маленькая, тоже все время представляла разные вещи?

— С самого дня рождения!

— И тоже так много говорила?

— Мое первое слово было — «гамма». Поэтому мама вообразила, что из меня выйдет по крайней мере Рубинштейн. Семи лет меня отдали в музыкальную школу. Что это было!

Дома — два часа у рояля, в школе — два часа... Когда меня оставляли одну, я мгновенно слезала с табуретки и делала реверанс воображаемой публике. Я так хотела славы! Теперь это прошло. В нашей школе устраивались музыкальные вечера, на которых присутствовали родители учащихся. Как я помню свое первое выступление! Мне надели розовое платье с широким поясом, завязали в волосы бант и отмыли пемзой чернила с пальцев. На извозчике я, при свете фонарей, перечитывала программу, где на первом месте стояло мое имя. Наконец мы приехали. Я сразу побежала в темный класс и, не снимая перчаток, сыграла свою пьесу. Публика понемногу собиралась. Гул голосов, смех. У входа на эстраду уже стояла Женя Брусова, звезда нашей школы. С ней я должна была играть в четыре руки. Мне было семь лет, ей лет семнадцать-восемнадцать. Я играла плохо, она — чудно. Я ее обожала. Наконец — третий звонок. Занавес поднимается. Я вбегаю по лесенке на эстраду, делаю реверанс. Сколько людей! И как они все на меня смотрят! Сажусь. Женя пододвигает табуретку со мной к роялю. Оправляю платье. «Только не спеши! Ну, раз, два, три!» Мы начинаем. Все идет хорошо: я нигде не ошибаюсь, не тороплюсь, — скоро уж вторая часть. Вдруг — смех, все громче, громче... Я смотрю на Женю: у нее как-то странно дрожат губы. Что же это такое? Тут я заметила, что с первого такта считала вслух: «Раз и, два и, три и, четыре и», как дома и на уроке. Поняв это, я замолчала. Смех быстро затих. Но когда я делала прощальный реверанс, все лица улыбались.

— А потом? — спросили мы в один голос.

— А потом меня с лесенки подхватил директор, подбросил в воздух и сказал: «Молодец, Мара!» Я побежала к маме, она смеялась. Все смеялись и поздравляли меня. К концу вечера у меня слипались глаза. Когда мы с мамой одевались, в переднюю вошел директор, положил мне в муфту руку и вынул оттуда яблоко. «Что это у тебя, Марочка, в муфте яблоки растут?» Я отлично поняла, что это он сам положил туда яблоко, но стеснялась сказать. «Отвечай же, Мара!» — строго сказала мама. Но я упорно не поднимала головы. Тут меня выручила Женя: «Мара, наверное, сейчас седьмой сон видит!» И, нагнувшись, поцеловала меня. По-

том мы с мамой сели в санки и поехали по тихим снежным переулкам.

— А яблоко ты съела?

— Конечно, тут же!

— А что теперь с Женей?

— Не знаю. Десяти лет я уехала за границу и больше не возвращалась в школу.

— Ты ее и теперь любишь?

— Да, как все прошлое!

— Расскажи еще!

— Вот другой случай, тоже смешной. Мне тогда было четыре года. Мы с мамой пришли в гости к моей крестной в чудный дом, заставленный старинной мебелью, пальмами, зеркалами... На столах лежали дорогие безделушки и конфеты, на полу — белые медведи в виде ковров. (Помню, как я целовала одного прямо в морду!) После чая мама отпустила меня погулять по комнатам. «Только ничего не трогай на столе! Не будешь?» — «Не буду!» — «Ну, иди!» Я пошла. Я, маленькая, была очень серьезная и неподвижная, с большой головой и волосами до бровей... Ну, иду, рассматриваю вещи, ничего не трогаю. Вдруг — кресло. Раз оно не на столе, его можно трогать. Тронула, обхватила, потащила. Ташу через все комнаты — раскраснелась, запыхалась. Ставлю прямо перед мамой. «Ты зачем его принесла?» — «Оно не на столе было». Общий хохот. Прощаясь, крестная сказала мне: «Приходи к нам, Марочка, комнаты у нас просторные, конфет много».

«Да, — серьезно ответила я, — комнаты-то и у нас просторные, только конфеты у мамы заперты».

— Твоя мама всегда запирала конфеты?

— К несчастью, да. Но как-то раз к нам приехала одна мамина знакомая и привезла нам три шоколадных яйца. Мы с Адей — это мой брат — сразу съели свои, а Аля — моя маленькая сестра — побоялась огорчить маму и не съела. Приезжает мама. Няня ей еще в передней успела что-то рассказать про яйца. «Ну, дети, покажите мне шоколадные яйца!» Мы стоим рядом. Аля за спиной передает Аде свое яйцо: «Вот». — «А твое, Мара?» Адя мгновенно прячет его за спину и передает мне. Я храбро показываю. «Дай-ка его мне на минутку!» Конечно, — бедная Аля! Ма-

ма сначала очень рассердилась, а потом смеялась и хвалила Алю.

— Аля тоже была с большой головой?

— Нет, с маленькой. Она была совсем другая — веселая, ласковая, приветливая, всем улыбалась, ко всем шла. Когда ей было три года, она снималась. Сама положила ногу на ногу, сложила руки. Улыбнулась и спросила фотографа: «Хорошо?» Но она ужасно часто плакала. Чуть подадут суп, сейчас же: «И-и-и». Мама — упрощивать: «Аленька, милая, золотая!» — «Аинька не хочет». (Она сама себя звала Аинькой.) «Ну, одну ложечку! Ну, ради мамы!» — «И-и-и». Или мы что-нибудь отнимем у нее, сейчас — к маме. Идет по лестнице: «И-и-и», — в зале, в гостиной уже тише (нужно же беречь голос!), а как подойдет к маминой двери, сразу изо всех сил.

— Она хитрая была!

— А вы не хитрые?

— Тоже хитрые. Мара, я у тебя хочу одну вещь попросить.

— Какую?

— Хочешь быть моей сестрой?

— И моей тоже!

— Нет, одной моей! Я первый сказал. Правда, Мара, я первый сказал?

— Правда, Кира, но я все-таки не согласна.

— Почему?

— Если я буду твоей сестрой, мне придется читать тебе нравочения, заставлять тебя мыть руки, не позволять на прогулках водить пальцем по заборам... Ты меня в конце концов разлюбишь. Когда ты через несколько лет прочтешь «La Princesse lointaine»*, ты меня поймешь.

— Какая это Princesse?

— Лучшая из всех — лучше Спящей красавицы, лучше Золушки и всех других. У меня к вам одна просьба, мальчики: каждый вечер молитесь о здоровье и долгой жизни Ростана. Это принц, который нашел эту принцессу.

— Где?

— В замке Триполи, на берегу моря. Он, кроме нее, нашел еще одного принца — сына Наполеона, герцога Рейхштадтского.

* «Принцесса Грёза» (*фр.*).

— Я про Наполеона знаю. Он все у всех отнял. А потом его посадили на остров, и он умер.

— Он был герой! Мученик славы! Молитесь и за него, мальчики. За него и за его сына — Наполеона II.

— Он тоже воевал?

— Нет. До четырех лет он жил во Франции, катался в колясочке, запряженной козами, сидел у Наполеона на коленях. По вечерам французская няня пела ему песни. А потом проклятые австрийцы увезли его к себе. Он не хотел уезжать из дворца. «Когда папы нет, я здесь хозяин!» — хватался за портьеру, плакал. Но его все-таки увезли. А через год англичане обманом взяли Наполеона в плен. Он на своем острове все время думал о сыне, тосковал о нем. Маленький Наполеон тоже не мог забыть своего отца. Хотя ему было четыре с половиной года, он упорно не хотел говорить по-немецки, и учитель прямо не знал, что с ним делать.

— Совсем как с нами! — вырвалось у меня.

— Потом он, конечно, выучился, но всю жизнь, до самой смерти, был в душе сыном Наполеона и французом.

— Он давно умер?

— Давно, почти сто лет тому назад. Он умер от тоски по Франции, юный, прекрасный, в печальном шенбрунском замке. Вы будете за него молиться?

— Да, и за ту принцессу, и за принца Ростана, который их обоих нашел. Будем молиться, Женя?

— Да, три поклона за каждого.

— Сделайте это сейчас, милые!

У каждой кровати по белой склоненной фигурке. Два детских голоса:

— Упокой, Господи, душу той принцессы...

— Упокой, Господи, душу Наполеона и его сына, маленького Наполеона...

— Дай, Господи, здоровье и долгую жизнь принцу Ростану...

На коленях третья фигурка — темная. В темноте третий голос:

— Упокой, Господи, душу Наполеона II, короля Римского, принца Пармского, герцога Рейхштадтского...

Там, где молятся трое...

VI

Дорогие мальчики!

Вы сейчас спите и не знаете, как неблагодарно и неблагодарно поступит с вами ваша Мара. Эти две ночи с вами дали мне больше, чем два года в обществе самых умных и утонченных людей. Чего я хочу от жизни? Безумия и волшебства.

С первого взгляда вы признали во мне сумасшедшую, взглядевшись пристальнее — волшебницу.

У меня нет дороги. Столько дорог в мире, столько золотых тропинок, — как выбирать?

У меня нет цели. Идти к чему-нибудь одному, хотя бы к славе, значит отрешиться от всего другого. А я хочу — всего! До встречи с вами я бы сказала: у меня нет друзей. Но теперь они есть. Больше чем друзья! Так, как я вас люблю, друзей не любят. У меня к вам и обожание и жалость. Да, я жалею вас, маленькие волшебные мальчики, с вашими сказками о серебряных колодцах и златокудрых девочках, которые «по ночам не спят». Златокудрые девочки вырастают, и много ночей вам придется не спать из-за того, что вода в колодцах всегда только вода.

Сейчас шесть часов утра. Надо кончать. Я не простилаась с вами, потому что слишком вас люблю.

Мара.

P.S. Не забывайте каждый вечер молиться о маленьком Наполеоне!

Марина Цветаева

НА РАДОСТЬ

С.Э.

Ждут нас пыльные дороги,
Шалаши на час
И звериные берлоги
И старинные чертоги...
Милый, милый, мы, как боги:
Целый мир для нас!

Всюду дома мы на свете,
Всё зовя своим.
В шалаше, где чинят сети,
На сияющем паркете...
Милый, милый, мы, как дети:
Целый мир двоим!

Солнце жжет, — на север с юга,
Или на луну!
Им очаг и бремя плуга,
Нам простор и зелень луга...
Милый, милый, друг у друга
Мы навек в плену!

СЕРГЕЮ ЭФРОН-ДУРНОВО

1

Есть такие голоса,
Что смолкаешь, им не вторя,
Что предвидишь чудеса.
Есть огромные глаза
Цвета моря.

Вот он встал перед тобой:
Посмотри на лоб и брови
И сравни его с собой!
То усталость голубой,
Ветхой крови.

Торжествует синева
Каждой благородной веной.
Жест царевича и льва
Повторяют кружева
Белой пеной.

Вашего полка — драгун,
Декабристы и версальцы!
И не знаешь — так он юн —
Кисти, шпаги или струн
Просят пальцы.

Коктебель, 19 июля 1913

2

Как водоросли Ваши члены,
Как ветви мальмэзонских ив...
Так Вы лежали в брызгах пены,
Рассеянно остановив

На светло-золотистых дынях
Аквамарин и хризопраз
Сине-зеленых, серо-синих,
Всегда полузакрытых глаз.

Марина Цветаева. Сергей Эфрон

Летели солнечные стрелы
И волны — бешеные львы.
Так Вы лежали, слишком белый
От нестерпимой синевы...

А за спиной была пустыня
И где-то станция Джанкой...
И тихо золотилась дыня
Под Вашей длинною рукой.

Так, драгоценный и спокойный,
Лежите, взглядом не даря,
Но взглянете — и вспыхнут войны,
И горы двинутся в моря,

И новые зажгутся луны,
И лягут радостные львы —
По наклоненью Вашей юной,
Великолепной головы.

1 августа 1913

ГЕНЕРАЛАМ ДВЕНАДЦАТОГО ГОДА

Сергею

Вы, чьи широкие шинели
Напоминали паруса,
Чьи шпоры весело звенели
И голоса.

И чьи глаза, как бриллианты,
На сердце вырезали след —
Очаровательные франты
Минувших лет.

Друг у друга мы навек в плену

Одним ожесточеньем воли
Вы брали сердце и скалу, —
Цари на каждом бранном поле
И на балу.

Вас охраняла длань Господня
И сердце матери. Вчера —
Малютки-мальчишки, сегодня —
Офицера.

Вам все вершины были малы
И мягок — самый черствый хлеб,
О, молодые генералы
Своих судеб!

Ах, на гравюре полустертой,
В один великолепный миг,
Я встретила, Тучков-четвертый,
Ваш нежный лик,

И вашу хрупкую фигуру,
И золотые ордена...
И я, поцеловав гравюру,
Не знала сна.

О, как — мне кажется — могли вы
Рукою, полною перстней,
И кудри дев ласкать — и гривы
Своих коней.

В одной невероятной скачке
Вы прожили свой краткий век...
И ваши кудри, ваши бачки
Засыпал снег.

Три сотни побеждало — трое!
Лишь мертвый не вставал с земли.
Вы были дети и герои,
Вы всё могли.

Марина Цветаева. Сергей Эфрон

Что так же трогательно-юно,
Как ваша бешеная рать?..
Вас златокудрая Фортуна
Вела, как мать.

Вы побеждали и любили
Любовь и сабли острее —
И весело переходили
В небытие.

Феодосия, 26 декабря 1913

С.Э.

Я с вызовом ношу его кольцо
— Да, в Вечности — жена, не на бумаге. —
Его чрезмерно узкое лицо
Подобно шпаге.

Безмолвен рот его, углами вниз,
Мучительно-великолепны брови.
В его лице трагически слились
Две древних крови.

Он тонок первой тонкостью ветвей.
Его глаза — прекрасно-бесполезны! —
Под крыльями распахнутых бровей —
Две бездны.

В его лице я рыцарству верна.
— Всем вам, кто жил и умирал без страху. —
Такие — в роковые времена —
Слагают стансы — и идут на плаху.

Коктебель, 3 июня 1914

ПИСЬМА С.ЭФРОНУ

1

<В Коктебель>

Александров, 4^{го} июля 1916 г.

Дорогая, милая Лёва!

Спасибо за два письма, я их получила сразу. Прочтя про мизинец, я завывала и чуть не стошнилась, — вся похолодела и покрылась гусиной кожей, хотя в это время сидела на крыльце, на самом солнце. Lou! Дурак и гадина!

Я рада, что Вы хороши с Ходасевичем, его мало кто любит, с людьми он сух, иногда холоден, это не располагает. Но он несчастный и у него прелестные стихи, он хорошо к Вам относится? Лувинька, вчера и сегодня всё время думаю, с большою грустью, о том, как, должно быть, расстрожила Вас моя телегр<амма>. Но что мне было делать? Я боялась, что умолчав, как-н<и>б<удь> неожиданно подведу Вас. Душенька ты моя лёвская, в одном я уверена: где бы ты ни очутился, ты недолго там пробудешь. В этом меня поддерживает М<аврикий> А<лександрович>, а он эти дела хорошо знает. Скоро — самое позднее к 1^{му} августу — его отправляют на фронт. Он страшно озабочен Асиной судьбой, думает и говорит только об Асе, мне его страшно жаль.

Lou, не беспокойся обо мне: мне отлично, живу спокойнее нельзя, единственное, что меня мучит, это Ваши дела, вернее, Ваше самочувствие. Вы такая трогательная, лихорадочная тварь!

Пишу Вам в 12 ночи. В окне большая блестящая белая луна и черные деревья. Гудит поезд. На столе у меня в большой плетенке — клубника, есть ли у Вас в Коктебеле фрукты и ку-

шаєте ли? Маврикий только что красил детскую ванну в белый цвет и так перемазался и устал, что не может Вам сейчас писать и шлет пока горячий привет.

Дети спят. Сегодня Аля, ложась, сказала мне: «А когда ты умрешь, я тебя раскопаю и раскрою тебе рот и положу туда конфету. А язык у тебя будет чувствовать? Будет тихонько шевелиться?» и — варварски: «Когда ты умрешь, я сяду тебе на горбушку носа!» И она и Андрюша каждый вечер за Вас молятся, совершенно самостоятельно, без всякого напоминания. Андрюша еще упорно молится «за девочку Ирину» — а брата почему-то зовут: «Михаилович», с ударением на и.

Ася приедет, должно быть, в Воскресение.

Милый Лев, спокойной ночи, нежно Вас целую, будьте здоровы, не делайте глупостей с пальцем.

Лев, здесь очень много Сидоровых!

МЭ

Слышу отсюда вытье Дейши!

2

<В Коктебель>

Александров, 7²⁰ июля 1916 г.

Обожаемый Лев,

Я была вчера у воинского начальника и вечером дала Вам телеграмму с нарочным, — Бог знает, застанет ли Вас еще мое письмо, потому пишу коротко.

4¹⁰ дворник ездил в Крутицкие, где делопроизводитель сказал ему, что Ваше назначение получено и что Вы должны явиться через 1½ часа. Тогда Маша тотчас же послала *оставленную мною* телегр<амму>. Приехав, я пришла в ужас, позвонила воинскому начальнику, к<отор>ый, очень любезно известив меня, каким № и откуда к нему ехать, попросил зайти сегодня же в 4 ч. Я отправилась. Он беспомощно просил меня поторопить Вас с ответом, он послал Вам запрос 2¹⁰, а 6¹⁰ — еще не было ответа. Сказал, что запрос о Вас получен из штаба и показал телеграмму (штабную). Все там наизусть знают Ваш адр<ес>, чиновники наперебой декламировали его, при-

чем один произносил: «Контель», а другой пояснял, что он действительно существует и что он сам там был. Все молодые чиновники — вылитые Могилевские. Военский начальник вызовет Вас сам, я десять раз спрашивала его, не вызвать ли мне Вас. — «Не беспокойтесь, я сам его извещу». Итак, сидите в Коктебеле!

Не думаю, что этот вопрос для них легок. — «Ну, где же я это, наконец, узнаю!» — Слышала собственными ушами. Он похож манерами на дядю Митю, а сложением — на Макса. Было очень жарко, мне — от волнения, ему от июля-месяца и от Льва.

Спасибо, Lou, за историю с Брюсовым и Ходасевичем! Я безумно хохотала и наслаждалась, М<аврикий> А<лександрович> тоже.

Фамилия д<иректо>ра — Сыроечковский, Евгений Иванович, он был красавец, я 14 л<ет> немножко была в него влюблена. Однажды — тоже за сочинение — он призвал меня в кабинет и, запомнив только первые две строки некрасовской «Ростопчинской шутки»

В Европе сапожник, чтоб барином стать,
Бунтует, — понятное дело!
У нас революцию сделала знать, —
В сапожники ль, что ль, захотела? —

спросил меня: «Вы, г<оспо>жа Цветаева, должно быть, в конюшне с кучерами воспитывались?»

«Нет, г<осподи>н директор, с директорами!»

Потом, к весне, меня вежливо исключили с пятеркой за поведение — из-за папы.

Я была на его похоронах, ближе всех стояла к гробу.

Пишу сейчас на террасе, поздняя ночь, деревья шумят, колотушка трещит.

Кажется — 12^{го} июля опять будет призыв студентов, я это слышала в Крутицких — от кого-то из чиновников.

Ася уже ходит, я ее видела вчера. Мальчик спокойный. Лев, я вчера видела в лечебнице трехдневного армянина: густая длинная, почти до бровей, черная челка, круглые, как у совы, чернейшие брови и большие черные глаза, вид

миниатюрного трехлетнего ребенка. Взгляд пристальный. Я была от него в восторге, — «он жид должно быть!» Лев, знаешь, сколько сейчас платят кормилицам? — 75 р. в месяц и приданое.

Скажи М<андельшта>му, не забудь упомянуть о какао, манных кашах и яйцах! И всего по 6^{ти}: простынь, наволочек, полотенец и т<ак> д<алее>. И башмаков! — Соня (прислуга), узнав, всплеснула руками: «Ох, ба-а-арыня! И я этого не знала!» Теперь это ей не даст спать по крайней мере месяц!

Дома всё благополучно, кроме коклюша во дворе. Аля здорова и хорошо себя ведет. Недавно она мне сказала: «А когда ты умрешь, я сяду тебе на горбушку носа!» Она каждый вечер за Вас молится, Андрюша тоже.

Лува, иду спать, сейчас около двух. В Москве получила письмо от Чайкиной, торопит с переводом, хочет печатать его с августа, а у меня пока переведено всего 50 стр<аниц>. Надо торопиться. Сегодня я сразу перевела восемь.

Заходил к Вам Говоров и оставил записку, в к<отор>ой обещает Вам «массу интересных новостей».

Ну, Лувинька, приятного сна, или купанья, или обеда, иду спать.

Целую Ваше рыжее бакенбардие.

<Вместо подписи — рисунок козы. >

Мы с Асей решили, если у нее пропадет молоко, через каждые три часа загонять в овраг по чужой козе и выдаивать ее дотла. Я бы хотела быть вскормленной на ворованном, да еще сидоровом молоке!

P.S. Очень думаю о Ваших делах, Лев, только о них и думаю, но трудно писать.

Табак с нашей клумбы.

<На полях:>

Лев, я засушила 1½ ф<унта> белых грибов! Табак я тебе рвала в темноте и страшно боялась, но задумала.

Дорогой Сереженька,

Вы совсем мне не пишете. Вчера я так ждала почтальона — и ничего, — только письмо Асе от Камковой. Ася всё еще в имении. Она выходила сына Зелинского от аппендицита, он лежал у нее три недели, и теперь родители на нее Богу молятся. Я не поехала, — сначала хотели ехать все вместе, но я не люблю гостить, старики на меня действуют угнетающе, я чувствую себя виноватой во всех своих кольцах и браслетах. Сторожу Андрюшу. Я к нему совершенно равнодушна, как он ко мне и — вообще — ко всем. Роль матери при нем сводится к роли слуги, ни малейшего ответного чувства, — камень.

Лунные ночи продолжаются. Каждый вечер ко мне приходит докторша, иногда Н.И.Хрустачев. Он совсем измучен семьей, озлоблен. Приходит, ложится на ковер, курит. Мы почти не говорим, и приходит он, думается, просто чтобы не видеть своей квартиры. Иногда говорю ему стихи, он любит, понимает. И жена его измотана, работает на него и на девочку, как раб, сама моет полы, стирает, готовит. Безнадежное зрелище. Оба правы, — верней — никто не виноват. И ни тени любви, одно озлобление.

Я живу очень тихо, помогаю Наде, сижу в палисаднике, над обрывом, курю, думаю. Здесь очень ветрено, у Аси ужасная квартира, сплошной сквозняк. Она ищет себе другую.

Все дни выпускают вино. Город насквозь пропах. Цены на дома растут так: великолепный каменный дом со всем инвентарем и большим садом — 3 месяца тому назад — 40 000 р., теперь — 135 000 р. без мебели. Одни богатеют, другие баснословно разоряются (вино).

У одного старика выпустили единственную бочку, к<отор>ую он берег уже 30 лет и хотел доберечь до совершеннолетия внука. Он плакал. Расскажите Борису, это прекрасная для вас обоих тема.

Сереженька, я ничего не знаю о доме: привили ли Ирине оспу, как с отоплением, как Люба, — ничего. Надеюсь, что всё хорошо, но хотелось бы знать достоверно.

Я писала домой уже раз семь.

Сейчас иду на базар с Надей и Андрюшей. Жаркий день, почти лето. Устраивайте себе отпуск. Как я вернусь — Вы поедете. Пробуду здесь не дольше 5^{го}, могу вернуться и раньше, если понадобится.

До свидания, мой дорогой Лев. Как Ваша служба? Целую Вас и детей.

МЭ

P.S. Крупы здесь совсем нет, привезу, что даст Ася. *Везти ли с собой хлеб?* Муки тоже нет, вообще — не лучше, чем в Москве. Цены гораздо выше. Только очередей таких нет.

С кем видите в Москве? Повидайтесь с Малиновским (3-66-64) и спросите о моей брошке?

4

<В Москву>

Феодосия, 22^{го} октября 1917 г.

Дорогой Сереженька!

Вчера к нам зашел П<етр> Н<иколаевич> — вести нас в здешнее литературное общество «Хлам». Коля Беляев был оставлен у двери, как нелитератор.

Большая зала, вроде Эстетики. Посредине стол, ярко освещенный. Кипы счетоводных (отчетных) книг. Вокруг стола: старуха Шиль (лекторша), черный средних лет господин, Галя Полуэктова и еще какое-то существо вроде Хромоножки, — и П<етр> Н<иколаевич> с нами двумя.

— А у нас недавно был большевик! — вот первая фраза. Исходила она из уст «средних лет». — «Да, да, прочел нам целую лекцию. Обыватель — дурак, поэт — пророк, и только один пророк, — сам большевик».

— Кто ж это был?

— Поэт Мандельштам.

Всё во мне зыграло.

— Мандельштам прекрасный поэт.

— Первая обязанность поэта — быть скромным. Сам Гоголь...

Ася:

— Но Гоголь сошел с ума!

— Кто знает конец г<осподи>на М<андельшта>ма? Я, например, говорю ему: стихи создаются из трех элементов: мысли, краски, музыки. А он мне в ответ: «Лучше играйте тогда на рояле!» — «А из чего *по Вашему* создаются стихи?» — «Элемент стиха — слово. Сначала бе слово...» Ну, вижу, тут разговор бесполезен»...

Я: — Совершенно.

Шиль: — Значит одни слова — безо всякой мысли?

П<етр> Н<иколаевич>: — Это, г<оспо>да, современная поэзия!

— И пошло! Началось издевательство над его манерой чтения, все клянутся, что ни слова не понимают. — Это кривляние! — Это обезьяна! — Поэт не смеет петь! —

Потом водопад стихов: П<етр> Н<иколаевич>, Галя Полуэктова, Хромоножка. Хромоножка, кстати, оказалась 12-летней девочкой — Фусей.

«Наболевшее сердце грустит».

Реплики свои по поводу М<андельшта>ма я опускаю, — можете себе их представить. Мы просидели не более получаса.

Я бы к названию «Хлам» прибавила еще: «Хам». — «Хлам и Хам», можно варьировать. И звучит по-английски.

В этом «Хламе» участвовал Вячеслав (?) Шешмаркевич. Он был здесь летом, читал лекцию о Пушкине, обворожил всех. Он теперь прапорщик и острижен. (Не Вячеслав, — Всеволод!) Рассказывал всем, что старше своего брата Бориса на 3 месяца. Все верили. — Это нечто вроде непорочного зачатия, чудеса у себя дома.

— Сереженька! Везде «Бесы»! Дорого бы я дала, чтобы украть для Вас одну счетоводную книгу «Хлама»! Стихи по сто строк, восхитительные канцелярские почерка. Мелькают имена Сарандинаки, Лампси, Полуэктовой. Но больше всех пишет Фуся.

Галя П<олуэкто>ва через год, два, станет полным повторением своей матери. Сейчас она шимпанзе, скоро будет гориллой. А как хороша она была 4 года назад!

Сереженька, здесь есть одна 12-летняя девочка, дочь начальника порта Новицкого, которая заочно в Вас влюбилась. Коля Беляев подарил ей Вашу карточку. — Приятно? —

Девочка хорошенькая и умная — по словам Коли.

Пока целую Вас. Получила всего 3 письма. Привезу Вам баранок и Ирине белых сухарей (продаются по рецепту в аптеке).

МЭ

— Латри расходятся.

5

<В Москву>

Феодосия, 25²⁰ октября 1917 г.

Дорогой Сереженька,

Третьего дня мы с Асей были на вокзале. Шагах в десяти — господин в широчайшем желтом пальто, в высочайшей шляпе. Что-то огромное, тяжелое, вроде орангутанга.

Я Асе: «Quelle heugneur!» — «Oui, j'ai déjà remarqué!»* И вдруг — груда шатается, сдвигается и — «М<арина> И<вановна>! Вы меня не узнаете?»

— Эренбург!

Я ледяным голосом пригласила его зайти. Он приехал к Макс, на три дня.

Вчера приехала из К<окте>беля Наташа Вержховецкая. Она меня любит, я ей верю. Вот что она рассказывала:

— «М.Цветаева? Сплошная безвкусица! И внешность и стихи. Ее монархизм — выходки девчонки, оригинальничание. Ей всегда хочется быть другой, чем все. Дочь свою она приучила сочинять стихи и говорить всем, что она каждого любит больше всех. И не дает ей есть, чтобы у нее была тонкая талья». Затем — рассказ Толстого (или Туси?) о каком-то какао с желтками, которые я якобы приказала Але выплюнуть, — ради тонкой тальи. Говорил он высокомерно и раздраженно. Макс слегка защищал:

* «Какой ужас!» — «Да, я уже заметила!» (фр.)

«Я не нахожу, что ее стихи безвкусны». Пра неодобрительно молчала.

О Керенском он говорит теперь уже несколько иначе. К<ерен>ский морфинист, человек ненадежный. А помните тот спор?

Сереженька, как низки люди! Ну не Бог ли я, не Бог ли Вы рядом с таким Эренбургом? Чтобы мужчина 30^{ти} лет пересказывал какие-то сплетни о какао с желтками. Как не стыдно? И — главное — ведь это несуразно, он наверное сам не верит.

И как непонятны мне Макс и Пра и сама Наташа! Я бы ему глаза выдрала!

— Ах, Сереженька! Я самый незащитный человек, которого я знаю. Я к каждому с улицы подхожу вся. И вот улица мстит. А иначе я не умею, иначе мне надо уходить из комнаты.

Все лицемерят, я одна *не могу*.

От этого рассказа отвратительный осадок, точно после червя.

Сереженька, я вправе буду не принимать его в Москве?

Вчера мы были у Александры Михайловны. Она совсем старушка, вся ссохлась, сморщилась, одни кости. Легкое, милое привидение.

Ярая монархистка и — что больше — правильная. Она очень слаба, еле ходит, — после операции или вообще — неизвестно. Что-то с кишечником и безумные головные боли. На лице живы только одни глаза. Но горячность прежняя, и голос молодой, взволнованный, волнующий.

Живет она внизу, в большом доме. Племянники ее выросли, прекрасно воспитаны. Я говорила ей стихи. — «Ваши Генералы 12 года — пророчество! Не даром я их так любила», сказала она. У этой женщины большое чутье, большая душа. О Вас она говорила с любовью.

Сереженька, думаю выехать 1^{го}. Перед отъездом съезжу или схожу в Коктебель. Очень хочется повидать Пра. А к Макс у я равнодушна. Дружба такая же редкость, как любовь, а знакомых мне не надо.

Читаю сейчас «Сад Эпикура» А.Франса. Умнейшая и обаятельнейшая книга. Мысли, наблюдения, кусочки жизни. Мудро, добро, насмешливо, грустно, — как надо.

Неприменно подарю Вам ее.

Я рада домой, немножко устала жить на юру. Но и поездке рада.

Привезу что могу. На вино нельзя надеяться, трудно достать и очень проверяют.

Когда будет билет, дам телеграмму. А пока буду писать.

Целую Вас нежно. Несколько новостей пусть Вам расскажет Аля.

МЭ

Роковые времена

Сергей Эфрон

ЗАПИСКИ ДОБРОВОЛЬЦА

ОКТАБРЬ (1917 г.)

«...Когда б на то не Божья воля,
Не отдали б Москвы!»

Это было утром 26 октября. Помню, как нехотя я, садясь за чай, развернул «Русские Ведомости» или «Русское Слово», не ожидая, после провала Корниловского выступления, ничего хорошего.

На первой странице бросилась в глаза напечатанная жирным шрифтом строчка:

– Переворот в Петрограде. Арест членов Временного правительства. Бои на улицах города.

Кровь бросилась в голову. То, что должно было произойти со дня на день, и мысль о чем так старательно отгонялась всеми – свершилось.

Предупредив сестру (жена в это время находилась в Крыму), я быстро оделся, захватил в боковой карман шинели револьвер Ивер и Джонсон и полетел в полк, где, конечно, должны были собраться офицеры, чтобы сговориться о ближайших действиях.

Я знал наверное, что Москва без борьбы большевикам не достанется. Наступил час, когда должны были выступить с одной стороны большевики, а с другой – все действительное, могущее оказать им сопротивление. Я недооценивал сил большевиков, и их поражение казалось мне несомненным.

Мальчишеский задор, соединенный с долго накапливаемой и сдерживаемой энергией, давали себя чувствовать так сильно, что я не мог побороть лихорадочной дрожи.

Ехать в полк надо было к Покровским воротам трамваем. Газетчики поминутно вскакивали в вагон, выкрикивая страш-

ную весть. Газеты рвались нарасхват. С жадностью всматривался я в лица, стараясь прочесть в них, как встречается москвичами полученное известие. Замечалось лишь скрытое волнение. Обычно столь легко выявляющие свои чувства — москвичи на этот раз как бы боялись выказать то или иное отношение к случившемуся. В вагоне царило молчание, нарушаемое лишь шелестом перелистываемых газет.

Я не выдержал. Нарочно вынул из кармана газету, сделал вид, что впервые читаю ее, и, пробежав несколько строчек, проговорил громче, чем собирался:

— Посмотрим. Москва — не Петроград. То, что легко было в Петрограде, на том в Москве сломают зубы.

Сидящий против меня господин улыбнулся и тихо ответил:

— Дай бог!

Остальные пассажиры хранили молчание. Молчание не иначе мыслящих, а просто не желающих высказаться.

Знаменательность этого молчания я оценил лишь впоследствии.

Мрачное старое здание Покровских казарм. Перед казармами небольшой плац. Обычный будничный вид. Марширующие шеренги и взводы. Окрики и зычные слова команды.

— Взво-о-од кру-у-гом! На пра-а-во!

«Голову выше!», «Ноги не слышу!» и т.д.

Будто бы ничего и не случилось. В то время как почти наверное уже завтра Москва будет содрогаться от выстрелов.

Прохожу в свою десятую роту. По коридорам подметают уборщики. Проходящие солдаты отдают честь. При моем появлении в роте раздается полагающаяся команда. Здороваясь. Отвечают дружно. Подбегает с рапортом дежурный по роте.

Подходит фельдфебель — хитрый хохол Марченко.

— Как дела, Марченко? Все благополучно?

— Так точно, г-н прапорщик. Происшествий никаких не случилось. Все слава богу.

По уклончивости взгляда и многозначительности интонации — вижу, что он все знает.

— Из г<ос>под офицеров никто не приходил?

— Всех, господи прапорщик, в собрании найдете. Туда всех созвали.

Оглядываю солдат. Ничего подозрительного не замечаю и направляюсь в офицерское собрание.

* * *

В небольшом помещении собрания — давка. С большим трудом протискиваюсь в середину. По лицам вижу, что настроены сдержанно, но решительно. Собрание протекает напряженно, но в полном порядке. Это скорее частное совещание. Командиры батальонов сообщают, что по батальонам тихо и никаких выступлений ожидать не приходится. Кто-то из офицеров спрашивает, приглашен ли командир полка*.

Его ждут с минуты на минуту. До его прихода офицеры разбиваются на группы и делятся своими мыслями о случившемся. Большинство наивно уверено в успехе несуществующих антибольшевицких сил.

— Вы подсчитайте только, — кипит молодая прапорщик, — в нашем полку триста офицеров, а всего в Московском гарнизоне тысяч до двадцати. Ведь это же громадная сила! Я не беру в счет военных училищ и школ прапорщиков. С одними юнкерами можно всех большевиков из Москвы изгнать.

— А после что? — спрашивает старый капитан Ф.

— Как, после что? — возмущается прапорщик. — Да ведь Москва-то, это — все. Мы установим связь с казаками, а через несколько дней вся Россия в наших руках.

— Вы говорите, как ребенок, — начинает сердиться капитан. — Сейчас в Совете Рабочих Депутатов идет работа по подготовке переворота, и я уверен, что такая же работа идет и в нашем полку. А что мы делаем? Болтаем, болтаем и болтаем. Керенщина проклятая! — и он, с раздражением отмахнувшись, отходит в сторону.

В это время раздается возглас одного из командиров батальонов: «Господа офицеры!». — Все встают. В собрание торопливо входит в сопровождении адъютанта (впоследствии одного из первых перешедшего к большевикам) командир полка.

* К-р полка обычно на собрании офицеров не присутствует. — *Примеч. авт.*

Маленький, подвижный и легкий, как на крыльях, с подергивающимся после контузии лицом, с черной повязкой на выбитом глазу, с белым крестиком на груди. Обводит нас пытливым и встревоженным взглядом своего единственного глаза. Мы чувствуем, что он принес нам недобрые вести.

— Простите, господа, что заставил себя ждать, — начинает он при наступившей мертвой тишине. — Но вина в этом не моя, а кто виноват — вы сами узнаете.

В первый раз мы видим его в таком волнении. Говорит он прерывающимся голосом, барабани пальцами по столу.

— Вы должны, конечно, все понимать, сколь серьезно сейчас положение Москвы. Выход из него может быть найден лишь при святом исполнении воинского долга каждым из нас. Мне нечего повторять вам, в чем он заключается. Но, господа, найти верный путь к исполнению долга бывает иногда труднее, чем самое исполнение его. И на нашу долю выпало именно это бремя. Я буду краток. Господа, мы — к-ры полков, предоставлены самим себе. Я беру на себя смелость утверждать, что командующий войсками — полковник Рябцов — нас предает. Сегодня с утра он скрывается. Мы не могли добиться свидания с ним. У меня есть сведения, что в то же время он находит досуг и возможность вести какие-то таинственные переговоры с главарями предателей. Итак, повторяю, нам придется действовать самостоятельно. Я не могу взять на свою совесть решения всех возникающих вопросов единолично. Поэтому я прошу вас определить свою ближайшую линию поведения. Я кончил. Напомню лишь, что промедление смерти подобно. Противник лихорадочно готовится. Есть ли какие-либо вопросы?

О чем было спрашивать? Все было ясно.

После ухода полковника страсти разгорелись. Часть офицеров требовала немедленного выступления, ареста главнокомандующего, ареста совета, другие склонялись к выжидательной тактике. Были среди нас два офицера, стоявших и на советской платформе.

Проспорив бесплодно два часа, вспомнили, что у нас в Москве есть собственный, отделившийся от рабочих и солдатских Совет офицерских депутатов. Вспомнили и ухватились, как за якорь спасения. Решили ему подчиниться ввиду

измены командующего округом, поставить его об этом в известность и ждать от него указаний. Пока же держать крепкую связь с полком.

* * *

Я вышел из казарм вместе с очень молодым и восторженным юношей — прапорщиком М., после собрания пришедшим в возбужденно-воинственное состояние.

— Ах, дорогой С.Я., если бы вы знали, до чего мне хочется поскорее начать наступление. А потом, отдавая должное старшим, я чувствую, что мы, молодежь, временами бываем гораздо мудрее их. Пока старики будут раздумывать, по семи раз примеривая, все не решаясь отмерить, — большевики начнут действовать и застанут нас врасплох. Вы идете к себе на Поварскую?

— Да.

— Если вы не торопитесь — пройдемте через город и посмотрим, что там делается.

Я охотно согласился. Наш путь лежал через центральные улицы Москвы. Пройдя несколько кварталов, мы заметили на одном из углов группу прохожих, читавших какое-то объявление. Ускоряем шаги.

Подходим. Свежеприклеенное воззвание Совдепа. Читаем приблизительно следующее:

«Товарищи и граждане!

Налетел девятый вал революции. В Петрограде пролетариат разрушил последний оплот контрреволюции. Буржуазное Временное правительство, защищавшее интересы капиталистов и помещиков, арестовано. Керенский бежал. Мы обращаемся к вам, сознательные рабочие, солдаты и крестьяне Москвы, с призывом довершить дело. Очередь за вами. Остатки Правительства скрываются в Москве. Все с оружием в руках — на Скобелевскую площадь к Совету Р. С. и Кр. Деп. Каждый получит определенную задачу.

Ц.И.К.М.С.Р.С. и К.Д.».

Читают молча. Некоторые качают головой. Чувствуется подавленное недоброжелательство и вместе с тем нежелание даже жестом проявить свое отношение.

— Черт знает что такое! Негодяи! Что я вам говорил, С.Я.? Они уже начали действовать!

И, не ожидая моего ответа, пр<апорщик> М. срывает звание.

— Вот это правильно сделано, — раздается голос позади нас.

Оглядываемся — здоровенный дворник, в белом фартуке, с метлой в руках, улыбка во все лицо.

— А то все читают да головами только качают. Руку протянуть, сорвать эту дрянь — боятся.

— Да как же не бояться, — говорит один из читавших с обидой. — Мы что? Махнет раз — и нет нас. Господа офицеры — дело другое, у них оружие. Как что — сейчас за шашку. Им и слово сказать побоятся.

— Вы ошибаетесь, — отвечаю я. — Если, не дай бог, нам придется применить наше оружие для самозащиты, поверьте мне, и наших костей не соберут!

Мой спутник М. пришел в неистовый боевой восторг. Очевидно, ему показалось, что наступил момент открыты военные действия. Он обратился к собравшимся с целую речью, которая заканчивалась призывом — каждому проявить величайшую сопротивляемость «немецким наймитам — большевикам». А в данный час эта сопротивляемость должна была выразиться в дружном и повсеместном срывании большевицких воззваний. Говорил он с воодушевлением искренности и потому убедительно. Его слова были встречены общим, теперь уже нескрываемым, сочувствием.

— Это правильно. Что и говорить!

— На Бога надейся, да сам не плошай!

— Эти бумажонки обязательно срывать нужно. Новое кропролитство задумали — окаянные!

— Все жида да немцы — известное дело, им русской крови не жалко. Пусть себе льется ручьями да реками!

Какая-то дама возбужденно пожала наши руки и объявила, что только на нас, офицеров, и надеется.

— У меня у самой — сын под Двинском!

Наша группа стала обрастать.

Я еле вытянул М., который готов был разразиться новой речью.

— Знаете, С.Я., мы теперь будем идти и по дороге все объявления их срывать! — объявил он мне с горящими глазами.

Мы пошли через Лубянку и Кузнецкий Мост. В городе было еще совсем тихо, но, несмотря на тишину, — налет всеобщего ожидания. Прохожие внимательно осматривали друг друга; на малейший шум, гудок автомобиля, окрик извозчика — оглядывались. Взгляды скрещивались. Каждое лицо казалось иным — любопытным: свой или враг?

Обычная жизнь шла своим чередом. Нарядные дамы с покупками, спешащий куда-то деловой люд, даже фланеры Кузнецкого Моста вышли на свою традиционную прогулку (время было между 3-мя и 4-мя).

Мы с М. не пропустили ни одного воззвания.

Здесь прохожие — сплошь «буржуи», не стесняясь, выражали свои чувства. На некоторых домах мы находили лишь обрывки воззваний: нас уже опередили.

С Дмитровки свернули влево и пошли Охотным Рядом к Тверской, с тем чтобы выйти на Скобелевскую площадь — сборный пункт большевиков. Здесь характер толпы уже резко изменился. «Буржуазии» было совсем мало. Группами шли солдаты в расстегнутых шинелях, с винтовками и без винтовок. Попадались и рабочие, но терялись в общей солдатской массе. Все шли в одном направлении — к Тверской. На нас злобно и подозрительно посматривали, но затрагивать боялись.

Я уже начал раздумывать — стоит ли идти на Тверскую, как неожиданное происшествие заставило нас ознакомиться на собственной шкуре с тем, что происходило не только на Тверской, но и в самом Совдепе.

* * *

На углу Тверской и Охотного Ряда группа солдат, человек в десять, остановилась перед злополучным воззванием. Один из них громко читает его вслух.

— С.Я., это-то воззвание мы должны сорвать!

Слова эти были так произнесены, что я не посмел возразить, хотя и почувствовал, что сейчас мы совершим вещь бесполезную и непоправимую.

Подходим. Солдат, читавший вслух, умолкает. Остальные с задорным любопытством нас оглядывают. Когда мы делаем

движение подойти ближе к воззванию — со злой готовностью расступаются (почитай, мол, что тут про вашего брата — кровопивца — написано).

На этот раз протягиваю руку я. И сейчас ясно помню холодок в спине и пронзительную мысль: это — самоубийство. Но мною уже владеет не мысль, а протянутая рука.

Раз! Комкаю бумагу, бросаю и медленно выхожу из круга, глядя через головы солдат. Рядом — звонкие шаги М., позади — тишина. Тишина, от которой сердце сжалось. Знаю, что позади много солдатских голов смотрят нам вслед и что через мгновение начнется страшное и неминуемое. Помогите, Господи!

Скашиваю глаза в сторону пр<апорщика> М. Лицо его мертвенно-бледно. И ободряющая мысль — «хорошо, что мы вдвоем» (громадная сила — «вдвоем»).

Мы успели сделать по Тверской шагов десять, не меньше. И вот... Позади гул голосов, потом крик:

— Держи их, товарищи! Утякнут, сволочи!

Брань, крики и топот тяжелых сапог.

Останавливаемся и резко оборачиваемся в сторону погони.

Опускаю руку в боковой карман и нащупываю револьвер. Быстро шепчу М-у: «Вы молчите. Говорить буду я». (Я знал, что говорить с ними он не сумеет.)

Первая минута была самой тяжелой. К чему готовиться? Ожидая, что солдаты набросятся на нас, я порешил, при первом нанесенном мне ударе, выстрелить в нанесшего удар, а потом — в себя.

Нас с воплями окружили.

— Что с ними разговаривать? Бей их, товарищи! — кричали напавшие сзади.

Передние, стоявшие вплотную к нам, кричали меньше и, очевидно, не совсем знали, что с нами делать. Необходимо было инициативу взять на себя. Чувство самосохранения помогло мне крепко овладеть собой. По предшествующему опыту (дисциплинарный суд, комитеты и пр.) я знал, что для достижения успеха необходимо непрерывно направлять внимание солдат в желательную для себя сторону.

— Что вы от нас хотите? — спрашиваю как могу спокойнее.

В ответ крики:

— Он еще спрашивает!
— Сорвал и спрашивать смеет!
— Что с ними св... разговаривать! Бей их! — напирают задние.

— Убить нас всегда успеете. Мы в вашей власти. Вас много — всю улицу запрудили — нас двое.

Слова мои действуют. Солдаты стихают. Пользуюсь этой передышкой и задаю толпе вопросы — лучший способ успокоить ее.

— Вас возмущает, что я сорвал воззвание. Но иначе я поступить не мог. Присягали вы Временному правительству?

— Ну и присягали! Мы и царю присягали!

— Царь отрекся от престола и этим снял с вас присягу. Отрекось Временное правительство от власти?

Последние слова приняты совсем неожиданно.

— А! Царя вспомнил! Про царя заговорил! Вот они кто! Царя захотели!

И опять дружный вопль:

— Бей их!

Но первая минута прошла. Теперь, несмотря на вопли, стало легче. То, что сразу на нас не набросились, давало надежду. Главное — оттянуть время. Покрывая их голоса, кричу:

— Если вы не признаете власти Временного правительства, какую же вы власть признаете?

— Известно какую! Не вашу — офицерскую! Советы — вот наша власть!

— Если Совет признаете — идемте в Совет! Пусть там нас рассудят, кто прав, кто виноват.

На генерал-губернаторский дом я рассчитывал как на возможность бегства. Я знал приблизительное расположение комнат, ибо ранее приходилось несколько раз быть там начальником караула.

К этому времени вокруг нас образовалась большая толпа. Я заметил при этом, что вновь прибывающие были гораздо свирепее других настроены.

— Итак, коли вы Советы признали — идем в Совет. А здесь на улице нам делать нечего.

Я сделал верный ход. Толпа загалдела. Одни кричали, что с нами нужно здесь же покончить, другие стояли за расправу в Совете, остальные просто бранились.

— Долго мы здесь стоять будем? Или своего Совета боитесь?

— Чего ты нас Советом пугаешь? Думаете, вашего брата там по головке погладят? Как бы не так! Там вам и кончание придет. Ведем их, товарищи, взаправду в Совет! До него тут рукой подать.

Самое трудное было сделано.

— В Совет так в Совет!

Мы первые двинулись по направлению к Скобелевской площади. За нами — гудящая толпа солдат.

* * *

Начинались сумерки. Народу на улицах было много.

На шум толпы выбежали из кафе, магазинов и домов. Для Москвы, до сего времени настроенной мирно, вид возбужденной, гудящей толпы, ведущей двух офицеров, был необычен.

Никогда не забуду взглядов, бросаемых нам вслед прохожими, и особенно женщинами. На нас смотрели как на обреченных. Тут было и любопытство, и жалость, и бессильное желание нам помочь. Все глаза были обращены на нас, но ни одного слова, ни одного движения в нашу защиту.

Правда, один неожиданно за нас вступился. С виду приказчик или парикмахер — маленький тщедушный человечек в запыленном котелке. Он забежал вперед, минуту шел с толпой и вдруг, волнуясь и заикаясь, заговорил:

— Куда вы их ведете, товарищи? Что они вам сделали? Посмотрите на них. Совсем молодые люди. Мальчишки. Если и сделали что, то по глупости. Пожалейте их. Отпустите!

— Это еще что за защитник явился? Тебе чего здесь нужно? Мать твою так и так — видно, жить тебе надоело! А ну, пойдем с нами!

Котелок сразу осел и замахал испуганно руками.

— Что вы, товарищи? Я разве что сказал? Я ничего не говорю. Вам лучше знать...

И он, нырнув в толпу, скрылся.

Неподалеку от Совета я чуть было окончательно не погубил дела. Я увидел в порядке идущую по Тверской полуроту нашего полка под командой молоденького прапорщика, лишь недавно прибывшего из училища. Меня окрылила на-

дежда. Когда голова отряда поравнялась с нами, я, быстро сойдя с тротуара, остановил его (это был наряд, возвращающийся с какого-то дежурства). Перепуганный прапорщик, ведший роту, смотрел на меня с ужасом, не понимая моих намерений. Но нельзя было терять времени. Толпа, увидав стройные ряды солдат, стихла.

Я обратился к полуроте.

— Праздношатающиеся по улицам солдаты, в то время как вы исполняли свой долг, неся наряд, задержали двоих ваших офицеров. Считаете ли вы их вправе задерживать нас?

— Нет! Нет! — единодушный и дружный ответ.

— Для чего же у нас тогда комитеты и дисциплинарные суды, избранные вами?

— Правильно! Правильно!

Я совершил непоправимую ошибку. Мне нужно было сейчас же повести под своей командой солдат в казармы. Нас, конечно, никто не посмел бы тронуть. Вместо этого я проговорил еще не менее двух минут. Опомнившаяся от неожиданности толпа начала просачиваться в ряды роты. Снова раздались враждебные нам голоса.

— Вы их не слушайте, товарищи! Неужто против своих пойдете?

— Они тут на всю улицу царя вспоминали!

— А мы их в Совет ведем. Там дело разберут!

— Наш Совет — солдатский! Или Совету не доверяете?

Время было упущено. Кто-то из роты заговорил уже по-новому:

— А и правда, братцы! Коли ведут, значит, за дело ведут. Нам нечего мешаться. В Совете, там разберут!

— Правильно! — так же дружно, как мне, ответили солдаты.

Говорить с ними было бесполезно. Передо мною была уже не рота, а толпа. Наши солдаты стояли вперемешку с чужими. Во мне поднялась злоба, победившая и страх и волнение.

— Запомните, что вы своих офицеров предали! Идем в Совет!

До Совета было рукой подать, что не дало возможности сызнова разъярившейся толпе с нами расправиться.

Скобелевская площадь оцеплена солдатами. Первые красные войска Москвы. Узнаю автомобилистов.

— Кто такие? Куда идете?

— Арестованных офицеров ведем. Про царя говорили. Объявления советские срывали.

— Чего же привели эту с...? Прикончить нужно было. Если всех собирать, то и места для них не хватит! Кто же проведет их в Совет? Не всей же толпой идти!

Отделяется человек пять-шесть. Узнаю среди них тех, что нас первыми задержали. Ведут через площадь, осыпая неистовой бранью. Толпа остается на Тверской. Я облегченно вздыхаю — от толпы отделались.

Подымаемся по знакомой лестнице генерал-губернаторского дома. Провожатым — кто-то из местных.

Проходим ряд комнат. Мирная канцелярская обстановка. Столы, заваленные бумагами. Барышни, неистово выстукивающие на машинках, спующие молодые люди с папками. Нас провожают удивленными взглядами.

У меня снова появляется надежда на счастливый исход. Чересчур здесь мирно.

Дверь с надписью: «Дежурный член И.К.*».

Входим. Почти пустая комната. С потолка свешивается старинная хрустальная люстра. За единственным столом сидит солдат — что-то пишет.

Подымает голову. Лицо интеллигентное, мягкое. Удивленно смотрит на нас.

— В чем дело?

— Мы, товарищ, к вам арестованных офицеров привели. Ваши объявления срывали. Про царя говорили. А дорогой, как вели, сопротивление оказали — бежать хотели.

— Пустили в ход оружие? — хмурится член И.К.

— Никак нет. Роту свою встретили, уговаривали освободить их.

— Та-а-акс, — тянет солдат. — Ну, вот что — я сейчас сниму с вас показания, а господа офицеры (!!!) свои сами напишут.

Он подал нам лист бумаги.

— Пусть напишет один из вас, а подпишутся оба.

* Исполнительного Комитета. — Примеч. авт.

Нагибаюсь к М. и шепчу:

— Боюсь верить, но, кажется, спасены!

Быстро заполняю лист и слушаю, какую ахинею несут про нас солдаты. Оказывается, кроме сорванного объявления за нами числится: монархическая агитация, возглас — «мы и ваше Учредительное собрание сорвем, как этот листок», призыв к встретившейся роте выступить против Совета.

Член И.К. все старательно заносит на бумагу. Опрос окончен.

— Благодарю вас, товарищи, за исполнение вашего революционного долга, — обращается к солдатам член комитета. — Вы можете идти. Когда нужно будет, мы вас вызовем.

Солдаты мнутя.

— Как же так, товарищ. Вели мы их, вели и даже не знаем, как вы их накажете.

— Будет суд — вас вызовут, тогда узнаете. А теперь идите. И без вас много дела.

Солдаты, разочарованные, уходят.

— Что же мне теперь с вами делать? — обращается к нам с улыбкой член комитета по прочтении моего показания. — Скажу вам правду. Я не вижу в вашем проступке причин к аресту. Мы еще не победители, а потому не являемся носителями власти. Борьба еще впереди. Я сам недавно, подобно вам, срывал возвания Корнилова. Сейчас вы срывали наши. Но, — он с минутку помолчал, — у нас есть исполнительный орган — «семерка», которая настроена далеко не так, как я. И если вы попадете в ее руки — вам уже отсюда не выбраться.

Я не верил ушам своим.

— Что же вы собираетесь с нами делать? — спрашиваю.

— Что делать? Да попытаюсь вас выпустить.

У меня мелькнула мысль, не провоцирует ли он. Если нас выпустят — на улице мы неминуемо будем узнаны и, на этот раз, неминуемо растерзаны.

— Лучше арестуйте нас, а на верный самосуд мы не выйдем.

Он задумывается.

— Да, вы правы. Вам одним выходить нельзя. Но мы это устроим — я вас провожу до трамвая.

В это время открывается дверь, и в комнату входит солдат сомнительной внешности. Осмотрев нас с головы до ног, он обращается к члену комитета.

— Товарищ, это арестованные офицеры?

— Да.

— Не забудьте про постановление «семерки» — всех арестованных направлять к ней.

— Знаю, знаю. Я только сниму с них допрос наверху. Идемте.

Мы поднялись по темной, крутой лестнице. Входим в большую комнату с длинным столом, за которым заседают человек двадцать штатских, военных и женщин. На нас никто не обращает внимания. Наш провожатый подходит к одному из сидящих и что-то шепчет ему на ухо. Тот, оглядывая нас, кивает головой. До меня долетает фраза произносящего речь лохматого человека в пенсне:

«Товарищи, я предупреждал вас, что С.-Р.* нас подведут. Вот телеграмма. Они предают нас...»

Возвращается наш спутник. Проходим в следующую комнату. Там на кожаном диване сидят трое: подпоручик, ни разу не поднявший на нас глаз, еврей — военный врач, и бессловесный молодой рабочий.

Член комитета рассказывает о нашем задержании и своем желании нас выпустить. Возражений нет. Мне кажется, что на нас посматривают с большим смущением.

Но опять испытание. В комнату быстро входит солдат, напоминавший о постановлении «семерки».

— Что же это вы задержанных офицеров вниз не ведете? «Семерка» ждет.

— Надоели вы со своей «семеркой»!

— Вы подрываете дисциплину!

— Никакой дисциплины я не подрываю. У меня у самого голова на плечах есть. Задерживать офицеров за то, что они сорвали наше воззвание, — идиотизм. Тогда придется всех офицеров Москвы задержать.

Представитель «семерки» свирепо смотрит в нашу сторону.

— Можно быть Александрами Македонскими, но зачем же наши воззвания срывать?

Я не могу удержать улыбки.

Еще минут пять солдата уговаривают еврей-доктор, рабочий и член комитета. Наконец он, махнув рукой и хлопнув дверью, выходит:

— Делайте как знаете!

* Социалисты-революционеры (эсеры). — *Примеч. авт.*

* * *

Опять идем коридорами и лестницами — впереди член комитета, позади — я с М. Думали выйти черным ходом — запрето. Нужно идти через вестибюль.

При нашем появлении солдаты на площади гудом:

- Арестованных ведут!
- Куда ведете, товарищ?
- На допрос — в комитет, а оттуда в Бутырки.
- Так их, таких-сяких!
- Попили нашей кровушки. Как бы только не удрали!
- Не удерут!

Мы идем мимо тверской гауптвахты к трамваю. На остановке прощаемся с нашим провожатым.

— Благодарите Бога, что все так кончилось, — говорит он нам. — Но я вас буду просить об одном: не срывайте наших объявлений. Этим вы ничего, кроме дурного, не достигнете. Воззваний у нас хватит. А офицерам вы сегодня очень повредили. Солдаты, что вас задержали, теперь ищут случая, чтобы придрататься к кому-нибудь из носящих золотые погоны.

Приближался трамвай. Я пожал его руку.

— Мне трудно благодарить вас, — проговорил я торопливо. — Если бы все большевики были такими, — словом... Мне хотелось бы когда-нибудь помочь вам в той же мере. Назовите мне вашу фамилию.

Он назвал, и мы расстались.

* * *

В трамвае то же, что сегодня утром. Тишина. Будничные лица.

Во все время нашей истории я старался не смотреть на М. Тут впервые посмотрел ему прямо в глаза. Он покраснел, улыбнулся и вдруг рассмеялся. Смеется и остановиться не может. Начинаю смеяться и я. Сквозь смех М. мне шепчет:

— Посмотрите, вокруг дураки и дуры, которые ничего не чувствуют, ничего не понимают.

И новый взрыв смеха, подхваченный мною. Кондуктор нерешительно, очевидно принимая нас за пьяных, просит взять билет...

Дома я нахожу ожидающего меня артиллериста Г., моего друга детства.

— С., наконец-то! — встречает он меня радостно. — А я тебя по всему городу ищу! Идем скорее в Александровское училище — там собрание Совета офицерских депутатов. Необходимо присутствовать. Вокруг Александровского училища сейчас организуются все силы против большевиков.

За ужином рассказываю сестре и Г. о происшедшем со мною и тут только осознаю, что меня даже не обезоружили — шашка и револьвер налицо.

После ужина бежим с Г. в Александровское училище.

В одной из учебных комнат находим заседающий Совет. Лица утомленные и настроение подавленное. Оказывается, заседают уже несколько часов — и пока что тщетно. Один за другим вяло выступают ораторы — и правые, и левые, и центр. И те и другие призывают к осторожности. Сообщаю о виденном мною в Совете и предлагаю действовать как можно решительнее, так как большевики открыто и лихорадочно готовятся к восстанию.

Говорим до глубокой ночи и решаем на следующий день с утра созвать собрание офицеров Московского гарнизона. Каждый депутат должен сообщить в свою часть о предстоящем собрании. На этом мы расходимся.

Полночи я стою у телефона, звоня всюду, куда можно, чтобы разнести весть о собрании как можно шире. От числа собравшихся будет зависеть наш успех. Нам нужна живая сила.

С утра 27-го бегодня по городу. Захожу в Офицерское экономическое общество, через которое ежедневно проходят тысячи офицеров, и у всех касс вывешиваю плакаты:

«Сегодня собрание офицеров Московского гарнизона в Александровском училище в 3 ч. Все гг. офицеры обязаны присутствовать.

СОВЕТ ОФИЦЕРСКИХ ДЕПУТАТОВ».

Меня мгновенно обступают и забрасывают вопросами. Рассказываю, что знаю о положении дел, и прошу оповестить всех знакомых офицеров о собрании.

— Непременно придем. Это прекрасно, что мы будем собраны в кулак — все вместе. Мы — единственные, кто сможет дать отпор большевикам.

— Не опаздывайте, господа. Через два часа начало.

Весть о гарнизонном собрании молниеносно разносится по городу. Ко мне несколько раз на улице подходили незнакомые офицеры со словами:

— Торопитесь в Александровское училище. Там наше собрание.

Когда я вернулся в училище, старинный актов зал был уже полон офицерами. Непрерывно прибывают новые. Бросаются в глаза раненые, собравшиеся из бесчисленных московских лазаретов на костылях, с палками, с подвязанными руками, с забинтованными головами. Офицеры местных запасных полков в меньшинстве.

Незабываемое собрание было открыто президиумом Совета офицерских депутатов. Не помню, кто председательствовал, помню лишь, что собрание велось беспорядочно и много времени было потеряно даром.

С самого начала перед собравшимися во всей грандиозности предстала картина происходящего.

После сообщения представителями Совета о предпринятых мерах к объединению офицерства воедино и доклада о поведении командующего войсками — воздух в актовом зале накаляется.

Крики:

— Вызвать командующего! Он обязан быть на нашем собрании! Если он изменник, от него нужно поскорее избавиться!

Беспомощно трезвонит председательский колокольчик. Шум растет. Кто-то объявляет, что побежали звонить командующему. Это успокаивает, и постепенно шум стихает.

Один за другим выступают представители полков. Все говорят о своих полках одно и то же: рассчитывать на полк как на силу, которую можно двинуть против большевиков, нельзя. Но в то же время считаться с полком как ставшим на сторону

большевиков тоже не следует. Солдаты без офицеров и помышляющие лишь о скорейшем возвращении домой в бой не пойдут.

Возвращается пытавшийся сговориться с командующим по телефону. Оказывается, командующего нет дома.

Опять взрыв негодования. Крики:

— Нам нужен новый командующий! Долой изменника!

На трибуне кто-то из старших призывает к лояльности. Напоминает о воинской дисциплине.

— Сменив командующего, мы совершим тягчайшее преступление и ничем не будем отличаться от большевиков. Предлагаю, ввиду отсутствия командующего, просить его помощника взять на себя командование округом.

В это время какой-то взволнованный летчик просит вне очереди слова.

— Господа, на Ходынском поле стоят ангары. Если сейчас же туда не будут посланы силы для охраны их, они очутятся во власти большевиков. Часть летчиков-офицеров уже арестована.

Не успевает с трибуны сойти летчик, как его место занимает артиллерист.

— Если мы будем медлить, вся артиллерия — сотни пушек — окажется в руках большевиков. Да, собственно, и сейчас уже пушки в руках солдат.

Кончает артиллерист — поднимается председатель:

— Господа! Только что вырвавшийся из Петрограда юнкер Михайловского училища просит слова вне очереди.

— Просим! Просим!

Выходит юнкер. Он от волнения не сразу может говорить. Наступает глубочайшая тишина.

— Господа офицеры! — голос его прерывается. — Я прямо с поезда. Я послан, чтобы предупредить вас и московских юнкеров о том, что творится в Петрограде. Сотни юнкеров растерзаны большевиками. На улицах валяются изуродованные тела офицеров, кадетов, сестер, юнкеров. Бойня идет и сейчас. Женский батальон в Зимнем дворце, женский батальон... — Юнкер глотает воздух, хочет сказать, но только движет губами. Хватается за голову и сбегает с трибуны.

Несколько мгновений тишины. Чей-то выкрик:

— Довольно болтовни! Всем за оружие! — подхватывается ревом собравшихся.

— За оружие! В бой! Не терять ни минуты!

Председатель машет руками, трезвонит, что-то кричит — его не слышно.

Неподалеку от меня сидит одноногий офицер. Он стучит костылями и кричит:

— Позор! Позор!

На трибуну, минуя председателя, всходит полковник Генштаба. Небольшого роста, с быстрыми решительными движениями, лицо прорезано несколькими прямыми глубокими морщинами, острые стрелки усов, эспаньолка, горящие холодным огоньком глаза под туго сдвинутыми бровями. С минуту молчит. Потом, покрывая шум, властно:

— Если передо мною стадо — я уйду. Если офицеры — я прошу меня выслушать!

Все стихает.

— Господа офицеры! Говорить больше не о чем. Все ясно. Мы окружены предательством. Уже льется кровь мальчиков и женщин. Я слышал сейчас крики: в бой! за оружие! — Это единственный ответ, который может быть. И так, за оружие! Но необходимо это оружие достать. Кроме того, необходимо сплотиться в военную силу. Нужен начальник, которому мы бы все беспрекословно подчинились. Командующий — изменник! Я предлагаю тут же, не теряя времени, выбрать начальника. Всем присутствующим построиться в роты, разобрать винтовки и начать боевую работу. Сегодня я должен был возвращаться на фронт. Я не поеду, ибо судьба войны и судьба России решается здесь — в Москве. Я кончил. Предлагаю приступить немедленно к выбору начальника!

Громовые аплодисменты. Крики:

— Как ваша фамилия?

Ответ:

— Я полковник Дорофеев.

Председателю ничего не остается, как приступить к выборам. Выставляется несколько кандидатур. Выбирается почти единогласно никому не известный, но всех взявший — полковник Дорофеев.

— Господ офицеров, могущих держать оружие в руках, прошу построиться тут же, в зале поротно. В ротах по сто шты-

ков — думаю, будет довольно, — приказывает наш новый командующий.

Через полчаса уже кипит работа. Роты построены. Из цейхгауза Александровского училища приносятся длинные ящики с винтовками. Идет раздача винтовок, разбивка по взводам. Составляются списки. Я — правофланговый 1-й офицерской роты. Мой командир взвода — молодецкий шт<абс>-капитан, высокий, стройный, в лихо заломленной папахе. Он из лазарета, с незажившей раной на руке. Рука на перевязи. На груди белый крестик (командиры рот и взводов почти все были назначены из георгиевских кавалеров).

В наш взвод попадают несколько моих однополчан, и среди них прап<орщик> Б. (московский присяжный поверенный), громадный, здоровый, всегда веселый. Судьба нас соединила в 1-й офицерской роте, и много месяцев наши жизни шли рядом*.

Живущим неподалеку разрешается сходить домой, попрощаться с родными и закончить необходимые дела. Я живу рядом — на Поварской. Бегу проститься со своей трехлетней дочкой и сестрой. Прощаюсь и возвращаюсь.

Спускается вечер. Нам отвели половину спальни юнкеров. Когда наша рота, построенная рядами, идет, громко и отчетливо печатая, встречные юнкера лихо и восторженно отдают честь. Нужно видеть их горящие глаза!

Не успели мы распределить койки, как раздается команда:

— Первый взвод первой офицерской — становись!

Бегом строимся. Входит полк<овник> Дорофеев.

— Господа, поздравляю вас с открытием военных действий. Вашему взводу предстоит первое дело, которое необходимо выполнить как можно чище. Первое дело дает тон всей

* Пр. Б. убит в районе Орла, находясь в Корниловском полку. — *Примеч. авт.*

дальнейшей работе. Вам дается следующая задача: взвод отправляется на грузовике на Б.Дмитровку. Там находится гараж Земского союза, уже захваченный большевиками. Как можно тише, коротким ударом, вы берете гараж, заводите машины и, сколько сможете, приводите сюда. Вам придется ехать через Охотный ряд, занятый большевиками. Побольше выдержки, поменьше шума.

* * *

Мы выходим, провожаемые завистливыми взглядами юнкеров. У выходных дверей шумит заведенная машина. Через минуту медленно двигаемся, стоя плечо к плечу, по направлению к Охотному ряду...

Быстро спускаются сумерки. Огибаем Манеж и Университет и по вымершей Моховой продвигаемся к площади. Там сереет солдатская толпа. Все вооружены.

— Зарядить винтовки! Приготовиться!

Щелкают затворы.

Ближе, ближе, ближе... Кажется, что автомобиль тащится гусеницей. Подъезжаем вплотную к толпе. Расступаются. Образуется широкая дорожка. Жуткая тишина. Слово глухонемые. Слева остается Тверская, запруженная такой же толпой. Вот охотнорядская церковь (Параскевы-мученицы). Толпа редет и остается позади.

Будут стрелять вслед или не будут? Нет. Тихо. Не решились.

Сворачиваем на Дмитровку и у первого угла останавливаемся. На улице ни души. Выбираемся из грузовика, оставляем шофера и трех офицеров у машины, сами гуськом продвигаемся вдоль домов.

Совсем стемнело. Фонари не горят. Кое-где — освещенное окно. Гулко раздаются наши шаги. Кажется — вечность идем. Я, как правофланговый, иду тотчас за командиром взвода.

— Видите этот высокий дом? Там — гараж.

Мне почудилось: какая-то тень метнулась и скрылась в воротах.

За дом до гаража мы останавливаемся.

— Если ворота не заперты — мы врываемся. Без необходимости огня не открывать. Ну, с Богом!

Тихо подходим. Слышно, как во дворе стучит заведенная машина. Вот и ворота, раскрытые настежь.

— За мной!

Обгоняя друг друга, с винтовками наперевес, вбегаем в ворота. Тьма.

«Бах!» — пуля звонко ударяет в камень. Еще и еще. Три гулких выстрела. Потом тишина.

Осматриваем двор, окруженный со всех сторон небоскребами. Откуда стреляли?

Кто-то открывает ворота гаража. Яркий свет автомобильного фонаря. Часть бежит осматривать гараж, другая, возглавляемая взводным, отыскивать караульное помещение.

У одних дверей находим раненного в живот солдата. Он без сознания. Это тот, что стрелял в нас и получил меткую пулю в ответ.

— Говорил я, не стрелять без надобности! — кричит капитан.

В это время неожиданно распахивается дверь и показывается солдат с винтовкой. При виде нас столбенеет.

— Бросай винтовку!

Бросает.

— Где караул?

Молчит, потом, еле слышно:

— Не могу знать.

— Врешь. Если не скажешь — будешь валяться вот как этот.

Сдавленный шепот:

— На втором этаже, ваше высокоблагородие.

— Иди вперед, показывай дорогу. А вы, господа, оставайтесь здесь. С ними я один справлюсь.

Мы пробуем возражать — бесполезно. С наганом в руке капитан скрывается на темной лестнице.

Ждем. Минута, другая... Наконец-то! Топот тяжелых сапог, брань капитана. Из темноты выныривают два солдата с перекошенными от ужаса лицами, несут в охапках винтовки, за ними еще четыре, и позади всех — капитан со своим наганом.

— Заводить моторы. Скорей! Скорей! — торопит капитан.

Входим в гараж. Группа шоферов, окруженная нашими, смотрит на нас волками.

— Не можем везти. Машины испорчены, — говорит один из них решительно.

— Ах, так? — Капитан меняется в лице. — Пусть каждый подойдет к своему автомобилю!

Шоферы повинуются.

— Теперь знайте: если через минуту моторы не будут заведены — отвечаете мне жизнью. Прапорщик! Смотрите по часам.

Через минуту шесть машин затрещало.

— Нужно свезти раненого в лазарет. Вот вы двое — отправляйтесь с ним в лазарет Литературного кружка. Это рядом. Не спускайте глаз с шофера...

Возвращаемся с добычей (шесть автомобилей) обратно. На передних сиденьях шофер и пленные солдаты, сзади офицеры с наганами наготове. С треском проносимся по улицам. На Охотнинской площади при нашем приближении толпа шарахается в разные стороны.

Александровское училище. Нас восторженно встречают и поздравляют с успехом. Несемся назад, захватив с собой всех шоферов.

Подъезжая к Дмитровке, слышим беспорядочную ружейную стрельбу. Капитан волнуется:

— Дурак я! Оставил троих — перестреляют их как куропаток!

Еще до Дмитровки соскакиваем с автомобилем. Стреляют совсем близко — на Дмитровке. Ясно, что атакуют гараж. Выстраиваемся.

— Вдоль улицы пальба взводом! Взво-од... пли!

Залп.

— Взво-од... пли!

Второй залп. И... тишина. Невидимый противник обращен в бегство. Бежим к гаражу.

— Кто идет?! — окликают нас из ворот. Капитан называет себя.

— Слава богу! Без вас тут нам было совсем плохо пришлось. Меня в руку ранили.

Через несколько минут были доставлены в Александровское училище остальные автомобили. Мы отделались дешево. Один легко раненный в руку.

* * *

Я не запомнил московского восстания по дням. Эти пять-шесть дней слились у меня в один сплошной день и одну

сплошную ночь. И так, храня приблизительную последовательность событий, за дни не ручаюсь.

Кремль был сдан командующим войсками полковником Рябцовым в самом начале. Это дало возможность красногвардейцам воспользоваться кремлевским арсеналом. Оружие мгновенно рассосалось по всей Москве. Большое количество его попало в руки мальчишек и подростков. По опустевшим улицам и переулкам Москвы затрещали выстрелы. Стреляли всюду и отовсюду, и часто без всякой цели. Излюбленным местом для стрельбы были крыши и чердаки. Найти такого стрелка, даже если мы ясно обнаружили место, откуда стреляли, было почти невозможно. В то время как мы поднимались наверх — он бесследно скрывался.

В первый же день начала действий мы попытались приобрести артиллерию. Для этого был отправлен легкий отряд из взвода казаков и нескольких офицеров-артиллеристов в автомобиле через всю Москву на Ходынку. Отряд вернулся благополучно, забрав с собою два легких орудия и семьдесят снарядов. Никакого сопротивления оказано не было. Почему налет не был повторен, мне неизвестно.

Кроме того, в наших руках были два броневых автомобиля. Кажется, они еще раньше были при Александровском училище.

Утро. Пью чай в нашей столовой. Чай и хлеб разносят пришедшие откуда-то сестры милосердия, приветливые и ласковые.

Столовая — средоточие всех новостей, большей частью баснословных. Мне радостно сообщают «из достовернейших источников», что к нам идут, эшелон за эшелон, казаки с Дона. Нам необходимо поэтому продержаться не более трех дней.

Подходит приятель, артиллерист Г.

— Ты был в актовом зале? Нет? Иди скорей — смотри студентов!

— Каких студентов?

— Каких! Конечно, московских! Пришли записываться в роты. Бегу в Актный зал. Полно студенческих фуражек. Торопливо разбивают по ротам. Студенты конфузливо жмутся, переступая с ноги на ногу.

— Молодцы, коллеги! — восклицает кто-то из офицеров. — Я сам московский студент и горжусь вашим поступком.

В ответ застенчивые улыбки. Между студентами попадают и гимназисты. Некоторые — совсем дети, 12—13 лет.

— А вы тут что делаете? — спрашивают их со смехом.

— То же, что и вы! — обиженно отвечает розовый мальчик в сдвинутой на затылок гимназической фуражке.

* * *

Юнкерами взят Кремль. Серьезного сопротивления большевики не оказали. Взятием руководил командир моего полка, полковник Пекарский.

Ночью несем караул в Манеже. Посты расставлены частью по Никитской, частью в сторону Москвы-реки. Ночь темная. Стою, прижавшись к стене, и вонзаю взгляд в темноту. То здесь, то там гулко хлопают выстрелы.

Прислушиваюсь. Чьи-то крадущиеся шаги.

— Кто идет?

Молчание. Тихо. Может быть, померещилось? Нет — снова шаги, робкие, чуть слышные.

— Кто идет? Стрелять буду!

Щелкаю затвором.

— Ох, не стреляй, дружок. Это я!

— Отвечай кто, а то выстрелю.

— Спаси господи, страхи какие! Церковный сторож я, батюшка, от Власия, что в Гагаринском. Отпусти, Христа ради, душу на покаяние.

— Иди, иди, не бойся!

Тяжело дыша, подходит коренастый старик. В руках палка, на голове — шапка с ушами; борода.

— Куда идешь?

— Да к себе пробираюсь, батюшка. Который час иду. Еще засветло вышел, да вот до сих пор все канючусь. Страху набрался, на всю жизнь хватит. Два раза хватили, обыскивали. В Марьиной был, у сестры. Сестра моя захворала. Да вот — откуда беда свалилась. А ты кто, батюшка, будешь?

— Офицер я.

— Ах офицер? Ничего не пойму чтой-то! То фабричные, да страшные такие, а здесь вы, ваше благородие.

— Не скоро поймешь, старик. Теперь слушай. К Арбатским воротам выйдешь через Воздвиженку.

— Так, так.

— По Пречистенскому не ходи, там пули свистят. Подстрелят. Заверни в первый переулочек — переулками и пробирайся. Понял?

— Понял, ваше благородие. Как не понять! Спасибо на добром слове. Дай вам Бог здоровья. Последние дни пришли, ох господи! — И старик с причитаниями скрывается в темноте.

Опять вперяюху в темень. Где-то затрещал пулемет — та-та-та — и умолк. Из-за угла окликает подчасок:

— Как дела, С.Я.?

— Ничего. Темно больно.

Впереди черная дыра Никитской. Переулочки к Тверской заняты большевиками.

Вдруг в темноте вспыхивают два огонька. Почти одновременно: бах, бах... Со стороны Тверской забулькали пулеметы — один, другой. Где-то в переулочке грохот разорвавшейся гранаты.

Подчасок бежит предупредить караул. Со стороны Манежа равномерный топот шагов.

— Кто идет?

— Прапорщик Б. Веду подкрепление нашему авангарду, — смеется.

Пять рослых офицеров становятся за углом. Ждут... Стрельба стихает.

— Идите, С.Я., подремать в Манеж. Мы постоим.

Через минуту, подняв воротник, дремлю, прижавшись к шершавому плечу соседа.

Наши торопливо строятся.

— Куда идем?

— На телефонную станцию.

Опять грузовик. Опять — плечо к плечу. Впереди — наш разведывательный «Форд», позади — небольшой автомобиль с пулеметом.

Охотный. Влево — пустая Тверская. Но мы знаем, что все дома и крыши заняты большевиками. Вправо, в воротах, за углами — жмутся юнкера, по два, по три — наши передовые дозоры.

На Театральной площади из «Метрополя» юнкера кричат:

— Ни пуха ни пера!

Едем дальше.

Вот и Лубянская площадь. На углу сгружаемся, рассыпаемся в цепь и начинаем продвигаться по направлению к Мясницкой. Противника не видно. Но, невидимый, он обстреливает нас с крыш, из чердачных окон и черт знает еще откуда. Сухо и гадко хлопают пули по штукатурке и камню. Один падает. Другой, согнувшись, бежит за угол к автомобилям. На фланге трещит наш «максим», обстреливающий вход на Мясницкую.

Стрельба тише... Стихает.

До нас, верно, здесь была жестокая стычка. За углом Мясницкой, на спине, с разбитой головой — тело прапорщика. Под головой — невысохшая лужа черной крови. Немного поодаль, ничком, уткнувшись лицом в мостовую, — солдат.

Часть офицеров идет к телефонной станции, сворачивая в Милютинский пер<еулок> (там отсиживаются юнкера), я с остальными продвигаюсь по Мясницкой. Устанавливаем пулемет. Мы знаем, что в почтамте засели солдаты 56 полка (мой полк). У почтамта чернеет толпа.

— Разойтись! Стрелять будем!

— Мы мирные! Не стреляйте!

— Мирным нужно по домам сидеть!

Но верно, действительно мирные — винтовок не видно.

* * *

Долго чего-то ждем. У меня после двух бессонных ночей глаза слипаются. Сажусь на приступенке у дверей какого-то банка и мгновенно засыпаю. Кто-то осторожно теревит за плечо. Открываю глаза — передо мною бородатое лицо швейцара.

— Г<оспо>дин офицер, не погнушайтесь зайти к нам чайку откусать. Видно, умаялись. Чаек-то подкрепит.

Благодарю бородача и захожу с ним в банк. Забегая вперед, ведет меня в свою комнату. Крошечная каморка вся увешана картинами. В центре — портрет государя с наследником.

Суетливая сухонькая женщина, верно жена, приносит сияющий пузатый самовар.

— Милости просим, пожалуйста, садитесь. Господи, и лица-то на вас нет! Должно, страсть как замаялись. Вот вам стаканчик. Сахару, не взыщите, мало. И хлеба, простите, нет. Вот баранки. Баранок-то, слава богу, закупили, жена догадалась, и жуем понемногу.

Жена швейцара молчит, лишь сокрушенно вздыхает, подперев щеку ладонью.

Обжигаясь, залпом выпиваю чай. Благодарю, прощаюсь. Швейцариха сует мне вязанку баранок:

— Своих товарищей угостите. Если время есть — пусть зайдут к нам обогреться, отдохнуть да чаю попить.

* * *

Прижимаясь к домам и поминутно оглядываясь, крадется барышня.

— Скажите, пожалуйста, мне можно пройти в Милютинский переулочек? Я телефонистка и иду на смену.

— Не только можно — должно! Нам необходимо, чтобы телефон работал.

Барышня делает несколько шагов, но вдруг останавливается, дико вскрикивает и, припав к стене, громко плачет. Увидела тело прапорщика.

Подхватываем ее под руки и ведем, задыхающуюся от слез, на станцию.

* * *

Дорога обратно. У Большого Театра — кучка народа, просто любопытствующие. При нашем проезде кричат нам что-то, машут платками, шапками. Свои.

* * *

Останавливает юнкерский пост.

— Берегитесь Тверской! Оба угловых дома — Национальной гостиницы и городского самоуправления — заняты красногвардейцами. Не дадут ни пройти, ни проехать. Всех берут под перекрестный огонь.

— Ничего. Авось да небось — проедем!

Впереди несется «Форд». Провожаем его глазами. Проскочил. Ни одного выстрела. Пополз и наш грузовик. Равняемся с Тверской. И вдруг... Тах, тах, та-та-тах! Справа, слева, сверху... По противоположной стене защелкали пули. Сжатые в грузовике, мы не можем даже отвечать.

Моховая. Университет. Мы в безопасности.

— Кто ранен? — спрашивает капитан.

Оглядываем друг друга. Все целы.

— Наше счастье, что они такие стрелки, — цедит сквозь зубы капитан.

Но с нашим пулеметным автомобилем — дело хуже. Его подстрелили. Те пять офицеров, что в нем сидели, выпрыгнув и укрывшись за автомобиль, отстреливаются.

Нужно идти выручать. Тянемся гуськом вдоль домов. Обстреливаем окна Национальной гостиницы. Там попрятались и умолкли. Бросив автомобиль, возвращаемся с пулеметом и двумя ранеными пулеметчиками.

* * *

Наконец-то появился командующий войсками, полковник Рябцов.

В небольшой комнате Александровского училища, окруженный тесным кольцом возбужденных офицеров, сидит грузный полковник в расстегнутой шинели. Верно, и раздеться ему не дали, обступили. Лицо бледное, опухшее, как от бессонной ночи. Небольшая борода, усы вниз. Весь он рыхлый, и лицо рыхлое — немного бабье.

Вопросы сыплются один за другим и один другого резче.

— Позвольте узнать, *господи* полковник, как назвать поведение командующего, который в эту страшную для Москвы минуту скрывается от своих подчиненных и бросает на произвол судьбы весь округ?

Рябцов отвечает спокойно, даже как будто бы сонно.

— Командующий ни от кого не скрывался. Я не сплю не помню которую ночь. Я все время на ногах. Ничего нет удивительного, что меня не застают в моем кабинете. Необходимость самому непосредственно следить за происходящим вынуждает меня постоянно находиться в движении.

— Чрезвычайно любопытное поведение. Наблюдать — дело хорошее. Разрешите все же узнать, г<осподи>н полковник, что нам, вашим подчиненным, делать? Или тоже наблюдать прикажете?

— Если мне вопросы будут задаваться в подобном тоне, я отвечать не буду, — говорит все так же сонно Рябцов.

— В каком тоне прикажете с вами говорить, г<осподи>н полковник, после сдачи Кремля с арсеналом большевикам?

Чувствую, как бешено натянута струна — вот-вот оборвется. Десятки горящих глаз впелись в полковника. Он сидит опустив глаза, с лицом словно маска — ни одна черта не дрогнет.

— Я сдал Кремль, ибо считал нужным его сдать. Вы хотите знать, почему? Потому что всякое сопротивление полагаю бесполезным кровопролитием. С нашими силами, пожалуй, можно было бы разбить большевиков. Но нашу кровавую победу мы праздновали бы очень недолго. Через несколько дней нас все равно смели бы. Теперь об этом говорить поздно. Помимо меня — кровь уже льется.

— А не полагаете ли вы, г<осподи>н полковник, что в некоторых случаях долг нам предписывает скорее принять смерть, чем подчиниться бесчестному врагу? — раздается все тот же сдавленный гневом голос.

— Вы движимы чувством — я руководствуюсь рассудком.

Мгновение тишины, которая прерывается исступленным криком офицера с искаженным от бешенства лицом.

— Предатель! Изменник! Пустите меня! Я пушу ему пулю в лоб!

Он старается прорваться вперед с револьвером в руке.

Лицо Рябцова передергивается.

— Что ж, стреляйте! Смерти ли нам с вами бояться?

Офицера хватают за руки и выводят из комнаты. Следом выхожу и я.

* * *

В Москве образовался какой-то комитет, не то «Общественного Спасения», не то «Общественного Спокойствия». Он заседает в Думе под председательством городского головы Руднева и объединяет собой целый ряд общественных организа-

ций. К нам, как говорят, относится с некоторым недоверием, если не боязнью. Мне передавали — боятся контрреволюции. Сами же выносят резолюции с выражением протеста — всем, всем, всем.

В училище часто заходят молодые люди с эсеровскими листовками. Из этих листовок мы узнаем невероятные и бодрящие вести:

«Петропавловская крепость взята обратно верными Временному правительству войсками».

«С юга продвигаются казачьи части для поддержки юнкеров».

«С запада идут с этой же целью ударные батальоны». И т.д., и т.д.

Эти известия, как очень желательные, встречаются полным доверием, а часто и криками «ура». (Увы, потом оказалось, что все это делалось лишь с целью поднять наш дух и вселить неуверенность среди восставших.)

* * *

С каждым часом становится труднее. Все на ногах почти бесменно. Не успеваешь приехать после какого-либо дела, наскоро поесть, как снова раздается команда:

— Становись!

Нас бросают то к Москве-реке, то на Пречистенку, то к Никитской, то к Театральной, и так без конца. В ушах звенит от постоянных выстрелов (на улицах выстрелы куда оглушительнее, чем в поле).

Большевики ловко просачиваются в крепко занятые нами районы. Сегодня сняли двух солдат, стрелявших с крыши Офицерского о<бщест>ва, а оно находится в центре нашего расположения.

Продвигаться вперед без артиллерии нет возможности. Пришлось бы штурмовать дом за домом.

Прекрасно скрытые за стенами, большевики обсыпают нас из окон свинцом и гранатами. Время упущено. В первый день, поведи мы решительно наступление, Москва бы осталась за нами.

А наша артиллерия... Две пушки на Арбатской площади, направленные в сторону Страстной и выпускающие по десяти снарядов в день.

* * *

У меня от усталости и бессонных ночей опухли ноги. Пришлось распороть сапоги. Нашел чьи-то калоши и теперь шлепаю в них, поминутно теряя то одну, то другую.

* * *

Большевики начали обстрел из пушек. Сначала снаряды рвались лишь на Арбатской площади и по бульварам, потом, очень вскоре, и по всему нашему району. Обстреливают и Кремль. Сердце сжимается смотреть, как над Кремлем разрываются шрапнели.

Стреляют со Страстной площади, с Кудрина и откуда-то из-за Москвы-реки — тяжелыми (6-д<юймовыми>).

Александровское училище, окруженное со всех сторон небоскребами, для гранат недосягаемо. Зато шрапнели непрерывно разрываются над крышей и над окнами верхнего этажа, в котором расположены наши роты. Большая часть стекол перебита.

* * *

Каково общее самочувствие, лучше всего наблюдать за обедом или за чаем, когда все вместе: юнкера, офицеры, студенты и добровольцы-дети.

Сижу, обедаю. Против меня капитан-пулеметчик с перевязанной головой, рядом с ним — гимназист лет двенадцати.

— Ешь, Володя, больше. А то опять проголодаешься, начнешь просить есть ночью.

— Не попрошу. Я с собой в карман хлеба заберу, — деловито отвечает мальчик, добирая с тарелки гречневую кашу.

— Каков мой второй номер, — обращается ко мне капитан, — не правда ли, молодец? Задержки научился устранять, а хладнокровие и выдержка — нам, взрослым, поучиться. Я его с собою в полк заберу. Поедешь со мною на фронт?

Мнется.

— Ну?

— Из гимназии выгонят.

— А как же ты к нам в Александровское удрал? Даже маме ничего не сказал. За это из гимназии не выгонят?

— Не выгонят. Здесь совсем другое дело. Ведь сами знаете, что совсем другое...

Лохматый студент в шинели нараспашку кричит другому, тщедушному, сутулому, с лупами на носу.

— Вася, слышал новость?

— Нет. Что такое?

— Ударники к Разумовскому подходят. Сейчас оттуда пробрался один петровец — сам его видел. Говорит, стрельба уже слышна, совсем рядом.

— Врет. Не верю. А впрочем, дай бог. Скоро ты? Взводный ругаться будет.

— Вы где, коллега, стоите? — спрашиваю у лохматого.

— В доме градоначальника. Проклятое место...

В столовую входит стройная прапорщица, с перевязанной рукой. Кто-то окликает:

— Оля, вы ранены?

— Да, пустяки. Чуть задело. И не больно совсем. — На лице сдержанная улыбка гордости.

* * *

Ко мне подходит прапорщик Гольцев* — мой однокашник и однополчанин. Подсаживается, рассказывает.

— Вот вчера мы в грязную историю попали, С.Я.! Получаем приказание с корнетом Дуровым** засесть на Никитской в Консерватории. А там какой-то госпиталь. Дело было уже вечером. Подымаемся наверх, а солдаты, бывшие раненые, теперь здоровые и разъевшиеся от безделия, — зверьми на нас смотрят. Поднялись мы на самый верх, вдруг — сюрприз: электричество во всем доме тухнет. И вот в темноте крики: «Бей, товарищи, их!» Это нас то есть. Тьма кромешная, ни зги не видать. Оказывается, негодяи нарочно электричество испортили. В темноте думали с нами справиться. Ошиблись. Темнота-то нам и помогла. Корнет Дуров выстрелил в потолок и кричит: «Кто ко мне подойдет, убью как собаку!» Они, как тараканы, разбежались. Друг от друга шарахаются. Подумай только — какое стадо! Два часа с ними в темноте просидели, пока нас не сменили.

* Ученик студии Вахтангова, Гольцев, убит в бою под Екатеринодаром (1918 г.). — *Примеч. авт.*

** Смертельно ранен на Поварской в живот. — *Примеч. авт.*

Ни одной фразы, ни одного слова, указывающего на понижение настроения или веры в успех. Утомление, правда, чувствуется. Сплошь и рядом можно видеть сидя заснувшего юнкера или офицера. И не удивительно — спим только урывками.

Опять выстраиваемся. Наш взвод идет к ген. Брусилову с письмом, приглашающим его принять командование всеми нашими силами. Брусилов живет в Мансуровском переулке, на Пречистенке.

Выходим на Арбатскую площадь. Грустно стоят наши две пушки, почти совсем замолкшие. Почти все окна — без стекол. Здесь и там вместо стекол — одеяла.

Москва гудит от канонады. То и дело над головой шелестит снаряд. Кое-где в стенах зияют бреши раненых домов. Но... жизнь и страх побеждает. У булочных Филиппова и Севастьянова толпятся кухарки и дворники с кошелками. При каждом разрыве или свисте снаряда кухарки крестятся, некоторые приседают.

Сворачиваем на Пречистенский бульвар и тянемся гуськом вдоль домов. С поворота к храму Христа Спасителя обстановка меняется. Откуда-то нас обстреливают. Но откуда? Впечатление такое, что из занятых нами кварталов. Над штабом Московского округа непрерывно разрываются шрапнели.

Идем по Сивцеву Вражку. Ни единого прохожего. Изредка — дозоры юнкеров. И здесь то и дело по стенам щелкают пули. Стреляют, видно, с дальних чердаков.

На углу Власьевского из высокого белого дома выходят несколько барышень с подносами, полными всякой снедью.

- Пожалуйста, господа, покушайте!
- Что вы, уходите скорее! До еды ли тут?

Но у барышень так разочарованно вытягиваются лица, что мы не можем отказаться. Нас угощают кашей с маслом, бутербродами и даже конфетами. Напоследок раздадут папиросы.

Мы дружно благодарим.

— Не нас благодарите, а весь дом З. Мы самообложились и никого из вас не пропускаем, не накормив.

Над головой прошелестел снаряд.

— Идите скорее домой!

— Что вы! Мы привыкли.

Прощаемся с барышнями и двигаемся дальше.

Пречистенка. Бухают снаряды. Чаше щелкают пули по домам. Заходим в какой-то двор и ждем, чем кончатся переговоры с Брусиловым. Все уверены, что он станет во главе нас.

Ждем довольно долго — около часу. И здесь, как из дома 3., нам выносят еду. Несмотря на сытость, едим, чтобы не обидеть.

Наконец возвращаются от Бруилова.

— Ну что, как?

— Отказался по болезни.

Тяжелое молчание в ответ.

* * *

Мне шепотом передают, что патроны на исходе. И все передают эту новость шепотом, хотя и до этого было ясно, что патроны кончаются. Их начали выдавать по десяти на каждого в сутки. Наши пулеметы начинают затихать. Противник же обнаглел как никогда. Нет, кажется, чердака, с которого бы нас не обстреливали. Училищный лазарет уже не может вместить раненых. Окрестные лазареты также начинают заполняться.

* * *

После перестрелки у Никитских ворот вернулся в училище в последней усталости. Голова не просто болит, а разрывается. Иду в спальню. За три койки от моей группа офицеров рассматривает ручную гранату. Ложусь отдохнуть. Перед сном закуриваю папиросу.

Вдруг рядом, у группы офицеров, раздается характерное шипение, затем крики и топот бегущих ног. В одно мгновение, не соображая ни того, что случилось, ни того, что делаю, валюсь на пол и закрываю уши ладонями.

Оглушительный взрыв. Меня обдает горячим воздухом, щепками и дымом и отбрасывает в сторону. Звон стекол. Чей-то страшный крик и стоны. Встаю. За две койки от меня корчится в крови юнкер. Чуть поодаль лежит раненный в но-

гу капитан. Оказывается — раненный в ногу капитан показывал офицерам обращение с ручной гранатой. Он не заметил, что боек спущен, и вставил капсюль. Капсюль горит три секунды. Если бы капитан не растерялся, он мог бы успеть вынуть капсюль и отшвырнуть его в сторону. Вместо этого он бросил гранату под койку. А на койке спал только что вернувшийся из караула юнкер. В растерзанную спину несчастного вонзились комья волос из матраса.

Юнкера, уже переставшего стонать, выносят на носилках. Следом за ним несут капитана.

Через полчаса юнкер умер.

Оставлено градоначальство. Там отсиживались студенты, окруженные со всех сторон большевиками. Большие потери убитыми.

Наша рота, во главе с п-ком Дорофеевым, идет спасать Комитет Общественного Спасения (?), заседающий в Городской думе. Там же находится и последний представитель Временного правительства — Прокопович. У нас отношение к Комитету недоброжелательное. Мы с самого начала чуяли с его стороны недоверие к нам.

Около Городской думы со всех крыш стреляют. Мы отвечаем. Из Думы торопливо выходят несколько штатских. Окружаем их и в молчании возвращаемся в училище.

Вечер. Снаряжают безумную экспедицию за патронами к Симонову монастырю. Там артиллерийские склады.

С большевицкими документами отправляются на грузовике молодой кн<язь> Д. и несколько кадетов, переодетых рабочими. Напряженно ждем их возвращения. Им нужно проехать много верст, занятых большевиками. Ждем...

...Проходит час, другой. Крики:

— Едут! Приехали!

К подъезду училища медленно подкатывает грузовик, заваленный патронными ящиками.

Приехавших восторженно окружают. Кричат «ура». Они рассказывают:

«Самое гадкое было встретиться с первыми большевицкими постами. Окликают нас:

— Кто едет? Стой!

— Свои, товарищи! Так вас перетак!

— Стой! Что пропуск?

— Какой там пропуск! Так вас перетак! В Драгомирове юнкеря наступают, мы без патронов сидим, а вы с пропуском пристааете! Так вас и так!

— Ну ладно. Чего кричите? Езжайте!

Мы припустили машину. Не тут-то было. Проехали два квартала — опять крики:

— Стой! Кто едет?

И так все время. Ну и чертова же прорва красногвардейцев всюду! Наконец добрались до складов. Как въехали во двор, сейчас же ругаться последними словами.

— Кто тут заведующий? Куда он провалился? Мы на него в Совет пожалуемся! На нас юнкеря наступают, а здесь никого не дозовешься!

Летит заведующий.

— Что вы волнуетесь, товарищи?

— Как тут не волноваться с вами? Дозваться никого нельзя. Зовите там, кто у вас есть, чтобы грузили скорее патроны! Юнкеря на нас стеной идут, а вы патроны не присылаете!

— А требование у вас, товарищи, есть?

— Во время боя, когда на нас юнкеря стеной прут, мы вам будем требования составлять! Пороха не нюхали, да нам все дело портите! Почему, так вас перетак, патроны не доставлены?

Заведующий совсем растерялся. Еще сам же нам патроны грузить помогал. Нагрузили мы и обратно тем же путем направились. Нас всюду уж как знакомых встречали. Больше уж не приставали...»

Настроение после прибытия патронов сразу подымается.

Позже приходят тревожные вести об Алексеевском училище. Оно находится в другом конце города, в Лефортове. Говорят, все здание снесено большевицкой артиллерией.

Спешно посылаем патроны на телефонную станцию. Несчастные юнкера, сидящие там в карауле, не могут отстреливаться от нападающих на них красногвардейцев.

Прибыл какой-то таинственный прапорщик — горбоносый, черный как смоль брюнет. Называет себя командиром N-ого ударного батальона и бывшим не то адъютантом, не то товарищем военного министра Керенского.

Говорит, что через несколько часов к нам на помощь должны прийти ударники. Он будто бы выехал вперед. К нему относятся подозрительно. Он же, словно не замечая, держит себя чрезвычайно развязно.

Только что прорвался с телефонной станции юнкер. Оказывается, патроны, которые им присланы, — учебные, вместо пуль — пыжи.

— Если нам сейчас же не будут высланы патроны и поддержка, — мы погибли.

При вскрытии ящиков обнаруживается, что три четверти привезенных патронов — учебные.

Горбоносый прапорщик не наврал. С вокзала прибывают поодиночке солдаты — ударники. Молодец к молодцу. Каждый притаскивает с собой по пулеметной ленте, набитой патронами.

— Батальоном пробиться никак невозможно было. Мы решили так — поодиночке.

Простятся в бой. Их набралось несколько десятков.

С каждым часом хуже. Наши пулеметы почти умолкли. Сейчас вернулись со Смоленского рынка. Мы потеряли еще одного.

Теперь выясняется, что помощи ждать неоткуда. Мы предоставлены самим себе. Но никто, как по уговору, не говорит о безнадежности положения. Ведут себя так, словно в конеч-

ном успехе и сомневаться нельзя. А вместе с тем ясно, что не сегодня завтра мы будем уничтожены. И все, конечно, это чувствуют.

* * *

Для чего-то всех офицеров спешно сзывают в Актовый зал. Иду. Зал уже полон. В дверях толпятся юнкера. В центре — стол. Вокруг него несколько штатских — те, которых мы вели из Городской думы. На лицах собравшихся — мучительное и недоброе ожидание.

На стол взбирается один из штатских.

— Кто это? — спрашиваю.

— Министр Прокопович.

— Господа! — начинает он срывающимся голосом. — Вы офицеры, и от вас нечего скрывать правды. Положение наше безнадежно. Помощи ждать неоткуда. Патронов и снарядов нет. Каждый час приносит новые жертвы. Дальнейшее сопротивление грубой силе — бесполезно. Взвесив серьезно эти обстоятельства, Комитет общественной безопасности подписал сейчас условия сдачи. Условия таковы. Офицерам сохраняется присвоенное им оружие. Юнкерам оставляется лишь то оружие, которое необходимо им для занятий. Всем гарантируется абсолютная безопасность. Эти условия вступают в силу с момента подписания. Представитель большевиков обязался прекратить обстрел занятых нами районов, с тем чтобы мы немедленно приступили к стягиванию наших сил.

В ответ тягостная тишина.

Чей-то резкий голос:

— Кто вас уполномочил подписать условия капитуляции?

— Я член Временного правительства.

— И вы, как член Временного правительства, считаете возможным прекратить борьбу с большевиками? Сдаться на волю победителей?

— Я не считаю возможным продолжать бесполезную бойню, — взволнованно отвечает Прокопович.

Иступленные крики:

— Позор! — Опять предательство. — Они только сдаваться умеют! — Они не смели за нас подписывать! — Мы не сдадимся!

Прокопович стоит с опущенной головой. Вперед выходит молодой полковник, георгиевский кавалер Хованский*.

— Господа! Я беру смелость говорить от вашего имени. Никакой сдачи быть не может! Если угодно, — вы, не бывшие с нами и не сражавшиеся, вы, подписавшие этот позорный документ, вы можете сдать. Я же, как и большинство здесь присутствующих, — я лучше пушу себе пулю в лоб, чем сдамся врагам, которых считаю предателями Родины. Я только что говорил с полковником Дорофеевым. Отдано приказание расчистить путь к Брянскому вокзалу. Драгомиловский мост уже в наших руках. Мы зайдем эшелоны и будем продвигаться на юг, к казакам, чтобы там собрать силы для дальнейшей борьбы с предателями. Итак, предлагаю разделить на две части. Одна — сдается большевикам, другая прорывается на Дон с оружием.

Речь полковника встречается ревом восторга и криками:

— На Дон! — Долой сдачу!

Но недолго длится возбуждение. Следом за молодым полковником говорит другой, постарше и менее взрачный.

— Я знаю, господа, то, что вы от меня услышите, вам не понравится и, может быть, даже покажется неблагородным и низменным. Поверьте только, что мною руководит не страх. Нет, смерти я не боюсь. Я хочу лишь одного: чтобы смерть моя принесла пользу, а не вред Родине. Скажу больше — я призываю вас к труднейшему подвигу. Труднейшему, потому что он связан с компромиссом. Вам сейчас предлагаю прорываться к Брянскому вокзалу. Предупреждаю вас — из десяти до вокзала прорвется один. И это в лучшем случае! Десятая часть оставшихся в живых и сумевшая захватить железнодорожные составы до Дона, конечно, не доберется. Дорогой будут разобраны пути или подорваны мосты, и прорывающимся придется, где-то далеко от Москвы, либо сдать озверевшим большевикам и быть перебитыми, либо всем погибнуть в неравном бою. Не забудьте, что и патронов у нас нет. Поэтому я считаю, что нам ничего не остается, как положить оружие. Здесь, в Москве, нам и защищать-то некого. Последний член Временного правительства склонил перед большевиками голову. Но, — полковник повышает голос, —

* Убит в 1918 г. в Добровольческой армии. — *Примеч. авт.*

я знаю также, что все находящиеся здесь — уцелеем или нет, не знаю — приложат всю энергию, чтобы пробираться одиночками на Дон, если там собираются силы для спасения России.

Полковник кончил. Одни кричат:

— Пробиваться на Дон всем вместе! Нам нельзя разбиваться!

Другие молчат, но, видно, соглашаются не с первым, а вторым полковником.

Я понял, что нить, которая нас крепко привязывала одного к другому, — порвана и что каждый снова предоставлен самому себе.

Ко мне подходит прапорщик Гольцев. Губы сжаты. Смотрит серьезно и спокойно.

— Ну что, Сережа, на Дон?

— На Дон, — отвечаю я.

Он протягивает мне руку, и мы обмениваемся рукопожатием, самым крепким рукопожатием за мою жизнь.

Впереди был Дон.

* * *

Иду в последний ночной караул. Ружейная стрельба все такая же ожесточенная. Пушки же стихли.

И потому, что я знаю, что этот караул последний, и потому, что я живу уже не Москвой, а будущим Доном — меня охватывает страх. Я ловлю себя на том, что пригибаю голову от свиста пуль. За темными окнами чудится притаившийся враг. Я иду крадучись, вытирая плечом штукатурку стен.

* * *

Началось стягивание в училище наших сил. Один за другим снимаются караулы. У юнкеров хмурые лица. Никто не смотрит в глаза. Собирают пулеметы, винтовки.

Скорей бы!

* * *

Из соседних лазаретов сбегаются раненые.

— Ради бога, не бросайте! Солдаты обещают нас растерзать!

...Не бросайте! Когда мы уже не сила и через несколько часов сами будем растерзаны!

Оставлен Кремль. При сдаче был заколот штыками мой командир полка — полковник Пекарский, так недавно еще бравший Кремль.

Перед училищем толпа. Это — родные юнкеров и офицеров. Кричат нам в окна. Справляются об участии близких. В коридоре встречаю скульптора Б-аго.

— Вы как сюда попали?

— Разыскиваю тело брата. Убит в градоначальстве.

Училище оцеплено большевиками. Все выходы заняты. Перед училищем расхаживают красногвардейцы, обвешанные ручными гранатами и пулеметными лентами, солдаты...

Когда кто-либо из нас приближается к окну, — снизу несется площадная брань, угрозы, показываются кулаки, прицеливаются в наши окна винтовками.

У одного из окон вижу стоящего горбоносого прапорщика — того, что был адъютантом или товарищем Керенского. Со странной усмешкой показывает мне на гудящих внизу большевиков.

— Вы думаете, кто-нибудь из нас выйдет отсюда живым?

— Думаю, что да, — говорю я, хотя ясно знаю, что нет.

— Помяните мои слова — все мы можем числить себя уже небесными жителями.

Круто повернувшись и что-то насвистывая, отходит.

Внизу, в канцелярии училища, всем офицерам выдают заготовленные ранее комендантом отпуска на две недели. Выплачивают жалованье за месяц вперед. Предлагают сдавать револьверы и шашки.

— Все равно, господа, отберут. А так есть надежда гуртом отстоять. Получите уже у большевиков.

Своего револьвера я не сдаю, а прячу так глубоко, что, верно, и до сих пор лежит не найденным в недрах Александровского училища.

* * *

Глубокий вечер. Одни слоняются без дела из залы в залу, другие спят — на полу, на койках, на столах. Ждут с минуты на минуту прихода каких-то главных большевиков, чтобы покончить с нами. Передают, что из желания избежать возможного кровопролития вызваны к у<чили>щу особо благонадежные части. Никто не верит, что таковые могут найтись.

* * *

Когда это было? Утром, вечером, ночью, днем? Кажется, были сумерки, а может быть, просто все казалось сумеречным.

Брожу по смутным помрачневшим спальням. Томление и ожидание на всех лицах. Глаза избегают встреч, уста — слов. Случайно захожу в Актный зал. Там полно юнкеров. Опять собрание? — Нет. Седенький батюшка что-то говорит. Внимательно, строго, вдохновенно слушают. А слова простые и о простых, с детства знакомых, вещах: о долге, о смирении, о жертве. Но как звучат эти слова по-новому! Словно вымытые, сияют, греют, жгут.

Панихида по павшим. Потрескивает воск, склонились стриженные головы. А когда опустились на колени и юнкерский хор начал взывать об упокоении павших со святыми, как щедро и легко полились слезы, прорвались! Надгробное рыдание не над сотней павших — над всей Россией.

Напутственный молебен. Расходимся.

Встречаю на лестнице Г<ольц>ева.

— Пора удирать, Сережа, — говорит он решительно. — Я сдаваться этой сволочи не хочу. Нужно переодеться. Идем.

Рыскаем по всему училищу в поисках подходящей одежды. Наконец находим у ротного каптенармуса два рабочих полушубка, солдатские папахи, а я, кроме того, — невероятных размеров сапоги. Торопливо переодеваемся, выпускаем из под папах чубы.

Идем к выходной двери.

У дверей красногвардейцы с винтовками никого не выпускают. Я нагло берусь за дверную ручку.

— Стой! Ты кто такой?

Подозрительно осматривают.

— Да это свой, кажись, — говорит другой красногвардеец.

— Морда юнкерская! — возражает первый.

Но, видно, и он в сомнении, потому что открывает дверь и дает мне выйти. Секунда... и я на Арбатской площади.

Следом выходит и Гольцев.

ДЕКАБРЬ (1917 г.)

Долгожданный Новочеркасск. Вечер. Небольшой вокзал полон офицеров. Спрашиваю, где Барочная улица.

— Пойдете от вокзала прямо, потом налево, — там спросите.

Широкие улицы. Небольшие домики. Туман. Редкие фонари. Где-то ночные выстрелы. Неистовый ветер в лицо. Под ногами промерзшая, комьями, грязь. Изредка из тумана выплывает патруль — три-четыре юнкера или офицера. С подозрением оглядывают и снова тонут в тумане. Мороз и ветер сквозь легкое пальто пронизывают. Трясусь мелкой дрожью.

Иду, иду, — кажется, конца не будет.

— Скажите, пожалуйста, где Барочная?

— Первая улица направо.

Слава богу!

Двухэтажный дом, светящийся всеми окнами. У входной двери офицер с винтовкой резко окликает:

— Вам кого?

— Могу я видеть полковника Дорофеева?

— На что вам полковник Дорофеев? — Испытующий взгляд с головы до ног.

— Я приехал из Москвы, и у меня к нему дело.

— Обождите. — Прапорщик Пеленкин! — кричит офицер в дверь.

— Я! — кто-то в ответ, и в дверях показывается крохотного роста прапорщик, с громадным кинжалом на поясе.

— Этот господин полковника Дорофеева спрашивает, — проведите.

Офицер с винтовкой наклоняется к прапорщику с кинжалом и что-то шепчет ему на ухо.

— Так, так, так. Это мы сейчас расследуем, — отвечает носитель страшного кинжала. — Пожалуйста за мной!

Я попадаю в светлую большую комнату. На длинных столах неприбранные остатки ужина. Несколько офицеров курят и о чем-то громко спорят.

— На что вам полковник Дорофеев? — пронзает меня взглядом прапорщик Пеленкин.

— По делу.

— Вы откуда приехали?

— Из Крыма, а в Крым из Москвы.

— Какие же, любопытно знать, у вас дела?

— Разрешите мне сообщить об этом полковнику лично, — начинаю я выходить из себя. — Меня крайне поражает ваш допрос.

— Вам придется сказать о вашем деле мне, потому что полковника Дорофеева у нас нет.

— Вы, верно, плохо осведомлены. Я имею точные сведения, что полковник Дорофеев — здесь.

— А откуда у вас эти сведения?

— Это уж позвольте мне знать.

— Ах, вы таким тоном изволите разговаривать? Прошу вас следовать за мной.

— Никуда я за вами не последую, ибо даже не знаю, кто вы такой. Потрудитесь вызвать дежурного офицера.

— Кто я такой, вы сейчас узнаете, — мрачно говорит прапорщик, сдвигая редкие светлые брови. — А дежурного офицера вызывать нечего — мы к нему идем.

— Это дело другое. Идемте.

Подымаемся по лестнице. Меня оставляют в коридоре, под наблюдением другого офицера, а прапорщик заходит в одну из дверей.

Нечего сказать — хорошо встречают! Не успел приехать — и уж под арестом! Во мне закипает бешенство.

— Пожалуйста!

Захожу в комнату. За столами несколько офицеров, с любопытством меня оглядывающих.

— Ба, да ведь это Эфрон! — раздается радостный возглас, и я оказываюсь в крепких объятиях прапорщика Блохина.

— Ведь я только сегодня о тебе с Гольцевым вспоминал. Вот молодец, что приехал! А мы уже думали, что тебя где-нибудь зацапали. Да садись ты, рассказывай, как добрался! Пеленкин-то хорош. Входит и таинственно заявляет, что задержал большевика, который рвется к полковнику Дорофееву, с тем чтобы...

Прапорщик Пеленкин сконфуженно мнется и моргает.

— Вы простите меня, но у вас вид такой... большевицкий. Шляпа и волосы нестриженные. Я и подумал.

Все хохочут. Смеюсь и я. Пеленкин, красный, выходит.

— Хорошо, что я сразу тебя встретил. Не будь тебя, чего доброго, зарезал бы меня кинжалом этот прапорщик.

— Нет, брат. Мы Пеленкину воли не даем. Он каждый день приводит к нам десятками таких, как ты, большевиков. Он не совсем того, — и Блохин тыкает пальцем в лоб. — Где Гольцев?

— В карауле. Через час-два должен вернуться. Да ты расскажи о себе.

Рассказываю.

* * *

Поздно вечером, за громадным чайником жидкого чая, сидим: Блохин (убит под Орлом в 19 году), его двоюродный брат — безусый милый мальчик Юн-р (убит в Сев. Таврии под Карачакраком в 20 г.), вернувшийся из караула Гольцев (убит под Екатеринодаром в марте 18 г.) — и я. Захлебываясь разговариваем.

— Большие у нас силы? — спрашиваю. В ответ хохот.

— Знаешь, мы тебе о наших силах лучше ничего говорить не будем, — смеется Блохин. — Это, брат, военная тайна. И хорошо, что иногда можно прикрываться военной тайной. Тайна часто заменяет штыки.

— Нет, не шутите, господа, скажите мне приблизительно, сколько. В Синельникове я слышал разговор матросов — говорят, тысяч до сорока.

Опять хохочут.

— Сорока тысяч? Что ты! Больше: шестьдесят, восемьдесят, — сто! И знаешь, где главные силы расположены?

— Где?

— В том доме, в котором ты сейчас находишься. — И Блохин снова заливается смехом. Но заметив недовольство на моем лице, он перестает смеяться и говорит уже серьезно:

— Видишь ли, С.Я., о силах наших говорить не приходится. Их у нас собственно и нет. Во всяком случае, в несколько раз меньше того, что мы имели в Москве. Казаков в счет брать нельзя. Они воевать не хотят и на серьезную борьбу не пойдут. И несмотря на это, мы все гораздо спокойнее, чем были в Александровском училище, и — что знаем наверное — силы у нас появятся. К нам уже начали съезжаться со всей России. Правда, помалу, но ведь это объясняется тем, что почти никто и не знает толком о нашем существовании. Едут так, на ура. А как узнают, что во главе — генерал Алексеев, десятки тысяч соберутся!

— Ну, а местное офицерство? В Ростове, например, их должно быть много.

— В Ростове ими хоть пруд пруди. Да все дрянь какая-то — по Садовой толпами ходят, за гимназистками ухаживают, а к нам дай бог чтобы с десяток записалось. Ну с этими-то мы церемониться не будем — возьмем и мобилизуем.

— А как с деньгами дело обстоит?

— Великолепно! Мы даже жалованье получаем — пять рублей в месяц, на табак.

Новый взрыв смеха.

— Да ты не допрашивай. Сам завтра все увидишь.

— Хорошо. Но куда вы меня устроите?

— Через комнату отсюда, с Гольцевым. Мы уже переговорили с комендантом — койка есть свободная. Общество самое изысканное. Три полковника. А завтра мы тебя запишем в Георгиевский полк, — подпишешь присягу.

— Какую присягу?

— Завтра узнаешь. Я попрошу полковника Дорофеева, чтобы тебя неделю не тормозили, — ты скелетом выглядишь. Да и делать-то пока нечего. По караулам таскаться. Ну, а теперь пора спать — завтра рано вставать.

С утра началась моя служба в Добровольческой армии. В небольшой комнате (той самой, куда меня ввел вечером Пеленкин) помещался «маленький штаб», состоявший из нескольких полковников Генштаба и гвардии и трех-четырёх оберофицеров. Во главе «штаба» стоял полковник Дорофеев. Он меня очень тепло встретил и приказал — очевидно, по просьбе Дорофеева* — неделю отдыхать.

Я подписал присягу, которую подписывали все вновь прибывающие. В присяге было несколько пунктов, и все они сводились к тому, что каждый вступающий в Армию отказывается от своей личной жизни и обязуется отдать ее — всю — спасению Родины. Особый пункт требовал от присягающего отречения от связывающих его личных уз (родители, жена, дети).

Меня зачислили в Георгиевский полк (первый полк Добровольческой армии), который в это время насчитывал несколько десятков штыков и свободно умещался за обедом в одной комнате**. Генерал Алексеев не показывался и жил, кажется, сначала в особом вагоне, а потом в Атаманском дворце.

С раннего утра на Барочную начинали прибывать съезжающие со всех концов России, главным образом из Москвы, офицеры. Каждый из прибывших сообщал что-нибудь из того, оставленного нами, мира.

Вот капитан в солдатском, только что пришедший с вокзала. Его опрашивают.

— Вы откуда прибыли?

— Из Киева, после расстрела.

На него с удивлением смотрят.

— Как — после расстрела?

— Я числюсь расстрелянным, да я и был расстрелян.

И вот рассказ капитана о том, как его с другими офицерами повели расстреливать к обрыву. Поставили всех на краю и дали залп. Легко раненный в руку, он нарочно свалился вместе с другими расстрелянными под откос и, пролежав пять часов неподвижно, с наступлением темноты пробрался к своему то-

* Здесь, очевидно, описка. Из текста ясно, что речь идет о прапорщике Блохине.

** Сноска сделана С.Я.Эфроном, но примечание не вписано.

варищу, переоделся и поехал к нам на Дон. (Убит под Таганрогом.)

Другой — морской офицер, капитан 2 ранга Потемкин. Вырвался из Севастополя после страшной резни, учиненной матросами над своими офицерами. Богатырского роста, какого-то допотопного здоровья и сложения, темные с проседью волосы, темные спокойные глаза, рыжее от загара лицо и зычный, оглушающий голос. Тихо говорить не умеет. На вопрос, что он видел в Крыму, рывкает:

— То же, что везде. Режут.

— Какой род оружия предпочитаете?

— Пока флота нет — любой. Прошу не считаться с моим чином и принять меня как единицу физической силы.

Мы его так и прозвали «единица физической силы». Он не любил говорить, не выпускал изо рта громадной трубки и, видно страдая первые дни от безделья, неустанно шагал по коридору, окруженный табачным облаком и грузно притаптывая своими медвежьими сапожищами*.

Встречаю нескольких прапорщиков, знакомых по офицерской роте Александровского училища. Вообще, основное ядро собравшихся — москвичи. Говорят о необходимости сформировать Московский полк. Только вот — из кого! Нас кучка — двести-триста человек, и окружены мы общей ненавистью и непониманием. Стоит выйти на улицу, чтобы почувствовать это по взглядам — в лицо и вслед. О солдатах и говорить нечего. Меня до сих пор поражает, каким чудом мы тогда не были уничтожены. Объясняется это баснословным преувеличением наших сил. Предполагали десятки тысяч — нас было сотни. Две-три сотни, и никакой еще тогда артиллерии.

* * *

В Новочеркасске, как стемнеет, то здесь то там раздаются револьверные выстрелы. наших офицеров, на темных ули-

* Кавторанг Потемкин, будучи командиром морской роты, в кровавом бою под Батайском (за день до оставления Ростова), когда погибла почти вся его рота, был ранен в голову, потерял глаз и, с неизвлеченной шрапнельной пулей, совершил, захватив горстку юнкеров, невероятную вооруженную экспедицию к Каспийскому морю. Вернулся в Новочеркасск к нашему туда возвращению из Кубанского похода. Жив ли он сейчас — не знаю. — *Примеч. авт.*

цах, подстреливают. Кажется, как можно было с такими данными начать наше дело и поверить в его успешность? Поверили и начали.

В моей комнате, кроме Гольцева, помещается тихий молодой полковник артиллерист Миончинский (впоследствии командир Марковской батареи, убит под Шишкином Ставропольской губ.), неразлучная пара однополчан — капитан, с пятью нашивками ранений на рукаве, и поручик (оба пропали без вести под Таганрогом месяц спустя) и кавказец штабс-капитан Л. (убит в Первом походе).

Я составил записку, в которой предлагал изменить способ организации нашей, несуществующей пока, Армии, и представил ее в наш «маленький штаб».

Моя мысль сводилась к тому, что успех дела будет зависеть главным образом от кровной связи со всей Россией. Для установления этой связи я полагал необходимым формировать полки, батальоны, отряды, давая им наименования крупных городов России (Московский, Петроградский, Киевский, Харьковский и т.д.), с тем чтобы эти отряды или полки пополнялись не только добровольцами, но и средствами из этих городов. Таким образом с самого начала создавалась бы кровная связь со всей остальной Россией. В Москве, например, знали бы, что существует Московский полк, или отряд, или дивизия, поставившая себе целью свержение большевиков и спасение Родины. Тяга в такой полк была бы гораздо острее, чем в туманную Добровольческую армию. Собирать средства для такого полка было бы гораздо легче, ибо с большей охотой дают деньги на нечто определенное и по размерам своим ограниченное, чем на прекрасные туманы.

Я до сих пор полагаю, что мысль моя, для того времени и при тех обстоятельствах, была жизненной.

Подав через Блохина записку, я внутренне рассмеялся над собой. К чему было подавать? Я очень хорошо знал отношение всякого штаба ко всякому предложению, приходящему извне. Да и записка-то написана прапорщиком. Для полков-

ника, да еще Генштаба, что может доброго придумать прапорщик?

Подал и поставил на докладе крест.

* * *

Я хочу отметить одно позорное явление. Мы начинали свою работу в Новочеркасске и в Ростове без денег. Говорят, у ген. Алексеева, когда он приступил к работе, было 400 рублей. Ростов — один из богатейших городов юга России. Он дал нам крохи — если вообще что-нибудь дал. Все время мы испытывали острую нужду в средствах. Приходилось думать о каждой копейке. Иначе как предательством это поведение назвать не могу. Ростовская буржуазия заслужила те ужасы, которые посыпались на ее голову после нашего ухода. Но и эти ужасы ее не исправили. И когда мы вернулись, а впоследствии стали победоносно продвигаться на север, все так же оказались для нас запертыми сейфы и закрытыми бумажники ростовских тузов. Особенно резко и гнусно это отношение сказывалось на положении наших первых лазаретов, влачивших жалкое существование без матрасов, медикаментов, продовольствия и самого необходимого оборудования.

Сейфы и сундуки открылись с приходом большевиков. Они оказались «умнее» нас.

* * *

Дня через три после подачи мною записки меня неожиданно вызвали в «маленький штаб». За столом полковник Дорофеев и еще несколько полковников.

— Это вами написана записка? — спрашивают.

— Да, мною.

— Вы знаете, чем отличается хороший проект от негодного? Хороший можно провести в жизнь, негодный остается на бумаге. Поняли?

— Так точно, понял.

— Хотите доказать, что ваш проект хорош? Поезжайте в Москву и достаньте для Московского полка денег и личный состав. Вы ведь коренной москвич и связи у вас там широкие?

— Так точно.

— Ну так вот. Для формирования полка и обеспечения его жизни на месяц требуется два миллиона рублей. Что касается личного состава, то, думается, офицеров нам будет раздобыть не так трудно. Гораздо труднее обстоит дело с унтер-офицерским составом. Постарайтесь выудить из Московского гарнизона все что можно в этом направлении. Ну как — возьметесь вы поехать в Москву?

— Так точно, возьмусь. Денег, думаю, раздобыть удастся. Что же касается личного состава, то, конечно, для этой цели в Москве необходимо иметь особую организацию, и не одну, а несколько. И чем больше, тем лучше — на случай провала.

— В Москве уже существует такая организация. Нужные адреса и все необходимые сведения вы получите у п<олков>ника Т. Когда вы могли бы поехать?

— Хоть завтра.

— Отлично. Начните сейчас же готовиться в дорогу. Документы, подходящий костюм и деньги получите также у полк<овника> Т. Но предупреждаем — денег вы получите немного. Еле до Москвы хватит.

— Меня это не пугает.

— Великолепно. Желаем вам доброго пути и доброго выполнения задания.

Откланиваюсь.

Так, совершенно неожиданно для себя, я был командирован в Москву.

Рассказываю Блохину и Гольцеву о полученной командировке.

— Счастливый, — говорит Б<ло>хин, — еще раз Москву увидишь, жену, родных... (Он оставил там жену.)

— Авось скоро все там будем, — стараюсь я его ободрить.

— *Тим?* Ты прав. — И Блохин пальцем указывает на небо.

— Полно тебе каркать, — прерывает его Гольцев. — А тебе правда повезло: Рождество в Москве проведешь. Повидай моих студийцев (он работал в театральной студии Вахтангова — в Мансуровском переулке). — Поцелуй их от меня всех.

Ни тот, ни другой Москвы уже не увидели.

Узнав, что я еду в Москву, москвичи заваливают меня письмами. У меня их набралось до тридцати. Передавая письмо, все как сговорившись:

— И главное, уверяйте, что у нас прекрасно, что беспокоиться за нас нечего. И постарайтесь привезти ответ.

Полковник Т. дал мне три адреса, два шифрованных письма, солдатскую грязную шинель, папаху и полтораста рублей денег.

— Главное, прапорщик, соблюдайте осторожность. Если что с вами случится, во что бы то ни стало уничтожьте письма.

— Адресов я с собой и брать не буду. Я их и так запомню.

— Прекрасно. А вот и документ вам — вы рядовой 15 Тифлисского гренадерского полка, уволенный по болезни в отпуск. Ну, дай вам Бог!

ТИФ

Он нащупал в боковом кармане небольшой тугой бумажный сверток — шифрованные письма, важные, без адресов. Адреса отдельно в другом, жилетном, мелко переписаны на тонкой бумаге, скручены в трубочку и воткнуты в мундштук папиросы. Хорошо придумано. В опасную минуту можно папиросу закурить, а если схватят, незаметно проглотить.

Вещей мало: корзина, набитая провизией, и мешок с крошечной подушкой, сменой белья и большой лохматой папачкой. Папачка на случай, если понадобится сразу изменить внешность. Он в кепке и он же в папаче — два разных человека. И это, кажется, хорошо придумано.

Сейчас подадут поезд. Черно от толпы. Сумерки. Холодно. По навесу барабанит мелкий осенний дождь. Сизый вечерний дымный воздух пахнет гарью, нефтью, туманом. Сиро на запасных путях взывают паровозы. Лязг буферов сцепляемых вагонов.

Серая шинель рядом курит сигарку. Острый дымок долго держится в воздухе. Промок сосед.

Сквозь махорку тянет мокрой, кислой шерстью. Топочет казачий патруль. Стройный офицер с худым волчьим лицом скашивает глаза на серую шинель.

— Покажи документы!

Из-за загнутого обшлага заскорузлые пальцы вытаскивают бумажку с синей печатью. Затопотали дальше.

И вдруг... котелки, шляпы, фуражки, папахи, чемоданы, шинели, мешки, полушубки дрогнули, зашевелились, сгрудились, двинулись. Из глубины с легким гулом катились вагоны. На переднем кондуктор с площадки помахивал флажком.

«Лишь бы никого из знакомых не встретить. Будет глупо».

Проталкиваясь к вагону третьего класса, с беспокойством косился на соседний второй. Впереди здоровый мастеровой в ухастой шапке локтями пробивался на площадку.

«Нужно двигаться за ним. Вот так».

Мастеровой на первой ступеньке.

— Ой, родимые! Ой, кормильцы! Задавили совсем!

— Мешками дорогу загородил, сволочь! Убери мешки! Тебе говорят, борода!

Борода — солдат, что махорку курил, а ругается мастеровой. Мастеровой, ногами отбрыкнув мешки, — на площадке. За ним, за ним! Схватился руками за решетку, отпихнул локтем наседавшую бабу, так, еще шаг один, — втиснулся. Сзади пыхтящей глыбой навалилась баба. От толчка мастеровой обернулся. Веснушчатый, скуластый, бровь рыжая, глаз серый. Резнул взглядом. Где он видел его? Засосало. Нужно вспомнить. А мастеровой, через бабу перегнувшись, на наседавших гаркал:

— Довольно! Куда прете? Никого не пушу! В задних пусто. Эй, вы, земляки, вам говорят!

— А ты что за начальство такое?

— Все одно не пушу!

— Вали, ребята, что его слушать! Перетак его мать... Баринном расселся. Самого сбросим!

— А ну, попробуй!

Вдоль перрона шел патруль, отгоняя непоместившихся. Чьи-то торопливые шаги загремели по крыше.

* * *

«Я тебе дам, я тебе дам, я тебе дам, я тебе дам», — стучали колеса.

А баба оказалась не бабой, а девкой. Глаза маленькие — вничточку, нос утиный, двумя пунцовыми щеками сдавленный, а губы квадратиком. Платок сдернула с головы, вокруг шеи повязала, вздохнула, рукавом потное лицо вытерла и полезла в карман за семечками.

«Но где я его видел?» — думал он. Может, померещилось. Таких лиц сотни. Скулы, веснушки, нос, вздернутый задорно, глаза серые, мышинные.

А тот уже с девкой балагурил. Подсел, зубы оскалил.

— Мануфактуру, барышня, везете? Я бы у вас для почину аршинчик-другой сторговал. Может, покажете товар-то свой?

Прыснула. Щелками блеснула.

— Та-а-ва-ар! Сама бы у тебя ситцу купила. Нашел купчиху!

Солдат бородатый сигарку скрутить успел и дымом ядовитым запыхал.

— Ты, земляк, курить бы бросил. Обхождения не знаешь. С нами барышня, а он зельем елецким в нос.

Недовольно засопела борода:

— Не сдохнет!

Капельки струйками по стеклу стекали. Запотело стекло. Темнело.

Хорошо, что с ним не заговаривают. Заговорят — врать надо, каждое слово взвешивать. Только подумал, а тот:

— Вы, господин, далеко едете?

— В Белгород.

— И я туда же, попутчиками будем.

Сказать бы — в Харьков. Навязался попутчиком!

И час прошел, и другой прошел. Совсем стемнело. Холодно. Заснуть бы. Справа, навалившись плечом, солдат храпит. Втягивает воздух с бульканьем, а выдыхая, сопит и губами причмокивает. Мастеровой к девке совсем прилачился. Что там в углу делается — не видать, только смешки, да хихиканье, да сопение сквозь стук колес доносятся.

Кондуктор, с трудом дверь оттянув, фонарем ослепил. Отпрянули в углу друг от дружки. Девка с перепугу трепаные волосы ну платком повязывать, кофту ватную, расстегнувшую-

ся, на крючки насаживать. А кондуктор нарочно на нее фонарем — зырк, зырк.

— Ваши билеты!

В ус смеется на девку.

— Застегнись, застегнись, ночью холодно. И простудиться можно.

Солдата растолкали, поперхнулся солдат, закашлялся, фуражка на самый нос съехала.

— Билет, земляк, покажи. Литер твой.

Опять заскоружлыми пальцами за заворот рукавный, записку подает:

— Из лазарета, домой еду. Полную получил.

Хорошая куртка у мастерового, верблюжья, шершавая. Тепло ему, раскраснелся, дышит — паром пышет. Передает билет, смеется.

— Мой — дальний, товарищ кондуктор, до Белгорода. Два раза простукнули. Скоро от билета одна дыра останется.

— Гусь свинье не товарищ. Знай, с кем шутишь.

Рассердился кондуктор, дальше пошел.

После фонаря еще темнее, еще холоднее.

Насторожился. Так вот оно что! Товарищ с языка сорвался. Хорошо, запомним. Ох, знакомая рожа! Где я...

— А вы, господин, тоже не спите?

— Да, не спится. Холодно.

— А мне так ничуть. Даже в жар бросает. Соседушка моя что самовар рядом.

Из коридора в дверь полуоткрытую пение доносится. Там донцы пьют и поют.

Поехал казак на чужбину далеку,
Поехал один, на коне вороном...

А подальше солдаты свое тянут:

Пад раки-та-а-ю зеленой
Руской раненой лежа-ал
Пад раки-та-а-ю...

— Вот что, господин, для ради нашего знакомства мы с вами сейчас водочки выпьем. Я вам водку, а вы закуску. Идет?

Царской-то я запасся, а на базар пройти не успел. Так мы с вами и согреемся.

Какой ответ может быть, если царскую предлагают? Отказаться нельзя, врага наживешь. А тот, не дождавшись ответа, в сумку свою полез, спичкой чиркнул, свечу зажег, на сундучок чей-то стеарину накапал, свечу утвердил, потом снова в мешок — за бутылкой. Даже рюмка у того нашлась. Другой корзиночку свою развязал, хлеб, телятину холодную, сыр выложил. Нож, вилка, даже салфетка у другого оказались.

— Эх, закусочка хороша! Лучку только, жаль, нет. И барышню угостим. У барышни бесприменно цибуля должна найтись. Верно я говорю, Маруся?

Хихикнула.

И водки не хотелось, и есть не хотелось, а ел и пил. После четвертой замутило, от пятой отказался.

— Что вы это, господин? Отваливаться рано. Посмотрю я на вас, слабы вы очень. Тифом, верно, хворали? Нет? Чудно. А чем, позвольте спросить, занимаетесь? По торговой или еще чем?

— По торговой.

— По делам торговым, должно, и едете?

Глаза прищурил, вот засмеется. А может, только показалось ему.

— Нет, по семейным.

— Вот оно что. Только ежели жениться собираетесь, мой совет — гиблое дело задумали. Всякая баба норовит нашего брата обмануть. Верно, Маруся?

А сам рукой, да под кофту. И говорит, говорит без перерыва, что шмель жужжит. И слушать надоело, да слова такие вязкие, липкие — сами в уши лезут. Под разговор еще три рюмки навязал. После седьмой вдруг лучше стало. Огонь по жилам пошел. Может, почудилось ему все? Славный парень, веселый, простой, здоровьем пышет. Еще раз нащупал письма в кармане — целы, и папираса с адресами цела.

— А вы где служите?

— Я-то? Я — пролета-арий. В Белгороде, в мастерских, токарем. Хорошее дело, господин. Нашему брату платят здорово. И на войну не взяли, потому работаю на оборону, и на железной дороге к тому ж. Все равно что за двумя стенами. Живу

припеваючи. А жениться, мой совет, бросьте. Нестоящее дело. Так — куды вольготней! Кого хочешь, того и люби. Верно, Маруся?

Опять плохо стало. Уж не трясет вагон, а качает. Медленно так: вверх-вниз, вверх-вниз. Как вверх — ничего, а как вниз — пищевод винтом скручивает. Не нужно было пить, ах, не нужно было. А тот все бубнит, все бубнит. О добровольцах и казаках заговорил, добровольцев хвалит.

— Я бы и сам бы... Мамашу жалко. Мамаша больно убивается. Старуха глупая, не понимает «единую и великую», Петя, кричит, один на свете ты у меня, соколик, кормилец. Ну как тут уйти? Родителей почитать нужно, особенно на старости. Эй, господин! Никак уснул?

А господин носом клюнул, метнулся головой раз-другой и замер. Рот полуоткрыл, не то хрипит, не то храпит.

— Кончился буржуй. Куда ему супротив нас! С шести рюмок сгас. Маруся, глянь!

А Маруся сама голову запрокинула, простоволосая, растрепанная, губы распустила, веки до конца не захлопнула, белки по-покойничьи кажет.

— Так, так, так, — оскалил зубы мастеровой. И сразу тихо стало. Только колеса, громче, свое: «я тебе дам, я тебе дам, я тебе дам» — застучали.

И снится ему: идет он по переулку ночью. Московский переулок, кривой, узкий, вензелем выгнулся. А кругом окна освещенные, и тени за окнами ходят. Глянул в одно: зала белая, люстра костром хрустальным полыхает, а вдоль стен пары, дамы в белом, а кавалеры в кирасах золотых. В другое глянул — то же, в третье — вихрем несутся. Чего бы им плясать? Вспомнить нужно, не может. Ах, вот, взята Москва!

Как вспомнил, так сгасли окна, а он под фонарем тусклым. Крыльцо, дверь, войлоком обитая. Под воротами ночной сторож в тулупе спит. Разбудить бы, узнать, как дома. И вдруг сердце сжалось, дышать нечем. Умерла, умерла, умерла, если окно не освещено. Заглянуть надо. Если умерла, гроб должен стоять. И уж к окну тянется. Окно без стекла, без рамы. Почему? Может, переехала. Хотел было голову

просунуть в окно, а оттуда кто-то дышит. Отпрянул: из окна мастеровой лезет, шапка с ушами, куртка верблюжья, лицо фонарем освещено.

— Пожалуйте, господин, давно вас поджидаем!

В зубах у мастерового папироска. Увидел, сразу понял. Руку в карман — нет писем, в другой — нет папиросы. Хочет крикнуть, горло сжалось. Бежать! А сзади кто-то хватя за локти. Оглянулся — сторож ночной:

— Попался голубчик! Вяжи его, товарищ!

* * *

Проснулся от собственного крика. Темно. Кто-то рядом ворочается, смеется.

— Ну и кричите вы, господин, во сне. Меня напугали. Думал — режут вас.

— Почему темно?

— Свечку задуло. Я спички ищу, а вы как зарычите. Верно, во сне беса видели.

Тихонько рукою в карман — целы письма, в другой — адреса на месте. Отлегло. Сон проклятый недаром — спать нельзя.

А мастеровой спичку чирк, свечку зажег, сразу повеселело. Девка, рот разинув, дышит тяжело, солдат бородатый мешок руками обнял, храпит.

Взглянул на часы — три. До рассвета еще пять ждать. Хмель из головы вышибло, словно и не пил. Только холодно очень, из окна дует и из двери тоже. Зайти бы внутрь, в вагон. Нет, не пройти. Из открытой двери коридора чьи-то исполинские сапоги торчат, там вповалку.

Мастеровой и тот, свечку зажегши, в угол забился, шапку ушастую на самые глаза надвинул, задремал.

Только бы не уснуть. Как подумал, так веки сами вниз поползли. А колеса свое:

«Я тебе дам, я тебе дам, я тебе дам».

Уснул.

Кто-то толкнул сильно и на ногу наступил. Вздогнул, открыл глаза. Ослепил свет дневной, радостный, белый. Валом валит народ из вагона. Его к самой стенке приперли.

— Ишь заспался, глаза таращит, — засмеялся кто-то из проходящих весело. А снаружи голос мастерового:

— Вылезайте, господин! За кипятком пойдём. Я чайник раздобыл, и вы свой прихватите. Барышня пусть за вещами посмотрит.

Вскочил, потянулся и сразу почувствовал, что ночное было сном, бредом. Приятно поламывало ноги и руки. И Маруся проснулась. Переплетает косу смявшуюся, на него как на знакомого глядит, улыбается. Чайник быстро от корзиночки отвязал, с площадки спрыгнул и от белизны сверкающей зажмурился. Мохнатый иней облепил деревья, крыши, проволоки, траву.

А мастеровой на путях стоит, чайником позвякивает, его поджидает, ухмыляется.

— Ишь как морозом дыхнуло! Блестит-то, блестит, аж по глазам царапает! Эх, хорошо!

И вовсе не страшный он, а веселый, ласковый, уютный. И не волчий взгляд, а собачий.

— Как спали? Страху вы на меня нынче ночью нагнали. Такой крик подняли, упаси господи. Я подумал, не в своем уме вы. Я полоумных страсть боюсь.

В конце перрона у серого цинкового бака толпились, весело переругивались, старались протолкаться первыми вперед. Из приоткрытого бака валил голубой пар и быстро таял на морозе. Пар валил и из чайников, и из улыбающихся ртов, и из трубы отдыхающего паровоза.

Первым нацедил мастеровой, вторым он; нацедили и, весело гуторя, побежали по обисеренным шпалам обратно к своему вагону. У самого вагона, он уже ногу на приступенку занес, вдруг окликнули.

— Василий Иванович, вы ли? Дорогуся! Только вчера с полковником Крамером вас вспоминали.

На площадке второго — румяный, круглолицый, бритый, такой знакомый и такой ненужный сейчас — Лихачев. Московский адвокат Лихачев, то ли министр, то ли еще кто-то, где-то и при ком-то.

«Как глупо, как глупо. Не нужно было выходить. Сам виноват», — так думал, а говорил другое, улыбаясь и кивая головой:

— Вот встреча! Какими судьбами? Куда путь держите?

Розовый ручкой в ответ:

— Ко мне, ко мне забирайтесь. У меня купе отдельное. Да идите же скорей! Вечность с вами не виделись.

А мастеровой с площадки третьего кивает:

— Идите, господин. Ваше счастье. Я вам вещи передам. Во втором, на мягком, куда удобнее.

Сел на мягкий диван, отвалился на мягкую спинку, уперся ногами в звезду линолеума и счастливо, совсем неожиданно для себя, заулыбался. Здесь все не походило на площадку третьего. Мягко и благосклонно стучали колеса: «хорошо, хорошо, хорошо, хорошо», на откиннутом столике, меж вскрытой коробкой серебряных сардинок и бугристыми оранжевыми апельсинами дребезжали пузатая бутылка и крошечная хрустальная стопочка; с сетчатой полки солидно и опрятно смотрели два рыжих чемодана, добротных, кожаных, со старыми багажными наклейками — Москва, Варшавская и Paris. Розовый адвокат опрятностью походил на свои чемоданы. От него несло ароматным мылом, пухлые щеки, свежесвыбритые, и короткие волосы, гладко прилизанные, сияли. Умные зеленые кошачьи глаза приветливо шурились, и даже две золотых пломбы на передних зубах при улыбке посверкивали привлекательно.

— Миленький, Василий Иванович, да расскажите же — почему вы, куда и зачем? Мне полковник Крамер с восторгом о ваших подвигах отзывался. Два раза в Москву и обратно с какими-то пакетами, по каким-то секретным поручениям. Я диву дался. Бросить жену, бросить работу, так удачно начатую. В чем же дело? Расскажите, миленький.

Как рассказать ему, такому круглому? Для него все плоскость, куда ни толкни — покатится, весело, деловито, уверенно. И объяснять-то нечего. Просто случилось, что давнишнее, затаенное, почти неосоздаемое выросло в неминуемую, непреодолимую неизбежность.

— Да, так как-то вот...

Кашлянул и замолчал.

— Вы лучше о себе расскажите.

Розовый словно только этого и ждал.

— Помните... Мы с вами... в последний раз... перед совещанием московским... после него я сейчас же, ясно поняв, взвешив... не соглашаясь со своей группой и...

Покатился без остановок дальше, дальше, через октябрь кровавый московский, он предчувствовал, он предупреждал,

через поход Корниловский, тоже предупреждал, через губернии и области, города мирные и осажденные, содрогающиеся от выстрелов и затихшие в ожидании грома, через комитеты, митинги, советы, партийные съезды, совещания, через германцев и австрийцев, Петлюру и гетмана, казаков и добровольцев, — и даже через чеку прокатился. Когда говорил о чеке, улыбка на время сошла. С купцом сидел, со смертником. Сошел с ума купец и три дня перед смертью буйствовал, кулаками, ногами и головой в стену дубасил. Розовый чуть сам рассудка не лишился. К счастью, один из чекистов бывшим его подзащитным оказался, вызволил его, спас и от безумия, и от смерти. Но чека — это только неделя, когда запнулся шар, в яму закатился. А потом все пошло прекрасно, и семью он вывез, и сам устроился товарищем где-то и при ком-то.

— Сейчас, Василий Иванович, мы должны беречь себя. Мы понадобится. Пройдет безумие, без нас там не обойдутся, как и сейчас не обходятся здесь. Я на себя со стороны смотрю. Нужен я? Необходим я? Обойдутся без меня? Нет. А потому... — И покатился, покатился дальше.

Василий Иванович с улыбкой кивал, со всем соглашаясь, но слушал не слыша, не вникая в слова. Слова говорили меньше, чем щеки розовые, аромат мыла Pears, мягкий уверенный голос, сверкающие золотые коронки, университетский значок на отвороте серо-голубого просторного пиджака. В окно ломилось солнце. От стаканчика, бутылки и зеркала прыгали зайчики по лакированной двери купе. Укачивали пружины сдобного, пухлого дивана. В вентиляторе над фонарем посвистывал ветер. Еще не топили, и в вагоне было свежо. Василий Иванович накрыл ноги пушистым пледом Розового и вздрагивал от нутряного холода. И это было приятно. Сейчас бы лечь на диван, шубой медвежьей с головой укрыться и под щекотным мехом не спать, а слушать, слушать стук колес.

— Я заговорил вас, а ведь вы нездоровы. Что с вами? Простудились? Глаза блестят, и губы сухие.

— Нет, нет, я здоров, совсем здоров.

Розовый недоверчиво потрогал руку Василия Ивановича. Ладонь Розового была мягкой и теплой, рука Василия Ивановича — ледяной.

— Жара нет как будто бы, а вид подозрительный. И молчите вы все. Слова из вас не выдавишь. До сих пор не сказали, куда едете.

Сказать или скрыть? И еще не решив твердо, неожиданно для себя выговорил:

- В Москву.
- В Мо-оскву?

Розовый приоткрыл глаза, перегнулся к Василию Ивановичу и зачем-то перешел на шепот.

- В командировку опять?
- В командировку.
- А тот, в шапке, тоже с вами?
- Какой? Ах, этот, мастеровой? Нет.
- Слава богу. Он мне очень не понравился. Ну, расскажите же, расскажите!

Нетерпеливо заерзал на месте Розовый.

Василий Иванович заговорил. Он сам не ожидал этого. С ним в этот день творилось странное. От солнца ли или от полубессонной и бредовой ночи, но все вокруг сегодня ему восторженно нравилось. Мастеровой, простоволосая Маруся, бак с кипятком, стук колес, холод, Розовый, иней — все и всё казалось прекрасным.

Случилось это так. В купе постучали. Розовый почему-то растерялся и даже покраснел. Казалось, он ожидал появления чекистов. Василий Иванович сам открыл задвижку, и в купе вошла дама.

— Простите. Я думала — вы один.

— Присаживайтесь. Знакомьтесь. Начинающий ученый... — Запнулся. Можно ли произносить фамилию? И Розовый проглотил ее. А даму назвал ясно: Кульчицкая Елена Георгиевна.

— Кульчицкая, вы, конечно, слышали? Наша гордость.

Василий Иванович ничего не слышал. Он видел. Видел глаза любопытствующие, кожу смуглую, взлетевшую бровь, родинку на подбородке, милый взъерошенный мех вокруг шеи, худобу, не простую — птичью, ласточкину. Ласточка, почти стрела, носится, по сердцам острым крылом задевает. И холodem от нее веет, морозом, ледяными, снежными кристаллами. Зимняя ласточка. Каких не бывает.

Села. Улыбнулась.

— Я помешала?

— О, нет, нет, нет, мы... — Василий Иванович заторопился, — мы говорили...

— О чем?

— О... судьбах.

И вовсе они не о судьбах говорили, а говорил Розовый о себе.

— О судьбах?

Опять бровь крылом взлетела.

— Ну да, о судьбах. Мы говорили о том, что человек с двумя судьбами рождается. Одна — задуманная творцом, другая — свершающаяся в жизни. — Розовый глаза раскрыл и потер лоб недоуменно.

— И что же? — спросила дама.

— И вот для одних судьба первая, главная, остается скрытой до могилы. Изживают они свою вторую, ненужную, суетную. А другие, меньшинство, к тайной, скрытой, задуманной судьбе прислушиваются, чуют ее и совершают безумства, подвиги, преступления. Поэты, герои, убийцы, предатели...

Сверкнула золотая пломба, и смех неудержный, веселый, из самого нутра вырвавшийся, зазвенел, оглушил и вдруг оборвался. Увидел Розовый, как поморщилась дама и как мучительно заулыбался умолкший.

— Василий Иванович, миленький, вы не обижайтесь. Я не над вами смеялся. То есть над вами, но не обидно. Просто увидел отчетливо, как не похожи мы. Вот вы злодея, убийцу, предателя...

Но Василий Иванович не обиделся. Он прервал Розового. Слова рвались наружу неуклюжие, громоздкие, не укладывающиеся рядом, торопливые.

— Вы не поняли. Не то, не то, не то хотел сказать я. В отдельных жизнях и у народов тоже бывает такое, когда он, человек, или — он, народ, сказать про себя может — началось. Главное началось. До этого не жил, а предчувствовал жизнь. До этого кануны, а теперь — свершения. До этого глаза чуть открытые, щелкой на мир, а теперь настезь, в упор и прямо в солнце. До этого дорог тысячи и все чужие, а тут для каждого своя. До этого и люди, и вещи — ну как воздух,

что постоянно одним давлением неприметно давит, а тут — все по-новому, словно весь мир первозданным на тебя навалился. До этого все цвета в мире тусклы, а здесь ни одного полутона — словно жизнь, как луч солнечный, через призму пропустили и она радугой засверкала. Ну, как в детстве: и солнце, и небо, и дождь, и города, и каждый встречный, все, все — становится важным, громадным, в глаза лезущим, в сердце вонзающимся. Отсюда-то наша страсть к кровопролитиям, Аттилам, войнам, революциям... Понимаете? понимаете?

Розовый, улыбаясь, качал головой.

— Не понимаю и не пойму. Пугачев, Разин, Аттила — Богом задуманы? Так, что ли?

— Нет, нет. Ах, господи! Не в Боге тут дело. Может, дьяволом. Но горят-то они огнем последним. Ни стихов им не нужно, ни песен, ни романов, ни театра, ни всего искусства. Они сами стихи, сами песня, сами роман, сами искусство. Потом о них писать и петь начнут, а сами они ни в чем не нуждаются, кроме огня собственного. Их огнем питаться будут потомки. Вычеркните из истории войны, революции, Пугачевых, бунтарей и завоевателей — захватчиков и защитников — о чем писать тогда, что любить? Понимаете?

Он посмотрел беспомощно сперва на Розового, потом на даму. Розовый продолжал улыбаться, а дама — он не ошибся, нет, не ошибся, — дама поняла. Обрадовавшись и осмелев, он заторопился дальше:

— Я ведь не фантазирую. Я по себе сужу, по тому, что со мной произошло. Не знаю, было у вас такое раньше, — у меня вот всегда было. Главное что-то прийти должно, а пока неглавное, преддверие, сплошное «пока». И вот «пока» кончилось. Началось подлинное, сущее, бытие, что ли, не знаю, как сказать. Вот жена моя, любил я ее раньше? Скажете — да? Нет, нет, нет. Только теперь полюбил. В вечность, в бесконечность, до смерти и после смерти. Только теперь чувствую ее постоянно рядом, не рядом — внутри, в себе, вокруг, всюду.

Он даже задыхаться стал, так торопился. А Розовый:

— Итак, по-вашему, Василий Иванович, чтобы полюбить по-настоящему и чтобы землю почувствовать, нужна революция, или война, или еще что, кровавое и разрушительное?

Говорит и пломбой добродушно посверкивает.

— Да нет же. Это для слабых нужно. Это и без революций с другими случается. А иным и революция не поможет. Дети, не все правда, и поэты рождаются такими. А иные, и революцию пережив, без этого проживут.

Неожиданно замолк, вжался в угол, сгас, озноб кончился. Теперь говорил Розовый. Но он уже не слушал, а считал глазами мелькавшие за окном телеграфные столбы. Дама поглядывала на него с любопытством.

В Белгороде остановился у двух старушек. Розовый ему адрес дал. Старушки Розовому троюродными тетками приходились. Добрые, маленькие, седенькие и друг на друга похожи, как двойняшки. А у старушек немецкий офицер стоял. Веселый, и к хозяйкам почтительный, и на скрипке играл, соседок всех с ума сводил белизной волос и румянцем нежным, а хозяек почтительностью купил и тем, что на столе у него имелась родителей карточка.

У немца был вестовой Фриц, рыжий, большой, костистый. Кухарка его Хрыцом звала, а другие просто — Грицко. Понравилось Фрицу в России, а больше всего понравились ему самовары. Самовар старушек Фриц начистил так, что солнцем сверкал он. И если нужно было поставить самовар, обращались к Фрицу. Деловито наливал он воду, накладывал в трубу самоварную жару из плиты и садился рядом на табуретку. Запоем золотой — заулыбается влюбленно рыжий. И не отойдет, пока не зафырчит кипящая вода.

Переменилась погода. День и ночь лило из низких густых туч. Размякла земля, дома и заборы почернели, хлюпали ноги по грязи, по необъятным лужам, от дождя ошетилившимся, по склизким камням. Редкие прохожие, подняв воротники, торопились по домам, по норам. И только на базарной площади несколько торговков, себя и корзины со снедью рогожей и мешками накрывши, дежурили отважно.

Голова разрывалась у Василия Ивановича. Второй день стучали в висках молоточки. И каждый удар — боль, и каждый удар где-то в затылке еще отдается. И ноги ноют нудно, мед-

ленно, будто сверлом кто изнутри, сквозь колени. Купил пять порошков аспирина у прыщеватого аптекаря. Мелочи лезли в глаза. У аптекаря запомнил ногти черные и еще галстук зеленый в крапинку. Проходя по площади, вспомнил, что нужно съестного на дорогу купить. Подошел к бабе жирной. Снегирем насупленным сидела баба под мокрой рогожей. Когда раскрыла корзину — увидел скрюченные, противные колбасы, от жира блестящие, куски розового сала, как снегом солью пересыпанные, и груды яиц, почему-то коричневых, словно выкрашенных кофеом.

То, что было вчера, почти стерлось. Ночлег в Харькове у Розового, уговоры остаться, уговоры температуру измерить, уговоры пойти к доктору. Кажется, всю дорогу до Белгорода проспал в коридоре. А та дама оказалась шантанной певицей. И в Харькове все ее звали, Розовый сказал, просто Леночкой. В толпе белгородской на станции вздрогнул. Почудилось: метнулась голова в ушастой шапке. Верно, только почудилось.

— Чего ж, паныч, возьмете? Сало чи яйца!

Опомнился. Купил и сало, и яйца, и колбасу, изогнувшуюся буквой С. Вспомнил, что не справился о поезде, и, хотя каждый шаг был труден, побрел к вокзалу. Надо было ехать, сегодня же ехать, иначе застрянет здесь, в Белгороде, маленьком, чужом, далеко.

Он чувствовал, что болезнь побеждает. Болезнь тяжкая, может быть, тиф, вернее всего, что тиф. Тифа не боялся. Слишком ослаб и устал. Болезнь представлялась ему длительным покоем, которого жаждал. Только бы добраться до московской берлоги, к Наташе.

Рассеянно брел по лужам, вытирая рукавом мокрые, шершавые заборы. Потонувшая в грязи улица не кончалась. Каждый дом походил на другой, каждый забор продолжал предыдущий. Его мучило от этого однообразия. Он не смотрел по сторонам, торопился, вжав голову в плечи, чувствуя временами, как холодной струйкой по хребту пробегала дрожь.

Улицу, медленно переваливаясь, торжественно переходили гуси. Он не заметил их, испугнул и от пронзительного гогота поднял голову. Перед ним сплошной лужей предстала площадь, а за нею скучный и серый фасад вокзала.

* * *

У входа топтался немецкий патруль в тяжелых шинелях. Голубоглазые солдаты скучающе следили за входящими и выходящими. Один из них, бородатый, с нашивками, говорил с толстым евреем в котелке. Еврей быстро лопотал по-немецки, довольно озираясь по сторонам, видно гордясь и тем, что говорит не по-русски, и тем, что его собеседник военный. Василий Иванович глянул с неприязнью на солдат, на бороду, на сдвинутый набок котелок, на синекурчавый затылок и вошел внутрь. Пахнуло табаком, кислятиной и свежей краской. Оглянулся, сделал два шага и остолбенел: к нему навстречу, радостно улыбаясь, шел тот — ушастый.

— Вот где встретиться пришлось, господин! Вы, значит, дальше едете? К границе? А я решил к мамаше в Обоянь заглянуть. Намучился, беда! Еле пропуска достал. Боюсь, туда заедешь, а обратно не пустят. Вы куда же путь держите?

От неожиданности, от нездоровья — растерялся.

— Я, я... никуда не еду. Я здесь остаюсь.

— Вот оно что. Уж я-то обрадовался. Думал, попутчик есть — все веселее. На вокзал, должно, по другому делу забрели?

— Да, да, по другому. Я приятеля из Харькова жду.

Сказал и глаза опустил, потому что тот, ушастый, зубы насмешливо скалил и глаза вострые пялил прямо в упор. И не выдержав, для себя самого неожиданно, руку тому протянул:

— До свиданья. Я тороплюсь.

Обратно, к двери, быстро, быстро и дальше. Когда вернулся домой с покупками, старушки и румяный офицер сидели за чайным столом. Одна из старушек вязала, быстро костяными спицами перебирая, другая пасьянс веером раскладывала. Офицер немецкую газету читал, хмурился: который день с родины дурные вести. В углу, у рояля, попугай на высоком постаменте-палке почесывал тупым клювом свисшее крыло красно-зеленое. А из-под крыла когтистая лапа глядела — стояла на одной.

Заулыбались старушки, закивали обе сразу и обе сразу одним голосом:

— А мы вас ждали, ждали. Чай остыл совсем.

Он потерял чувство времени. Не было ни вчера, ни сегодня — слилось. После встречи с тем на вокзале решил ехать через границу кружным путем на лошадях. Офицер немецкий, что у старушек стоял, узнав, куда он едет, надавал ему документов, пропусков, советов. Пропуска взял, советы выслушал, но ничего из того, что сказал офицер, не выполнил — забл.

Все обошлось. По деревням встречали хорошо — он щедро платил, лошадей давали сразу, везли какими-то окольными путями, описывая осьмерки. Где-то отдыхал, где-то ночевал. В одной деревне обыски шли, кого-то ловили, хозяева его прятали в клуню.

От растущего недомогания чувство опасности исчезло. Он вверился мужикам — они его возили, кормили, прятали. Мелочи для него вырастали в значительное, крупное ускользало. Дождь, скрипучее колесо, плач ребенка за стеной беспокоили больше, чем возможность ареста и расстрела.

В последний ночлег свой, уже по ту сторону границы, он ночь пробредил в грязной избе, изнывая от духоты, жары и навязчивых видений. Причиной послужил рассказ бабы-хозяйки. Рассказала она ему о какой-то солдатке — Дарьюшке, с дальних хуторов. Муж солдатки три года без вести пропал. Земляки с позиций писали, что не то мертвого, не то раненого его в поле оставили. Горевала солдатка, не знала, за вдову ли, за жену ли себя почитать, за здоровье ли, за упокой ли мужа молиться. А тут австрийцев пленных пригнали, в работники пораздавали их. И Дарьюшка себе одного выхлопотала, здоровенного, пухлого, белого молодца. Немного времени прошло — понесла от него Дарьюшка. Заважничал австрияк, себя за хозяина почитать стал. А баба в нем души не чаяла. И вот третьего дня под вечер к Дарье кто-то постучался. Открыла Дарья дверь, глянула и замертво на пол грохнулась. Муж, страшный такой, другому и не узнать. Глаз выбит, через весь лоб шрам, и нос на сторону. Тут у них и пошла заваруха. Дарья, в кровь избитая, с печи подняться не может, а австрияк, как мужа увидел, через плетень прыг и сгас. Только трубку свою, кишку длинную, в сарае позабыл.

Отчего-то запал этот рассказ. И всю ночь чудилось ему: то он муж солдатки, то он австрияк. То он соперника с остер-

венением душит, то наоборот, на него, на любовника, муж бросается, страшный муж, одноглазый, рубец кровавый все лицо прорезал, нос на сторону... А баба рядом, ожидает, кто осилит, кому достанется. До утра пробредил...

Пыль водяная нависла с невидимого черного неба до черной земли. Размокла земля, и колеса с хлюпаньем и чавканьем погружались в липкое тесто. Качалась телега, как лодка в мертвую зыбь.

Зарывшись в солому, накрывшись поверх головы полостью, не спал. Пахло прелой соломой и шерстью, шею давил мешок с овсом, застывшие и отекие ноги ныли. Повернуться бы! Но такая лень, такое желание покоя, что не двинулся. Бог с ними! Пусть отнимаются.

Так бы долго ехать — меж теми и другими, меж своими и не-своими, меж двумя Россиями. Жарко. Душно. Сдернул с головы полость. Защекотали мелкие капли сухой и горячий лоб. После тепла резнуло сырым холодом. Откуда-то шел мутный свет, серый, мышинный, не свет — сумрак предрасветный.

— Неужели ночь прошла? — подумал. И хотя несносно длинна она была, рассвет показался неожиданным. Радостно дернулся, повернулся, привстал. Отекие ноги занули, в них заиграли искорки, по спине прошел холодок.

— Скоро станция?

— Вона. Огни горят. С версту, не боле.

Зашевелился зипун, щелкнул языком, зачмокал губами, вяло повернул в воздухе невидимым кнутом.

— Эй, вы, сони!

Закачало сильнее.

Третья от границы станция. И все не так, как там, и все не похоже. Воздух другой, земля другая, люди другие, небо другое. В чем другое? Слов не было. Сирость какая-то, обреченность. В чем же, в чем? — Так думал, вжавшись в угол маленькой станционной комнатушки. Несколько баб и мужиков с мешками дремали, навалившись друг на друга. За столом на скамье сидела высокая, худая, зеленая дама с высокой, еще более худой и зеленой барышней. И хоть обе в платочках, бы-

ло ясно — дама и барышня. Обе не спали, обе не говорили, обе сидели прямо, сложив руки на коленях.

В разбитое окно полз молочный, тусклый, матовый свет. Два дня как Василий Иванович держался на аспирине. Но порошки кончились. Его пробирала дрожь. Нутряным холодком подкрадывалась и вдруг схватывала так, что начинал он по-собачьи лязгать зубами. Все силы напрягал, чтобы зубы стиснуть, — не мог. А даст волю челюсти, начнет она прыгать и лязгать. Не раз дама с барышней на него глаза скашивали — не безумный ли.

Проверяли документы. Двое. Один латыш или эстонец — светловолосый, матовый, пухлый, с пустыми рыбьими глазами, другой — матрос русский, вихрастый, коренастый, задорный. Тормошили, ругались, ощупывали мешки, искали сахар и оружие. Долго стояли над сонным, рассматривая подложный документ его. Повертели в руках, что-то спросили, он вяло ответил, вернули, ничего не сказав, — он значился врачом московского госпиталя, в отпуску. Поверили.

Только к вечеру он очутился в вагоне. Пассажиров было мало, говорили — в Курске понасядут. В отделении III кл. сидело лишь трое: он и зеленая дама с дочерью. Устроился на верхней полке. Когда взбирался, почувствовал, как слаб. Словно тяжелый неуклюжий мешок приходилось втаскивать детскими, слабыми руками. Забрался, улегся, накрылся, сжался и, когда поезд после часовой стоянки дернул и застучал колесами, почувствовал то же, что когда-то давно в детстве в начале скарлатины. Весь мир чудесным образом сузился. Тогда, во время скарлатины, он ограничивался коричневым мягким одеялом с прямоугольными фигурами по краям, зелеными ядовитыми обоями с разводами винограда, сияющей кафельной печкой, плюшевым длинноухим зайцем, волшебной разноцветной аптечной коробочкой. Сейчас внешний мир это — закапанный стеарином фонарь, стенные дощечки, выкрашенные под дуб, ручка автоматического тормоза у двери и перед самыми глазами, в стенке ножом выковырянная, надпись: «Маруся. Моя Любовь. Май 11 год». И еще колеса: «Я тебе дам, я тебе дам, я тебе дам».

А снизу доносился чуть слышный говорок дамы с барышней. Стоял поезд — молчали, пошел поезд — заговорили.

О чем? Вслушивался, но разобрать ничего не мог. Тихо говорили и словно не по-русски. Долго вслушивался, устал вслушиваться, уснул. И не видел, как поднялась старая дама, долго смотрела на него, спящего, и, потрогав осторожно его свесившуюся руку, тихо сказала другой:

— Ardent*.

И видел он пруд — синий, как Женевское озеро на открытках. А он на берегу песчаном. Горяч песок, жарок воздух, солнце пламенно, и уж не вмоготу ему. Дышать нечем, как пергамент кожа обсохла, от жары трескается, язык опух, весь рот занял. В пруд бы броситься, выкупаться, да нельзя. Почему, не знает хорошо, но чувствует, что погибнет, если воды коснется. А глаз оторвать от синей глади не может. Вода прозрачная — видно, как рыбы плавают лениво, окуни головастые, глазастые, рты разевают.

Все жарче, все труднее дышать, как у загнанной лошади подымается грудь, но вместо воздуха песок — не песок, вата — не вата в горло лезет. Вот уже задыхаться начал и... не думая больше о гибели, разбежался — и в воду! А вода-то не холодная, а кипяток, и вместо рыб — две руки волосатые к нему тянутся и образина красная в угрях. Он от нее, образина за ним, он от нее, образина рукой лохматой хватя его за ногу. Погиб! Дернулся из всех сил — проснулся.

Стоит поезд. Курск. Топочут входящие. Привычным движением нащупал пакет и папиросу в кармане — целы.

Он видел, как заполнилось вновь прибывшими отделение. Дам заставили отодвинуться к самому окну. Три бабы, два мужика, студент, старик в чиновничьей фуражке без кокарды и несколько парней в солдатских шинелях никак не могли разместиться. Взлетали чьи-то мешки и узлы. Чья-то серая шершавая спина утвердилась перед его носом. Он с тоскою смотрел, как эта спина все глубже и глубже усаживаясь, отодвигала его вплотную к стенке. Хотел вытянуть ноги и не мог — в ногах лежал туго набитый исполинский узел. Растущее беспокойство охватило его. Ему казалось, что шершавая спина мешает доступу свежего воздуха. И чем дальше, тем сильнее было это чувство. Он дышал все поры-

* Горячий (англ.).

вистее, все громче, чудилось ему, стучало сердце, все острее пульсировали в висках молоточки. И вот не только он дышит, не только его грудь вздымается, а все вокруг задышало: стены, фонарь, мешки, мужики, бабы и спина, что надела на него. Порывисто задышит, и все вокруг задышат порывисто, сделает несколько глубоких вдохов, и одновременно со всех сторон несутся вздохи. Сначала только дышали. Потом отовсюду застучали сердца. Из мешка, лежавшего в ногах, застучало первое, и мгновенно из всех углов, из всех мешков, снизу, сверху, отовсюду откликнулись и забились: тук, тук, тук.

«Ах, господи, это воздух отлетел! — подумал он. — Все задохнутся. Нужно окно разбить».

Хотел поднять руку, но рука не двигалась, хотел повернуть голову к окну — голова осталась неподвижной. Он застонал и забылся.

Проверяли билеты, проверяли документы, проверяли вещи — он ничего не слышал. Его не трогали. Пылающее кумачом лицо, приоткрытые сухие губы, громкий горячий дых — для всех было ясно: тифозный. Спина, придавившая его к стенке, выругавшись, перебралась вниз. Думали было высидеть.

— Всех заразит! Ему бы дома отлеживаться. И как таких в дорогу пускают!

Поговорили. Поругались. Потом привыкли и перестали обращать внимание. Только седая дама несколько раз к нему наклонялась, давала пить из белой кружки воду с каким-то порошком. Он покорно пил.

Стемнело. Кто-то вставил свечку в фонарь (казенных не полагалось). Гудел ветер в вентиляторе. Стучали колеса. Колыхалось пламя свечи, и прыгали по стенам туманные тени. Навалились плечом к плечу, где мешок, где человек, не разобрать. Только дама с барышней уснули, как сидели, прямо, лишь головой чуть откинувшись назад. Мужики, бабы, солдаты — храпели, бормотали сквозь сон, губами чмокали.

Открыл глаза. Сразу не понял, где и что. Ослепляла разгоревшаяся костром свеча. Снизу неся звериный храп. Дребезжало стекло, и стучали колеса.

Поднял голову. Порошки, что дала дама, подействовали. Голова не болела, в висках не стучало, но сладкая слабость пронизывала каждый мускул. От слабости, верно, к горлу подступала тошнота. Выше, выше, еще минута — и будет поздно. Напрягая последние силы, сдерживая тошноту, он спустил ноги и грузно спрыгнул, свалился на что-то мягкое. Мягкое, перестав храпеть, бормотало сквозь сон ругательства.

Ничего не слыша, торопясь к выходу, наступая на чьи-то ноги и тела, дрожащими руками нащупывая стенку, он продирался вперед.

Темный коридор, опять чьи-то ноги, мешки, дальше, дальше, скорее. Дверь на площадку. Мокрая от пота рука, долго беспомощно шаря, не может нащупать дверной ручки. Вот нащупал, нажал, дернул — площадка. Ринулся к противоположной двери — не поддается — рванул. Пахнуло дымным ветром, загремели колеса:

«Та-та-там, та-та-там, та-та-там».

В последнее мгновение успел свесить над звенящей и лязгающей сталью голову и, судорожно уцепившись за какую-то ледяную, стальную перекладину, замер. Из горла, как из прорвавшегося нарыва, хлынула рвота...

...Отвалился. Прислонился к стенке, тяжело дыша. Из открытой двери в лицо, вместе с дымом и грохотом, ударили холодные дождевые капли. Где-то внутри пробежали последние слабые судороги. Капли дождя и пота стекали струйками со лба. Но голова прояснилась, бредовой туман разошелся. Вспомнил ясно и отчетливо, где он и что он. Москва, пакет, адреса. Еще дрожащей рукой нащупал карманы — целы. Дыша все глубже, все спокойнее, он уже думал возвращаться обратно в месиво храпящих тел, как вдруг дверь из соседнего вагона хлопнула и чья-то показавшаяся ему громадной тень, шагнув через переход, сразу подошла вплотную. Ударил в нос густой винный дух. Тень шла ощупью. Мокрая рука ее больно ткнулась в лицо Василия Ивановича. Он вскрикнул, рука отдернулась.

— Кто здесь, мать твою перетак, ночью шляется?

От хриплого возгласа Василий Иванович содрогнулся. Знакомый, он не сразу вспомнил чей, ужасный голос. А тень, навалившись на него боком, уже чиркала спичкой.

— А, черррт! Отсырели, что ли?

И одновременно со вспыхнувшей спичкой, словно током прорезало, — вспомнил. Вжался в стенку и начал медленно оседать, опускаться, заслоняя лицо ладонями от горящей синим огоньком спички и от того. А тот, шапка с ушами, прищурившись, всматривался, секунду одну. Потом глаза у того расширились, раскрылись по-кошачьи, губы задергались не то улыбкой, не то гримасой, хищный, радостный огонек в зрачках заиграл.

— Ба-а! Вот ты где?! Па-па-ался! Пять дней за тобой охочусь!

Задуло спичку. В тьму окунулись оба. Оба паровиками задышали. Рука ухастого нащупала руку Василия Ивановича, стиснула, клешней обвилась — мертвая хватка.

— Не уйдешь, кадет проклятый! В Белгород едешь? По делам семейным?! На вокзале-то приятеля встречал?! У-у-у!!

Грохот, лязг, скрежет.

Все грузнее наваливался ухастый. Все ниже оседал, размякал Василий Иванович. Секунда — из тех, что века, — и вдруг...

Не мог понять тогда, не мог понять и потом, как случилось это «вдруг». Что-то, хлынув в голову, поплыло перед глазами. Не ударами, взрывами загремело сердце, и уж не Василий Иванович, а кто-то другой, проснувшийся в нем, изогнулся, напряжился и зубами, ногтями вонзившись, рывками извиваясь, толкал, кусал, рвал. Комком слились, где один, где другой — не разобрать. Раз себя куснул за руку. К двери открытой его проталкивал. Вот так, уже в дверях, еще одно напряжение. Но сузилась дверь, словно щелью обернулась. Втискивает, втискивает, никак вдавить его в дверь не может. Понял: молнией блеснуло — подножку дать. Изловчился, ногою — раз! Покачнулся тот. Еще, еще. Одну руку высвободил и за перекладину знакомую, вспомнил ее, уцепился. Последний толчок всем телом. Ага! Двойной крик — один ужаса смертного, другой победный, ликующий — жизнь!

Опомнился, когда струйка воды с крыши потекла ему на шею. Двумя руками судорожно держался за перекладину. Перекладина спасла. Не будь ее — покатались бы вместе. Под ногами грохотали колеса. Опомнившись, бросился с перехода на площадку, захлопнул дверь и, шаря в темноте рука-

ми, заторопился обратно, с каждым шагом чувствуя, как обес-
силивает.

Тела, узлы, мешки, руки, ноги, храп, духота. Вот его полка.
Нашупал. Наступил на чей-то мешок, потом ноги, навалился
грудью на полку и уж из последних сил вполз, стукнувшись
лбом о какой-то крюк. Повернулся ничком, хотел что-то сде-
лать, что-то вспомнить, но ничего не сделал, ничего не
вспомнил — поплыл.

За окном замелькали огни. Поезд подъезжал к большой
станции.

Марина Цветаева

ОКТАБРЬ В ВАГОНЕ

(*Записи тех дней*)

Двое с половиной суток ни куска, ни глотка. (Горло сжато.) Солдаты приносят газеты — на розовой бумаге. Кремль и все памятники взорваны. 56-ой полк. Взорваны здания с юнкерами и офицерами, отказавшимися сдаться. 16 000 убитых. На следующей станции — уже 25 000. Молчу. Курю. Спутники, один за другим, садятся в обратные поезда.

Сон (2-е ноября 1917 г., в ночь).

Спасаемся. Из подвала человек с винтовкой. Пустой рукой целуюсь. — Опускает. — Солнечный день. Влезаем на какие-то обломки. С<ережа> говорит о Владивостоке. Едем в экипаже по развалинам. Человек с серной кислотой.

ПИСЬМО В ТЕТРАДКУ

Если Вы живы, если мне суждено еще раз с Вами увидеться — слушайте: вчера, подъезжая к Харькову, прочла «Южный Край». 9 000 убитых. Я не могу Вам рассказать этой ночи, потому что она *не кончилась*. Сейчас серое утро. Я в коридоре. Поймите! Я еду и пишу Вам и не знаю сейчас — но тут следуют слова, которых я не могу написать.

Подъезжаем к Орлу. Я боюсь писать Вам, как мне хочется, потому что расплчусь. Все это страшный сон. Стараюсь спать. Я не знаю, как Вам писать. Когда я Вам пишу, Вы — есть, раз я Вам пишу! А потом — ах! — 56 запасной полк, Кремль. (Помните те огромные ключи, которыми Вы на

ночь запирали ворота?) А главное, главное, главное — Вы, Вы сам, Вы с Вашим инстинктом самоистребления. Разве Вы можете сидеть дома? Если бы всё остались, Вы бы один пошли. Потому что Вы безупречны. Потому что Вы не можете, чтобы убивали других. Потому что Вы лев, отдающий львиную долю: жизнь — всем другим, зайцам и лисам. Потому что Вы беззаветны и самоохраной брезгуете, потому что «я» для Вас не важно, потому что я все это с первого часа знала!

Если Бог сделает это чудо — оставит Вас в живых, я буду ходить за Вами как собака.

Известия неопределенны, не знаю, чему верить. Читаю про Кремль, Тверскую, Арбат, «Метрополь», Вознесенскую площадь, про горы трупов. В <социал>-р<еволюцион-ной> газете «Курская Жизнь» от вчерашнего дня (1-го) — что началось разоружение. Другие (сегодняшние) пишут о бое. Я сейчас не даю себе воли писать, но тысячи раз видела, как я вхожу в дом. Можно ли будет проникнуть в город?

Скоро Орел. Сейчас около 2 часов дня. В Москве будем в 2 часа ночи. А если я войду в дом — и никого нет, ни души? Где мне искать Вас? Может быть, и дома уже нет? У меня все время чувство: это страшный сон. Я все жду, что вот-вот что-то случится, и не было ни газет, ничего. *Что это мне снится, что я фроснусь.*

Горло сжато, точно пальцами. Все время оттягиваю, растягиваю ворот. Сереженька.

Я написала Ваше имя и не могу писать дальше.

Трое суток — ни с кем ни звука. Только с солдатами, купить газет. (Страшные розовые листки, зловещие. Театральные афиши смерти. Нет, Москва окрасила! Говорят, нет бумаги. Была, да вся вышла. Кому — так, кому — знак.)

Кто-то, наконец: «Да что с вами, барышня? Вы за всю дорожку куска хлеба не съели, с самой Лозовой с вами еду. Все смотрю и думаю: когда же наша барышня кушать начнут? Думаю, за хлебом, нет — опять в книжку писать. Вы что ж, к экзамену какому?»

Я, смутно: «Да».

Говорящий — мастеровой, чёрный, глаза, как угли, чернородый, что-то от ласкового Пугачева. Жутковат и приятен. Беседуем. Жалуется на сыновей: «Новой жизнью заболели, коростой этой. Вы, барышня, человек молодой, пожалуй и осудите, а по мне — вот всё эти отребья красные да свободы похабные — не что иное будет, как смущение Антихристово. Князь он и власть великую имеет, только ждал до поры до часу, силу копил. Приедешь в деревню, — жизнь-то серая, баба-то сивая. «Черт, шут»... Гляди, кочерыжками закидает. А какой он тебе шут, когда он князь рожденный, свет сотворенный. На него не с кочерыжками надо, а с легионами ангельскими...»

Подсаживается толстый военный: круглое лицо, усы, лет пятьдесят, пошловат, фатоват. — «У меня сын в 56-м полку! Ужасно беспокоюсь. Вдруг, думаю, нелегкая понесла». (Почему-то сразу успокаиваюсь...) «Впрочем, он у меня не дурак: охота самому в пекло лезть!» (Успокоение мгновенно проходит...) «Он по специальности инженер, а мосты, знаете ли, все равно для кого строить: царю ли, республике ли, — лишь бы выдержали!»

Я, не выдерживая: «А у меня муж в 56-м». — «Му-уж? Вы заму-жем? Скажите! Никогда бы не подумал! Я думал барышня, гимназию кончаете. Стало быть, в 56-м? Вы, верно, тоже очень беспокоитесь?» — «Не знаю, как доеду». — «Доедете! И свидитесь! Да помилуйте, имея такую жену — идти под пули! Ваш супруг себе не враг! Он, верно, тоже очень молод?» — «Двадцать три». — «Ну, видите! А вы еще волнуетесь! Да будь мне двадцать три года и имей я такую жену... Да я и в свои пятьдесят три года и имея вовсе не такую жену...» (Я, мысленно: «в том-то и дело!») Но почему-то, все-таки, явно сознавая бессмысленность, успокаиваюсь.)

Сговариваемся с мастеровым ехать с вокзала вместе. И хотя нам вовсе не по дороге: ему на Таганку, мне на Поварскую, продолжаю на этом строить: отсрочку следующего получаса. (Через полчаса Москва.) Мастеровой — оплот, и почему-то мне чудится, что он *все знает*, больше — что он сам из князевой рати (недаром Пугачев!) и именно *оттого*, что *враг* меня (С<ережу>) спасет. — Уже спас. — И что нарочно сел в этот вагон — оградить и обнадёжить — и Лозовая ни

при чем, мог бы просто в окне появиться, на полном ходу, среди степи. И что сейчас в Москве на вокзале рассыпется в прах.

Десять минут до Москвы. Уже чуть-чуть светлеет, — или просто небо? Глаза к темноте привыкли? Боюсь дороги, часа на извозчике, надвигающегося дома (смерти, ибо — если убит, умру). Боюсь услышать.

Москва. Черно. В город можно с пропуском. У меня есть, совсем другой, но все равно. (На обратный проезд в Феодосию: жена прапорщика.) Беру извозчика. Мастеровой, конечно, канул. Еду. Извозчик рассказывает, я отсутствую, мостовая подбрасывает. Три раза подходят люди с фонарями. — Пропуск! — Протягиваю. Отдают не глядя. Первый звон. Около половины шестого. Чуть светлеет. (Или кажется?) Пустые улицы, пустующие. Дороги не узнаю, не знаю (везет объездом), чувство, что все время влево, как иногда мысль, в мозгу. Куда-то *сквозь*, и почему-то пахнет сеном. (А может быть, я думаю, что это — Сенная, и потому — сено?) Заставы чуть громыахают: кто-то не сдается.

Ни разу — о детях. Если С<ережи> нет, нет и меня, значит, нет и их. Аля без меня жить не будет, не захочет, не сможет. Как я без С<ережи>.

Церковь Бориса и Глеба. Наша, Поварская*. Сворачиваем в переулочек — наш, Борисоглебский. Белый дом Епархиального училища, я его всегда называла «*voliere*»**: сквозная галерея и детские голоса. А налево тот, зеленый, старинный, навывтяжку (градоначальник жил и городские стояли). И еще один. И наш.

Крыльцо против двух деревьев. Схожу. Снимаю вещи. Отделившись от ворот, двое в полувоенном. Подходят. «Мы домовая охрана. Что вам угодно?» — «Я такая-то и здесь живу». — «Никого по ночам пускать не велено». — «Тогда позовите, пожалуйста, прислугу. Из третьей квартиры». (Мысль: сейчас, сейчас, сейчас скажут. Они здесь живут и все знают.)

* Есть еще на Арбатской площади. — *Примеч. авт.*

** Вольер (*фр.*).

«Мы вам не слуги». — «Я заплачу».

Идут. Жду. Не живу. Ноги, на которых стою, руки, которыми держу чемоданы (так и не спустила). И сердца не слышу. Если б не оклик извозчика, и не поняла бы, что долго, что чудовищно долго.

— Да что ж, барышня, отпустите или нет? Мне еще на Покровскую надо.

— Прибавлю.

Тихий ужас, что, вот, уедет: в нем моя последняя жизнь, последняя жизнь до... Однако, спустив вещи, раскрываю сумку: три, десять, двенадцать, семнадцать... нужно пятьдесят... Где же возьму, если...

Шаг. Звук сначала одной двери, потом другой. Сейчас откроется входная. Женщина, в платке, незнакомая.

Я, не давая сказать:

— Вы новая прислуга?

— Да.

— Барин убит?

— Жив.

— Ранен?

— Нет.

— То есть как? Где же он был все время?

— А в Александровском, с юнкерами, — уж мы страху натерпелись! Слава богу, Господь помиловал. Только отощали очень. И сейчас они в N-ском переулке, у знакомых. И детки там, и сестры бариновы... Все здоровы, благополучны, только вас ждут.

— У вас найдется 33 рубля, извозчику доплатить?

— А как же, как же, вот сейчас только вещи внесем.

Вносим вещи, отпускаем извозчика, Дуня берется меня проводить. Захватываю с собой один из двух крымских хлебов. Идем. Битая Поварская. Булыжники. Рытвины. Небо чуть светлеет. Колокола.

Заворачиваем в переулок. Семиэтажный дом. Звоню. Двое в шубах и шапках. При чиркающей спичке — блеск пенсне. Спичка прямо в лицо:

— Что вам нужно?

— Я только что из Крыма и хочу к своим.

— Да ведь это неслыханно, в 6 часов утра в дом врваться!

— Я хочу к своим.

— Успеете. Вот заходите к 9-ти часам, тогда посмотрим.

Тут вступается прислуга:

— Да что вы, господа, у них дети маленькие. Бог знает сколько не виделись. И я их очень хорошо знаю, оне личность вполне благонадежная, свой дом на Полянке.

— А все-таки мы вас впустить не можем.

Тут я, не выдерживая:

— А вы — кто?

— Мы домовая охрана.

— А я такая-то, жена своего мужа и мать своих детей. Пустите, я все равно войду.

И, наполовину пропущенная, наполовину прорвавшись — шести площадок как не бывало! — седьмая.

(Так это у меня и осталось, первое видение буржуазии в Революции: уши, прячущиеся в шапках, души, прячущиеся в шубах, головы, прячущиеся в шеях, глаза, прячущиеся в стеклах. Ослепительное — при вспыхивающей спичке — видение *шкурь*.)

Снизу голос прислуги: «Счастливо свидеться!»

Стучу. Открывают.

— Сережа спит? Где его комната?

И, через секунду, с порога:

— Сережа! Это я! Только что приехала. У вас внизу — ужасные мерзавцы. А юнкера все-таки победили! Да есть ли вы здесь или нет?

В комнате темно. И, удостоверившись:

— Ехала три дня. Привезла вам хлеб. Простите, что черствый. Матросы — ужасные мерзавцы! Познакомилась с Пугачевым. Сереженька, вы живы — и...

В вечер того же дня уезжаем: С<ережа>, его друг Г<оль>цев и я, в Крым.

КУСОЧЕК КРЫМА

Приезд в бешеную снеговую бурю в Коктебель. Седое море. Огромная, почти физически жгущая радость Макса В<олошина> при виде живого Сережи. Огромные белые хлеба.

Видение Макса В<олошина> на приступочке башни, с Тэном на коленях, жарящего лук. И пока лук жарится, чтение вслух, С<ереже> и мне завтрашних и послезавтрашних судеб России.

— А теперь, Сережа, будет то-то... Запомни.

И вкрадчиво, почти радуясь, как добрый колдун детям, картинку за картинкой — всю русскую Революцию на пять лет вперед: террор, гражданская война, расстрелы, заставы, Вандея, озверение, потеря лица, раскрепощенные духи стихий, кровь, кровь, кровь...

С Г<оль>цевым за хлебом.

Кофейня в Отузах. На стенах большевицкие воззвания. У столов длиннобородые татары. Как медленно пьют, как скупно говорят, как важно движутся. Для них время остановилось. XVII в. — XX в. И чашечки те же, синие, с каббалистическими знаками, без ручек. Большевизм? Марксизм?

Афиши, все горло прокричите! Какое нам дело до ваших машин, Лениных, Троцких, до ваших пролетариатов новорожденных, до ваших буржуазий разлагающихся... У нас ураза́, мулла, виноград, смутная память о какой-то великой царице... Вот эта кипящая смоль на дне золоченых чашечек...

Мы — вне, мы — над, мы давно. Вам — быть, мы — прошли. Мы — раз навсегда. Нас — нету.

Лунные сумерки. Мечеть. Возвращение коз. Девочка в малиновой, до полу, юбке. Кисеты. Старуха, выточенная, как кость. Изваянность древних рас.

В вагоне (обратный путь в Москву, 25-го ноября).

— Брешко-Брешковская — тоже сволочь! Сказала: надо воевать вам!

— Сгубить больше бедного класса и самим опять блаженствовать!

— Бедная матушка-Москва, весь фронт одевает-обувает! Мы Москвой не обижены! Больше все газеты смущают.

Большевики правильно говорят, не хотят кровь проливать, смотрят за делом.

В вагонном воздухе — топором — три слова: буржуи, юнкеря, кровососы.

— Чтоб им торговля была лучше!

— У нас молодая революция, а у них, во Франции, старая, лежала.

— Что крестьянин, что князь — шкура одинакая! (Я, мысленно: шкура-то именно и нет!)

— А офицер, товарищи, первый подлец. Я считаю: он самого низкого образования.

Против меня, на лавке, спит унылый, тощий, благоразумный Викжель.

Бог, товарищи, первый революционер!

Вы москвичка, вероятно? У нас на юге таких типов нет!
(Прапорщик из Керчи.)

Спор о табаке.

«Барышня, а курят! Оно, конечно, все люди равны, только все же барышне курить не годится. И голос от того табаку грубее, и запах изо рта мужской. Барышне конфетки надо сосать, духами прыскаться, чтоб дух нежный шел. А то кавалер с любезностями — прыг, а вы на него тем мужским духом — пых!

Мужеский пол мужского духа теперь не выносит. Как вы полагаете, а, барышня?»

Я: «Конечно, вы правы: привычка дурная!»

Другой солдат: «А я, то есть, товарищи, полагаю: женский пол тут ни при чем. Ведь в глотку тянешь, — а глотка у всех одинакая. Что табак, что хлеб. А кавалеры любить не будут,

оно, может, и лучше, мало ли нашего брата зря хвостячит. Лю-бовь! Кобеля, а не любовь! А полюбит кто — за душу, со всяким духом примет, даже сам крутить будет. Правильно говорю, а, барышня?»

Я: «Правильно, — мне муж всегда папиросы крутит. А сам не курит». (Вру.)

Мой защитник — другому: «Так они и не барышни вовсе! Вот, братец, маху дали! А что же, у вас муж из студентов, что ль?»

Я, памятуя предостережения: «Нет, вообще так...»

Другой, поясняя: «Своим капиталом, значит, живут».

Мой защитник: «К нему, стало быть, едете?»

Я: «Нет, за детьми, он в Крыму остался».

— «Что ж, дача там своя в Крыму?»

Я, спокойно: «Да, и дом в Москве». (Дачу выдумала.)

— Молчание. —

Мой защитник: «А смелая вы, погляжу, мадамочка! Да разве теперь в эдаких вещах признаются? Да теперь каждый рад не только дом, что ли, деньги — себя собственными руками со страху в землю закопать!»

Я: «Зачем самому? Придет время — другие закопают. А впрочем, это и раньше было: самозакапыватели: сами себя живьем в землю закапывали — для спасения души. А теперь для спасения тела».

— Смеются, смеюсь и я. —

Мой защитник: «А что ж, супруг-то ваш, не с простым народом, чай?»

Я: «Нет, он со *всем* народом».

— «Что-то не пойму».

Я: «Как Христос велел: ни бедного, мол, ни богатого: человеческая и во всех Христос».

Мой защитник, радостно: «То-то и оно! Не повинен ты в княжестве своем, и не повинен ты в низости своей»... (с некоторым подозрением:) «...А вы, барышня, не большевичка будете?»

Другой: «Какая большевичка, когда у них дом свой!»

Первый: «Ты не скажи, много промеж них образованного класса, — и дворяне тоже, и купцы. В большевики-то все боль-

ше господра идут». (Вглядываясь, неуверенно:) «И волоса стриженные».

Я: «Это теперь мода такая»*.

Внезапно ввязывается, верней — взрывается — матрос:

«И все это вы, товарищи, неверно рассуждаете, бессознательный элемент. Эти-то образованные, да дворяне, да юнкера проклятые всю Москву кровью залили! Кровососы! Сволочь!» (Ко мне:) «А вам, товарищ, совет: поменьше о Христах да дачах в Крыму вспоминать. Это время прошло».

Мой защитник, испуганно: «Да они по молодости... Да какие у них дачи, — так, должно, хибарка какая на трех ногах, вроде как у меня в деревне... (Примирающе:) — Вот и полсапожки плохонькие»...

Об этом матросе. Непрерывная матерщина. Другие (большевик!) молчат. Я, наконец, кротко: «Почему вы так ругаетесь? Неужели вам самому приятно?»

Матрос: «А я, товарищ, не ругаюсь, — это у меня поговорка такая».

Солдаты грохочут.

Я, созерцательно: «Плохая поговорка».

Этот же матрос, у открытого окна в Орле, нежнейшим голосом: «Воздушок какой!»

Аля (4 года).

— Марина, знаешь, у Пушкина не так сказано! У него сказано:

Пушки с пристани палят,
Кораблям пристать велят.

А надо:

Пушки — из дому палят!
(После восстания.)

* Мода пришла позже. Для России с сыпняком, т.е. в 19 г. — 20 г., для Запада, уж не знаю с чего и с чем, в 23 г. — 24 г. — *Примеч. авт.*

Молитва Али во время и с времен восстания:

«Спаси, Господи, и помилуй: Марину, Сережу, Ирину, Любу, Асю, Андрюшу, офицеров и не-офицеров, русских и не-русских, французских и не-французских, раненых и не-раненых, здоровых и не-здоровых — всех знакомых и не-знакомых».

Москва, октябрь — ноябрь 1917

ПИСЬМА С.ЭФРОНУ

1

*<В Коктебель>
28^{го} ноября 1917 г.*

Лев! Я вчера была у С.*. Он предлагает помочь в продаже дома. — Какому-нибудь *поляку*. Относительно другого, он говорит, чтобы я записала Вас кандидатом в какое-то эконом<ическое> общество. Хороший заработ<ок>. А пока — советует Вам еще отдохнуть с месяц. Насчет кандидатуры — я разузнаю и напишу Вам подробно. Вообще — по его словам — состояние Вашего и С<ергея> Ивановича здоровья совсем не опасно. Посоветуюсь еще с другими докторами. Он говорит вполне уверенно. Дуня не уезжает, и завтра я переезжаю домой. Доде передайте, что посылку ее я передала, но дядю не застала.

Целую. Обнадежьте С<ергея> И<вановича> насчет 9 лет службы. *Это серьезно.*

М.

P.S. У Додиного дяди — бородатая прислуга вроде Бабы-Яги. Очень милая. 100 лет.

Передайте это Доде.

Скоро пришлю продуктов и простыни.

<На полях:>

Напишите Тане письмо с благодарностью за меня и детей. Она мне *очень помогает*. Б<ольшой> Николо-Песковский, д<ом> 4, кв<артира> 5.

* Фамилия, за исключением первой буквы, вычеркнута.

<В Коктебель>
11²⁰ дек<абря> 1917 г.

Лёвашенька!

Завтра отправлю Вам деньги телеграфом. Вера дала Тане чек, и Таня достает мне — когда по 100 р., когда больше. Деньги Вы получите раньше этого письма.

Я думаю, Вам уже скоро можно будет возвращаться в М<оскву>, переждите еще несколько времени, это вернее. Конечно, я знаю, как это скучно — и хуже! — но я очень, очень прошу Вас.

Я не преуменьшаю Вашего душевного состояния, я всё знаю, но я так боюсь за Вас, тем более что в моем доме сейчас находится одна мерзость, которую сначала еще надо выселить. А до Рождества этого сделать не придется.

Конечно, Вы могли бы остановиться у Веры, но всё это так ненадежно!

Поживите еще в К<окте>беле, ну, немножечко. (Пишу в надежде, что Вы никуда не уехали.)

— Слушайте: случилась беда. Аля сожгла в камине письмо Макса к Цетлиным (я даже не знаю адр<еса>!) и письмо О<льги> А<ртуровны> — к Редлихам.

Завтра отправлю Вам простыни, — когда они дойдут? Я страшно боюсь, что потеряются. Отправлю две.

— У Ж<уков>ских разграблено и отобрано всё имение, дом уже опечатан, они на днях будут здесь.

Ваш сундучок заперт, всё примеряю ключи, и ни один не подходит. Но по крайней мере документы в целости. Паспорт деда я нашла и заперла.

М<ожет> б<ыть> Вы помните, — куда Вы девали ключ от сундучка?

У Г<ольдов>ских был обыск, нашли 60 пудов сахара и не знаю сколько четвертей спирта. У меня недавно была Е.И.С<тарын>кевич, она поссорилась с Рашелью (из-за Миши, она, очевидно, его любит) и написала ей сдержанное умное прощальное письмо. Она мила ко мне, вообще мне все помогают. А я плачу стихами и нежностью (как свинья).

Страховую квитанцию я нашла, сегодня Дунин муж внесет. В каком *безумном* беспорядке Ваши бумаги! (Из желтой

карельской шкатулочки!) Как я ненавижу все документы, это ад.

Последнее время я получаю от Вас много писем, спасибо, милый Лев! Мне Вас ужасно жаль.

Дома всё хорошо, деньги пока есть, здесь все-таки дешевле, чем в Ф<еодосии>.

Вышлите мне, пожалуйста, *билет!* (розовый).

Сейчас Аля и няня идут гулять, отправлю их на почту.

Простите, ради бога, за такое короткое письмо, а то пришлось бы отправить его только завтра.

Очень Вас люблю. Целую Вас.

М.

— Б<альмон>т *в восторге* от стихов Макса и поместил их в какую-то однодневку-газету с другими стихами. Я недавно встретила его на улице.

— Борис занялся театральной антрепризой, снял целый ряд помещений в разных городах, у него будет играть Радин.

* * *

На кортике своем: Марина —
Ты начертал, встав за Отчизну.
Была я первой и единой
В твоей великолепной жизни.

Я помню ночь и лик пресветлый
В аду солдатского вагона.
Я волосы гоню по ветру,
Я в ларчике храню погоны.

Москва, 18 января 1918

ВОЛЬНЫЙ ПРОЕЗД

Пречистенка, Институт Кавалерственной Дамы Чертовой, ныне Отдел Изобразительных Искусств.

Клянусь Стиксом, что живи я полтораста лет назад, я непременно была бы Кавалерственной Дамой! (Нахожусь здесь за пропуском в Тамбовскую губ<ернию> «для изучения кустарных вышивок» — за пшеном. Вольный проезд (провоз) в 1½ пуда.)

Дорога на ст<анцию> Усмань, Тамбовской губ<ернии>.

Посадка в Москве. В последнюю минуту — точно ад разверзся: лязг, визг. Я: «Что это?» Мужик, грубо: «Молчите! Молчите! Видно, еще не ездили!» Баба: «Помилуй нас, Господи!» Страх как перед опричниками, весь вагон — как гроб. И действительно, минуту спустя нас всех, несмотря на билеты и разрешения, выбрасывают. Оказывается, вагон понадобился красноармейцам.

В последнюю секунду N, его друг, теща и я, благодаря моей командировке, все-таки попадаем обратно.

Трагически начинаю уяснять себе, что едем мы на реквизиционный пункт и... почти что в роли реквизирующих. У тещи сын-красноармеец в реквизиционном отряде. Сулят всякие блага (до свиного сала включительно). Грозят всякими бедами (до смертоубийства включительно). Мужики озлоблены, бывает, что поджигают вагоны. Теща утешает:

— Уж три раза ездила, — Бог милвал. И белой пуда-ами! А что мужики злобятся — понятное дело... Кто же своему добру враг? Ведь грабят, грабят вчистую! Я и то уж своему Кольке говорю: «Да побойся ты Бога! Ты сам-то, хотя и не из дворянской семьи, а все ж и достаток был, и почтенность. Как же это так — человека по миру пускать? Ну, захватил такую великую власть — ничего не говорю — пользуйся, владей на здоровье! Такая уж твоя звезда счастливая. Потому что, барышня, у каждого своя планида. Ах, Вы и не барышня? Ну, пропало мое дело! Я ведь и сватовством промышляю. Такого бы женишка просватала! А муж-то где? Без вести? И детей двое? Плохо, плохо!

Так я сыну-то: «Бери за полцены, чтоб и тебе не досадно, и ему не обидно. А то что ж это, вроде разбоя на большой дороге. Пра-аво! Оно, барышня, понятно... (что это я все «барышня», — положение-то ваше хуже вдовьего! Ни мужу не жена, ни другу не княжна!)... оно, барынька, понятно: парень молодой, время малиновое, когда и тешиться, коли не сейчас? Не возьмет он этого в толк, что в лоск обирать — себя разорять! И корову доить — разум надо. Жми да не выжимай. Да-а...

А уж почет-то мне там у него на пункте — ей-богу, что вдовствующей Императрице какой! Один того несет, другой того гребет. Колька-то мой с начальником отряда хорош, однокурсники, оба из реалки из четвертого классу вышли: Колька — в контору, а тот просто загулял. Товарищи, значит. А вот перемена-то эта сделалась, со дна всплыл, пузырек вверх пошел. И Кольку моего к себе вытребовал. Сахару-то! Сала-то! Яиц! В молоке — только что не купаются! Четвертый раз езжу».

Из вагонных разговоров:

— И будет это так идти, пока не останется: из тысячи — Муж, из тьмы — Жена.

А есть, товарищи, в Москве церковь — «Великого Совета Ангел».

Ночной спор о Боге. Ненависть солдат к иконам и любовь к Богу, — «Зачем доску целовать? Коли хочешь молиться, молись один!»

Солдат — офицеру (типа бывшего лицеиста, пробор, картавит): «А Вы, товарищ, какой веры придерживаетесь?»

Из темноты — ответ: «Я спирт социалистической партии».

Станция Усмань. 12-й час ночи.

Приезд. Чайная. Ломящиеся столы. Наганы, пулеметные ленты, сплошная кожаная упряжь. Веселы, угощают. Мы, чувствуемые, все без сапог, — идя со станции, чуть не потонули. Для тещи, впрочем, нашлись хозяйкины полусапожки.

Хозяйки: две ехидных перепуганных старухи. Раболепство и ненависть. Одна из них — мне: «Вы что же — ихняя знакомка будете?» (Подмигивая на тещина сына.) Сын: чичиковское лицо, васильковые свиные прорези глаз. Кожу под волосами чувствуешь ярко-розовой. Смесь голландского сыра и ветчины. С матерью нагло-церемонен: «Мамаша»... «Вы» — и: «Ну вас совсем — ко всем!»...

Я, слава богу, незаметна. Теща, представляя, смутно оговорила: «с их родными еще в прежние времена знакомство водила»... (Оказывается, она лет пятнадцать назад шила на жену моего дяди. «Собственная мастерская была... Четырех мастериц держала... Все честь честью... Да вот — муж подкузьмил: умер!») Словом, меня нет, — я: *при*...

Напившись-наевшись, наши два спутника, вместе с другими, уходят спать в вагон. Мы с тещей (тещей она приходится приятелю N, собственно и сбившему меня на эту поездку) — мы с тещей укладываемся на полу: она на хозяйкиных подушках и перинах, я просто.

Просыпаюсь от сильного удара. Голос свахи: «Что такое?» — Второй сапог. — Вскликаю. Полная тьма. Все усиливающийся топот ног, хохот, ругань. Звонкий голос из темноты: «Не беспокойтесь, мамаша, это реквизиционный отряд с обыском пришел!»

Чирканье спички.

Крики, плач, звон золота, простоволосые старухи, вспоротые перины, штывки... Рыщут всюду.

— Да за иконами-то хорошенько! За святыми-то! Боги золото тоже любят-то!

— Да мы... Да нешто у нас... Сынок! Отец! Отцом будь!

— Молчать, старая стерва!

Пляшет огарок. Огромные — на стене — тени красноармейцев.

(Оказывается, хозяйки чайной давно были на примете. Сын только ждал приезда матери: нечто вроде маневров флота или парада войск в честь Вдовствующей Императрицы.)

Обыск длится до свету: который раз ни просыпаюсь — все то же. Утром, садясь за чай, трезвая мысль: «А могут отравить. Очень просто. Подсыпят что-нибудь в чай, и дело с концом. Что им терять? «Царские» взяты — все потеряно. А расстреляют — все равно помирать!»

И, окончательно убедившись, пью.

В то же утро съезжаем. Мысль эта пришла не мне одной.

Опричники: еврей со слитком золота на шее, еврей — семьянин («если есть Бог, он мне не мешает, если нет — тоже не мешает»), «грузин» с Триумфальной площади, в красной черкеске, за гривенник зарежет мать.

Мои два спутника уехали в бывшее имение кн. Вяземского: пруды, сады... (Знаменитая, по зверскости, расправа.)

Уехали — не взяли. Остаюсь одна с тещей и с собственной душой. Не помогут ни та, ни другая. Первая уже остывает ко мне, вторая (во мне) уже закипает.

С чайником за кипятком на станцию. Двенадцатилетний, одного из реквизирующих офицеров, «адъютант». Круглое лицо, голубые дерзкие глаза, на белых, бараном, кудрях — лихо заломленная фуражка. Смесь амура и хама.

Хозяйка (жена того опричника со слитком) — маленькая (мизгирь!) наичернущая евреечка, «обожаящая» золотые вещи и шелковые материи.

— Это у вас платиновые кольца?

— Нет, серебряные.

- Так зачем же вы носите?
- Люблю.
- А золотых у вас нет?
- Нет, есть, но я вообще не люблю золота: грубо, явно...
- Ах, что вы говорите! Золото — это ведь самый благородный металл. Всякая война, мне Иося говорил, ведется из-за золота.

(Я, мысленно: «Как и всякая революция!»)

— А позвольте узнать, ваши золотые вещи с вами? Может быть, уступите что-нибудь? О, вы не волнуйтесь, я Иосе не передам, это будет маленькое женское дело между нами! Наш маленький секрет! (Блудливо хихикает.) — Мы могли бы устроить в некотором роде Austausch*. (Понижая голос:) — Ведь у меня хорошенькие запасы... Я Иосе тоже не всегда говорю!.. Если вам нужно свиное сало, например, — можно свиное сало, если совсем белую муку — можно совсем белую муку.

Я, робко:

— Но у меня ничего с собой нет. Две пустых корзинки для пшена... И десять аршин розового ситцу...

Она, почти дерзко:

— А где же вы свои золотые вещи оставили? Разве можно золотые вещи оставлять, а самой уезжать?..

Я, отдельно:

— Я не только золотые вещи оставила, но... *детей!*

Она, рассмешенная:

— Ах! Ах! Ах! Какая вы забавная! Да разве дети — это такой товар? Все теперь своих детей оставляют, пристраивают. Какие же дети, когда кушать нечего? (Сентенциозно:) — Для детей есть приюты. Дети — это собственность нашей социалистической Коммуны...

(Я, мысленно: «Как и наши золотые кольца»...)

Убедившись в моей золотой несостоятельности, захлебываясь, рассказывает. Раньше — владелица трикотажной мастерской в «Петрограде».

— Ах, у нас была квартирка! Конфетка, а не квартирка! Три комнаты и кухня, и еще чуланчик для прислуги. Я никогда не

* Обмен (нем.).

позволяла служанке спать в кухне — это нечистоplotно, могут волосы упасть в кастрюлю. Одна комнатка была спальня, другая столовая, а третья, небесного цвета — приемная. У меня ведь были очень важные заказчицы, я весь лучший Петроград своими жакетками одевала... О, мы очень хорошо зарабатывали, каждое воскресенье принимали гостей: и вино, и лучшие продукты, и цветы... У Иоси был целый курительный прибор: такой столик филигранной работы, кавказский, со всякими трубками, и штучками, и пепельницами, и спичечницами... По случаю у одного фабриканта купили... И в карты у нас играли, уверяю вас, на совсем не шуточные суммы...

И все это пришлось оставить: обстановку мы распродали, кое-что припрятали... Конечно, Иося прав, народ не может больше томиться в оковах буржуазии, но все-таки, имев такую квартиру...

— Но что же вы здесь делаете, когда дождь, когда все ваши на реквизиции? Читаете?

— Да-а...

— А что вы читаете?

— «Капитал» Маркса, мне муж романов не дает.

С<танция> Усмань Тамбовской губ<ернии>, где я никогда не была и не буду. Тридцать верст пешком по стриженому полю, чтобы выменять ситец (розовый) на крупу.

Крестьяне.

Шестьдесят изб — одна порубка: «Нет, нет, ничего нету, и продавать — не продаем и менять — не меняем. Что было — то товарищи отобрали. Дай бог самим живу остаться».

— Да я же не даром беру и не советскими платить буду. У меня спички, мыло, ситец...

Ситец! Магическое слово! Первая (после змея!) страсть праматери Евы! Загорание глаз, прояснение лбов, тяготение рук. Даже прабабки не отстают, брызги беззубых уст: «ситчику бы! на саван!»

И вот я, в удушающем кольце: бабок, прабабок, девок, молодой, подружек, внушек, на коленях перед корзинкой — роюсь. Корзинка крохотная, — я вся налицо.

— А мыло духовитое? А простого не будет? А спички почему? А ситец-то ноский будет? Манька, а Манька, тебе бы на кофту! А сколько аршин, говоришь? Де-сять! И восьми-то нету!

Щупанье, нюханье, дерганье, глаженье, того и гляди — на зуб возьмут.

И вдруг одна прорывается:

— Цвет-то! Цвет-то! Аккурат как Катька на прошлой неделе на юбку брала. Тоже одна из Москвы продавала. Ластик — а как шелк! Таковыми сборочками складными... Маманька, а маманька, взять, что ль? Почему, купчиха, за аршин кладешь?

— Я на деньги не продаю.

— Не продае-ешь? Как ж эт так — не продаешь?

— А так, вы же сами знаете, что деньги ничего не стоят.

— Да рази мы знаем? Наша жизнь темная. Вот тоже одна приезжая рассказывала: будто в Москве-то у вас даже очень хорошо идут.

— Поезжайте — увидите.

(Молчание. Косвенные взгляды на ситец. Вздохи.)

— Чего ж тебе надо-то?

— Пшена, сала.

— Са-ала? Нет, сала у нас не будет. Какое у нас сало! Сами все всухомятку жрем. Вот медку не хочешь ли?

(Молниеносное видение себя, залитой протекшим медом, и от этого видения — почти гнев!)

— Нет, я хочу сала — или пшена.

— А почему, коли пшеном, за ситец кладешь-то? (Кстати, во все не ситец, а кровный редкостный карточный розовый ластик.)

Я, сразу робея: 1/2 пуда. (Учили — три!)

— Полпу-уда? Такой и цены нет. Что ж ситец-то у тебя — шелковый, что ли? Только и красоты, что цвет. Посмотри, как выстирается, весь водой сойдет.

— Сколько же *вы* даете?

— Твой товар — твоя цена.

— Я же сказала: полпуда.

Отлив. Шепота...

Разглядываю избу: все коричневое, точно бронзовое: потолки, полы, лавки, котлы, столы. Ничего лишнего, все вечное. Скамьи точно в стену вросли, вернее — точно из них вы-

росли. А ведь и лица в лад: коричневые! И янтарь нашейный!
И сами шеи! И на всей этой коричневишне — последняя синь
позднего бабьего лета. (Жестокое слово!)

Шепота затягиваются, терпение натягивается — и лопают-
ся. Встаю — и, сухо:

— Что ж, берете или не берете?

— Вот коли деньгами бы — тогда б еще можно. А то сама по-
суди, какой наш достаток?

Сгребая свой (три куска мыла, пачка спичек, десять аршин
сатину), затыкаю палочкой корзинку.

В дверях: «Счастливо!»

Двадцать шагов. Босые ноги вдогон.

— Купчиха, а купчиха?

Не останавливаясь:

— Ну?

— Хочешь семь хвунтов?

— Нет.

И дальше, пропустив от ярости пять изб, — в шестую.

Бывает и по-другому: сговорились, отсыпано, выложено
и — в последнюю секунду: «А бог тебя знает, откуда ты. Еще
беды с тобой наживешь! И волоса стриженные... Иди себе по-
добру да поздорову... И ситца твоего не нужно»...

А бывает и так еще:

— Ты, вишь, московка, невнятная тебе наша жизнь. Дума-
ешь, нам все даром дается? Да вот это-то пшано, что оно на
нас — дождем с неба падает? Поживи в деревне, поработай на-
шу работу, тогда узнаешь. Вы, москвичи, счастливее, вам все
от начальства идет. Ситец-то, чай, тоже даровой?

...Подари-ка нам коробок спиц, чтобы чем тебя, пришлю, по-
мянуть было.

И даю, конечно. Из высокомерия, из брезгливости, так, как
Христос не велел давать: прямой дорогой в ад — даю!

За возглас: «курочки ня нысутся!» готова передуть не
только всех их кур, но их самих — всех! — до десятого колена.
(Другого ответа не слышу.)

Базар. Юбки — поросята — тыквы — петухи. Примиряющая и очаровывающая красота женских лиц. Все черноглазы, и все в ожерельях.

Покупаю три деревянных игрушечных бабы, вцепляюсь в какую-то живую бабу, торгую у нее нашейный темный, колесами, янтарь и ухожу с ней с базару — ни с чем. Дорогой узнаю, что она «на Казанской погуляла с солдатом» — и вот... Ждет, конечно. Как вся Россия, впрочем.

Дома. Возмущение хозяйки янтарем. Мое одиночество. На станцию за кипятком, девки: — «Барышня янтарь надела! Страм-то! Страм!»

Мытье пола у хамки.

— Еще лужу подотрите! Повесьте шляпку! Да вы не так! По половицам надо! Разве в Москве у вас другая манера? А я, знаете, совсем не могу мыть пола, — знаете: поясница болит! Вы, наверное, с детства привыкли?

Молча глотаю слезы.

Вечером из-под меня выдергивают стул, ем *свои* два яйца без хлеба (на реквизиционном пункте, в Тамбовской губ<ернии>!)

Пишу при луне (черная тень от карандаша и руки). Вокруг луны *огромный* круг. Пыхтит паровоз. Ветви. Ветер.

Господа! Все мои друзья в Москве и везде! Вы слишком думаете о своей жизни! У вас нет времени подумать о моей, — а стоило бы.

Теща: бывшая портниха, разудалая речистая замоскворецкая сваха («муж подкузьмил — умер!»). Хам, коммунист с золотым слитком на шее; мешанка-евреечка, бывшая владелица трикотажной мастерской; шайка воров в черкесах; подозрительные угрюмые мужики, *чужой* хлеб (продавать *здесь* на деньги — не хватит и коммунистической совести!).

Всячески пария: для хамки — «бедная» (грошовые чулки, нет бриллиантов), для хама — «буржуйка», для тещи — «бывшие люди», для красноармейцев — гордая стриженная барыш-

ня. Годнее всех (на 1000 верст отдаления!) бабы, с которыми у меня одинаковое пристрастие к янтарю и пестрым юбкам — и одинаковая доброта: как колыбель.

«Господи! Убить того до смерти — у кого есть сахар и сало!»
(Местная поговорка.)

«Не было смиреннее нашего города!» (Рассказ мужика по дороге в Усмань. — Не о всей ли России?)

Сегодня опричники для топки сломали телеграфный столб.

Хозяйка за чем-то наклоняется. Из-за пазухи выпадает стопка золота, золотые со звоном раскатываются по комнате.

Присутствующие, было — опустив, быстро отводят глаза.

С утра — на разбой. — «Ты, жена, сиди дома, вари кашу, а я к ней маслица привезу!..» — Как в сказке. — Часа в четыре сходятся. У наших Капланов нечто вроде столовой. (Хозяйка: «И им удобно, и нам с Иосей полезно». «Продукты» — вольные, обеды — платные.) Вина что-то незаметно. Сало, золото, сукно, сукно, сало, золото. Приходят усталые: красные, бледные, потные, злые. Мы с хозяйкой мигом бросаемся накрывать. Суп с петухом, каша, блины, яичница. Едят сначала молча. Под лаской сала и масла лбы разглаживаются, глаза увлажняются. После грабежа — дележ: впечатлениями. (Вещественный дележ производится на месте.) Купцы, попы, деревенские кулаки... У того столько-то холста... У того кадушка топленого... У того царскими тысячу... А иной раз — просто петуха...

Рузман (семьянин) добродушен. Обнаруживая какой-нибудь запретный (запрятанный) плод, вроде куля муки, сам первый сочувствует:

— Ай-ай-ай! И семейство большое! Нельзя же, в самом деле, семь собственных детей, жену, бабушку и дедушку одним чистым воздухом питать!

Есть в нем и ценитель: так, хитро-скрытое и долго-сопротивлявшееся вызывает в нем любованье.

— Такой плут этот Микишкин, такой плут! Ему бы только ликвидацией банков заведовать! И куда он это, вы думаете, он свои николаевские забальзамировал?!

Полегонечку (восьмой день!) вхожу, вживаюсь, уже делю (лирически!) триумфы и беды, уже хозяйка, обеспокоенная долгим отсутствием мужа, — мне: «Что же это наш Иося нам изменяет?»

Я по самой середине сказки, *mitten drinnen**. Разбойник, разбойникова жена — и я, разбойниковой жены — служанка. Конечно, может статься — выхвачу топор... А скорей всего, благополучно растряса свои 18 ф<унтов> пшена по 80-ти заградительным отрядам, весело ворвусь в свою борисоглебскую кухню и тут же — без отдыши — выдышусь стихом!

Зовут на реквизицию. (Так герцоги, в былые времена, приглашали на охоту!)

— Бросьте вы свои спички!.. (Сколько у вас осталось коробочек? Как — целых три даром отдали? Ах, ах, ах, какая непрактичная!) Едьте с нами, без спичек целый вагон муки привезете. Вам своими руками ничего делать не придется — даю вам честное слово коммуниста: даже самым маленьким пальчиком не пошевелинете!

И хозяйка, ревниво (не ко мне, конечно, а к мыслимым «продуктам»).

— Ах, Иося, разве это возможно! Кто же мне завтра посуду будет мыть, когда я на базар пойду за дрожжами!

(Единственный, в этой семье, покупной «продукт».)

Сколько перемытой посуды и уже дважды вымытый пол! Чувство, что я определенно обращена в рабство. Негодная теща, в тон хозяйке, третирует. От моих вероломных Тезев (хорош — Наксос!) вот уже вторая неделя — ни слуху, ни духу.

У меня пока: 18 ф<унтов> пшена, 10 ф<унтов> муки, 3 ф<унта> свиного сала, янтарь и три куклы для Али. Грозят заградительными отрядами.

* Изнутри (нем.).

Разрываюсь от смеха и гнева. Вечер проходил как всегда. Входили, выходили, пошучивали, покуривали, обдумывали завтрашние набеги, подытоживали нынешние. Словом: мир. И вдруг: гром: Бог! Кто начал — не помню. Помню только свой голос:

— Господа, если его нет — за что же вы его так ненавидите?

— А кто вам сказал, что мы Господа Бога ненавидим?

— Или вы его слишком любите: вы неустанно о нем говорите.

— Говорим, потому что многие в эти пустяки еще верят.

— Я первая! Дурой родилась, дурой помру. (Это теща провалась.)

Левит, снисходительно:

— Вы, мадам, это вполне объяснимое явление, все наши мамы и папы веровали, но вот (пожатие плечей в мою сторону)... что товарищ в таком молодом возрасте и еще имел возможность пользоваться всеми культурными благами столицы...

Теща:

— Ну что ж, что из столицы? Вы думаете, у нас в Москве все нехристи, что ль? Да у нас в Москве церковей одних сорок сороков, да монастырей, да...

Левит:

— Это пережитки буржуазного строя. Ваши колокола мы перельем на памятники.

Я: — Марксу.

Острый взгляд: — Вот именно.

Я: — И убиенному Урицкому. Я, кстати, знала его убийцу.

(Подскок. — Выдерживаю паузу.)

...Как же, — вместе в песок играли: Каннегиссер Леонид.

— Поздравляю вас, товарищ, с такими играми!

Я, досказывая: — Еврей.

Левит, вскипая: — Ну, это к делу не относится!

Теща, не поняв: — Кого жида убили?

Я: — Урицкого, начальника петербургской Чрезвычайки.

Теща: — И-ишь. А что, он тоже из жидов был?

Я: — Еврей. Из хорошей семьи.

Теща: — Ну, значит, свои повздорили. Впрочем, это между жидками редкость, у них это, наоборот, один другого покрывает; кум обжегся — сват дует, ей-богу!

Левит, ко мне: — Ну и что же, товарищ, дальше?

Я: — А дальше покушение на Ленина. Тоже еврейка (обращаясь к хозяину, любезно). — Ваша однофамилица: Каплан.

Левит, перехватывая ответ Каплана: — И что же вы этим хотите доказать?

Я: — Что евреи, как русские, разные бывают.

Левит, вскакивая: — Я, товарищ, не понимаю: или я не своими ушами слышу, или ваш язык не то произносит. Вы сейчас находитесь на реквизиционном пункте, станция Усмань, у действительного члена Р. К. П., товарища Каплана.

Я: — Под портретом Маркса...

Левит: — И тем не менее вы...

Я: — И тем не менее я. Отчего же не обменяться мнениями?

Кто-то из солдат: — А это правильно товарищ говорит. Какая ж свобода слова, если ты и икнуть по-своему не смеешь! И ничего товарищ особенного не заявляли: только что жид жида уложил, это мы и без того знаем.

Левит: — Товарищ Кузнецов, прошу вас взять свое оскорбление обратно!

Кузнецов: — Какое такое оскорбление?

Левит: — Вы изволили выразиться про идейную жертву — жид?!

Кузнецов: — Да вы, товарищ, потише, я сам член Коммунистической партии, а что я жид сказал — у меня привычка такая!

Теща — Левиту: — Да что ж это вы, голубчик, всхорохорились? Подумаешь — «жид». Да у нас вся Москва жидом выражается, — и никакие ваши декреты запретные не помогут! Потому и жид, что Христа распял!

— Хрисс-га-а?!!

Как хлыст полоснул. Как хлыстом полоснул. Как хлыстом полоснули. Вскрикивает. Ноздри горбатого носа пляшут.

— Так вы вот каких убеждений. Мадам? Так вы вот за какими продуктами по губерниям ездите! — Это и к вам, товарищ, относится! — Пропаганду вести? Погромы подстраивать? Советскую власть раскачивать? Да я вас!.. Да я вас в одну сотую долю секунды...

— И не испугалась! А сын-то у меня на что ж? Самый что ни на есть большевик, почище вас будет. Ишь — расходился! Вот только змеем шипеть! Пятьдесят лет живу, — такого страма...

Хозяйка: — Мадам! Мадам! Успокойтесь! Товарищ Левит пошутил, товарищ всегда так шутит! Да вы сами посудите...

Сваха, отмахиваясь: — И судить не хочу, и шутить не хочу. Надоела мне ваша новая жизнь! Был Николаша — были у нас хлеб да каша*, а теперь за кашей за этой — прости господи! — как пес, язык высуня, 30 верст по грязи отмахиваем...

Кто-то из солдат: — Николаша да каша? Эх вы, мамаша!.. А не пора ли нам ребята, по домам? Завтра чем свет в Ипатовку надо.

Вернулись N и зять. Привезли муки, веселые. И на мою долю полпуда. Завтра едем. Едем, если сядем.

Стенька Разин. Два Георгия. Лицо круглое, лукавое, веснушчатое: Есенин, но без мелкости. Только что, вместе с другими молодцами, вернулся с реквизиции. Вижу его в первый раз.

— Разин! — Не я сказала: сердце вызвонило! (Сердце! Колокол! Только вот звонарей нет!)

Оговорюсь: *мой* Разин (песенный) белокур, — с рыжевцой белокур. (Кстати, глупое упразднение буквы д: белокудр, белые кудри: и буйно, и бело. А белокур — что? Белые куры? Какое-то бесхвостое слово!) Пугачев черен, Разин бел. Да и слово само: Степан! Сено, солома, степь. Разве черные Степаны бывают? А: Ра — зин! Заря, разлив, — рази, Разин! Где протсторно, там не черно. Чернота — гуца.

Разин — *до* бороды, но уже с тысячей персияночек! И сразу рванулся ко мне, взликовал**:

— Из Москвы, товарищ? Как же, как же, Москву знаю! С самых этих семи холмов Москву озирал! Еще махонький был, стих про Москву учил:

Город славный, город древний,
Ты вместил в свои концы
И посады, и деревни,
И палаты, и дворцы...

* «Пришли большевики — Не стало ни хлеба, ни муки», — московская поговорка 18 г. — *Примеч. авт.*

** Вся встреча, кроме первых нескольких слов, наедине. — *Примеч. авт.*

Москва — всем городам мать. С Москвы все и пошло — царство-то.

Я: — Москвой и кончилось.

Он, сообразив и рассмеявшись: — Это вы верно заметили.

Эх, Москва, Москва, Москва,
Золотая голова,
Запро — па — ща — я!

Пасху аккурат в Москве встречал. Как загудел это Иван-Великий-Колокол — да в ответ-то ему — да кажинная на свой голос-то — да врозь, да в лад, да в лоб, да в тыл — уж и не знаю: чугуны ли гудят, во мне ли гудят. Как в уме порешился — ей-богу! Никогда мне того не забыть.

Говорим что-то о церквях, о монастырях.

— Вы вот, товарищ, обижаетесь, когда на попов ругаются, монашескую жизнь восхваляете. Я против того ничего не говорю: не можешь с людьми — иди в леса. На миру души не спасешь, сорок сороков чужих загубишь. Только, по совести, разве в попы да в монахи за тем идут? За брюхом своим идут, за жизнью сладкой. Вроде как мы, к примеру, на реквизицию, — ей-богу! А Бог-то при чем? Бога-то, на святость ту глядя, с души воротит. Изничтожил бы он свой мир, кабы мог! Нет, ты мне Богом не заслоняйся! Бог — свет: всю твою черноту пропускает. Ни он от тебя черней, ни ты от него не белей. И не против Бога я, товарищ, восстаю, а против слуг его: рук неверных! Сколько через эти руки от него народу отпало! Да разве у всех рассудок есть? Вот, хотя бы отец мой, к примеру, — как началось это гонение, он сразу рассудил: с больной головы да на здоровую валят. Поп, крысий хвост, нашкодил — Бога вешать ведут. Не ответствен Бог за поповский зоб! И сами, говорит, премного виноваты: попа не чтити, вот он и сам себя чтить перестал. А как его чтить-то? Я, барышня, ихнего брата в точности превзошел. Кто первый вор? — Поп. Обжора? — Поп. Гулена? — Поп. А напьется, — только вот разве — барышни вы, объяснить-то вам неприлично...

— Ну а монахи, отшельники?

— А про монахов и говорить нечего, чай, сами знаете. Слова постные, а языком с губ скромную мысль облизывают.

Раскрой ему черепушку: ничего, кроме копченых там да соленых, да девок, да наливок-вишневок, не удостоверишь. Вот и вера вся! Монашеское житие! Души спасение!

— А в Библии, помните? Из-за одного праведника Содом спасу? Или не читали?

— Да сам, признаться, не читал, — все больше я в младости голубей гонял, с ребятами озоровал. А вот отец у меня — великий церковник. (Вдохновляясь:) Где эту самую Библию ни открой — так тебе десять страниц подряд слепыми глазами и шпарит...

А я вот еще вам хотел, товарищ, про монахов досказать. Моношки, к примеру. Почему на меня каждая монашка глазами завидует?

Я, мысленно: «Да как же на тебя, голубчик, не...»

Он, разгораясь:

— Жметесь, мнетесь, глаза как колодцы. Да куда ж ты меня этими глазами тянешь-то? Да какая ж ты после этого моленая? Кровь озорная — в монастырь не иди, а моленная — глаза вниз держи!

Я, невольно опуская глаза: «Морализирующий Разин». (Вслух:)

— Вы мне лучше про отца расскажите.

— Отец! Отец у меня — великий человек! Что там — в книжках пишут: Маркс, например, и Гракхи-братья. Кто их видел-то? Небось, все иностранцы: имя — язык занозишь, а отчества нету. Три тыщи лет назад — да за семью за синими морями — тридевять земель пройдешь — в тридесятой, — это не хитро великим быть! А может так, выдумки одни? Этот-то (взмах на стенного Маркса)... гривач косматый — вправду был?

Я, не сморгнув: — Выдумали. Сами большевики и выдумали. По дороге из Берлина — знаете? Вымозговали, пиджак надели, бороду — гриву распушили, по всем заборам расклеили.

— А вы, барышня, смелая будете.

— Как и вы.

(Смеется.)

...Но вы мне про отца рассказать хотели?

— Отец. Отец мой — околочный надзиратель царского времени (Я, мысленно: точно за царским временем надзира-

ет!)... Великий, я вам повторю, человек. Так бы за ним ходил с перышком круглые сутки и все бы записывал. Не слова роняет: камни-тяжеловесы! Все: скрижали, да державы, да денницы... Аж мороз по коже, ей-богу! Раздует себе ночью самоварчик, оденет очки роговые, книжищу свою разворотит — и ну листами бури-ветры подымать! (Понижая голос.) ...*Все* судьбы знает. *Все* сроки. Все кому что положено, кому что заказано, никого не помилует. И царское крушение предсказал. Даром что царя-то вровень с Богом чтит. И сейчас говорит: «Хоть режьте, хоть живьем ешьте, а не держаться этой власти боле семи годов. Змей — она, змеиной кожей и свалится»... Книгу пишет: «Слезы России». Восемь тетрадей клеенчатых в мелкую клетку исписал. Никому не показываает, ни мне даже... Только вот знаю: «Слезы». Каждую ночь до петухов сидит.

Два Георгия, спас знамя.

— Что вы чувствовали, когда спасали знамя?

— А ничего не чувствовал! Есть знамя — есть полк, нет знамени — нет полка!

Купил с аукциона дом в Климачах за 400 руб<лей>. Грабил банк в Одессе, — «полные карманы золота»! Служил в полку Наследника.

— Выходит он из вагона: худенький, хорошенький, и жалобным таким голоском: «А куда мне сейчас можно будет пойти?» — «Вас автомобиль ждет, Ваше высочество». Многие солдаты плакали.

Говорю ему стихи: «Царю на Пасху», «Кровных коней»...

— Это какой же человек сочинял? Не из простых, чай? А раскат-то какой! Аккурат как громом перекаатило — ...Пойла — стойла... А здорово ж ему бы нагорело за стойла за эти! А я полагаю — не в памяти писано, а? Убили отца, убили мать, убили братьев, убили сестер, — вот он и записа-ал! С хорошей жизни так не запишешь! А нельзя ли было бы, барышня, мне этот стих про стойла на память списать?

— Попадётся.

— Я?! — Рожа из вдохновенной делается грабительской. — Я — да попасться? Не рожен еще пропад тот, через который я пропасть должен! Не рожен — не проложен! Да у меня, ба-

рышня, золотых часов четверо (Руки по карманам!) Хотите — сверяйтесь! И все по разному времени ходят: одни по московскому, другие по питерскому, третьи по рязанскому, а эти вот (ударяя кулаком в грудь) — по разинскому!

— А сказать вам стих про Стеньку Разина? Тот же человек писал. Слушайте.

Ветры спать ушли с золотой зарей,
Ночь подходит — каменную горой.
И с своей княжною...

Говорю, как утопающий, — нет, как рыба, собственным морем захлебнувшаяся. (Говорящая рыба... Гм... Впрочем, в сказках бывает.)

После тещ, свах, пшен, помойных ведер, наганов, Марксов — этот луч (голос), ударяющий в эту синь (глаза!). Ибо читаю ему прямо в глаза: как смотрят! В васильковую синь: сгинь.

Стенька Разин!

Стенька Разин, я не персияночка, во мне нет двуострого коварства: Персии и нелюбящей. Но я и не русская, Разин, я до-русская, до-татарская, — довременная Русь я — тебе навстречу! Соломенный Степан, слушай меня, степь: были кибитки, и были кочевья, были костры, и были звезды. Кибиточный шатер — хочешь? где сквозь дыру — самая большая звезда.

Но...

— Только вы уж, барышня, покрупней потрудитесь: я руко-то писаную не больно читаю.

С ребяческой радостью следит за возникновением букв (пишу, конечно, печатными).

— Дэ... мэ... А вот и ять, — аккурат церковка с куполом.

— А вы сам деревенский?

— Сло-бодский!

— А теперь я вам, барышня, за труды за ваши, сказ один расскажу — про город подводный. Я еще махоньким был, годочке по восьмом, — отец сказывал.

Будто есть где-то в нашей русской земле озеро, а на дне озера того — город схоронен: с церквами — с башнями, с базара-

ми — с амбарами (внезапная усмешка). А каланчи пожарной — не надо: кто затонул — тому не гореть! И затонул будто бы тот град по особому случаю. Нашли на нашу землю татары, стали дань собирать: чиста злата крестами, чиста серебра колоколами, честной крови-плоти дарами. Град за градом, что колос за колосом, клонятся: ключми позвякивают, татарам поддакивают. А один, вишь, князь — непоклонлив был: «Не выдам я своей святыни — пусть лучше кровь моя хлынет, не выдам я своей Помогии — отрубите мне руки и ноги! Слышит — уж недалеко рать: топота великие. Созывает он всех звонарей городских, велит им изо всей силы-мочи напоследок, в кол'кола выграть: татарам на омерзение, Господу Богу на прославление. Ну — и постарались тут звонарики! Меня вот только, молодца, не было... Как вдарят! Как грянут! Аж вся грудь земная — дрогом пошла!

И построились, с того звону, реки чиста-серебра: чем пуще звонари работают, тем круче те реки бегут. А земля того серебра не принимает, не впитывает. Уж по граду ни пройти ни проехать, одноэтажные домишки с головой под воду ушли, только князев дворец один держится. А уж тому звону в ответ — другие звоны пошли: рати поганые подступают, кривыми саблями бряцают. Взобрался князь на самую дворцовую вышку — вода по грудь — стоит с непокрытой головой, звон по кудрям серебром текет. Смотрит: под воротами-то тьмы! Да как зыкнет тут не своим голосом:

— Эй вы, звонарики-сударики!

Только чего сказать-то он им хотел — никто не слышал! И городу того боле — никто не видал!

Ворвались татары в ворота — ровень-гладь. Одни струйки маленькие похлипывают...

Так и затонул тот город в собственном звоне.

Стенька Разин, я не Персияночка, но перстенек на память — серебряный — я Вам подарю.

Глядите: двуглавый орел, вздыбивший крылья, проще: царский гривенник в серебряном ободке. Придется ли по руке? Придется. У меня рука не дамская. Но ты, Стенька, не понимаешь рук: формы, ногтей, «породы». Ты понимаешь ладонь (тепло) и пальцы (хватку). Рукопожатие ты поймешь.

Перстенок бери без думы: было десять — девять осталось! А что в ответ? Никогда ничего в ответ.

С безымянного моего — на мизинный твой.

Но не дам я его тебе, как даю: ты — озорь! Будет с тебя «памяти о царском времени». Шатры и костры — при мне.

— А вот у меня еще с собой книжечка о Москве, возьмите тоже. Вы не смотрите, что маленькая, — в ней весь московский звон!

(«Москва», изд<ание> Универсальной библиотеки. Летописцы, чужестранцы, писатели и поэты о Москве. Книжка, которую дарю уже четвертый раз. — Сокровищница!)

— Ну а как в Москве буду — навестить можно? Я даже имени отчества вашего не спросил.

Я, мысленно: «Зачем?!» (Вслух): — Дайте книжечку, запишу*.

Потом на крыльце провожаю — пока глаз и пока души...

Завтра едем. Едем, если сядем. Грозят заградительными отрядами. Впрочем, Каплан (из уважения к теще) обещает дать знать по путям, что едут свои.

Утреннее посещение N (ночевал в вагоне).

— М<арина> И<вановна>, сматывайтесь — и айда! Что вы здесь с тещей натворили? Этот, в красной черкеске, в бешенстве! Полночи его работал. Наврал, что вы и с Лениным и с Троцким, что вы им всем очки втирали, что вы тайно командированы, черт знает чего наплел! Да иначе не вывез бы! Контрреволюция, орет, юдофобство, в одной люльке с убийцами Урицкого, орет, качалась! Это теща, говорю, качалась (тешу-то Колька вывезет!). Обе, обе, орет, — одного поля ягодки! Ну потом, когда я и про Троцкого и про Ленина, немножечко осел. А Каплан мне — так уж безо всяких: — «Убирайтесь сегодня же, наши посадят. За завтрашний день не ручаюсь». — Такие дела!

* Больше никогда его не видела. — *Примеч. авт.*

А еще знаете, другое удовольствие: ночью проснулся – разговор. Черт этот – еще с каким-то. Крестьяне поезд взорвать хотят, слезка идет... Три деревни точно... Ну и гнездо, Марина Ивановна! Да ведь это ж – Хитровка! Я волосы на себе рву, что вас здесь с ними одну оставил! Вы же ничего не понимаете: они все будут расстреляны!

Я: – Повешены. У меня даже в книжке записано.

Он: – И не повешены, а расстреляны. Советскими же. Тут ревизии ждут. Левит на Каплана донес, а на Левита – Каплан донес. И вот – кто кого. Такая пойдет разборка! Ведь здесь главный ссыпной пункт – понимаете?

– Ни звука. Но ехать, определенно, надо. А тещин сын?

– С нами едет – мать будто проводить. Не вернется. Ну, М<арина> И<вановна>, за дело: вещи складывать!

...И, ради бога, ни одного слова лишнего! Мы уж с Колькой тещу за сумасшедшую выдали. Задаром пропадем!

Сматываюсь. Две корзинки: одна кроткая, круглая, другая квадратная, злостная, с железными углами и железкой сверху. В первую – сало, пшено, кукол (янтарь, как надела, так не сняла), в квадратную – полпуда N и свои 10 ф<унтов>. В общем, около 2 п<удов>. Беру на вес – вытяну!

Хозяйка, поняв, что уезжаю, льнет; я, поняв, что уезжаю, наглею.

– Все товарищ, товарищ, но есть же у человека все-таки свое собственное имя. Вы, может быть, скажете мне, как вас зовут?

– Циперович, Мальвина Ивановна.

(Из всей троичности уцелел один Иван, но Иван не выдаст!)

– Представьте себе, никак не могла ожидать. Очень, очень приятно.

– Это моего гражданского мужа фамилия, он актер во всех московских театрах.

– Ах, и в опере?

– Да, еще бы: *бас*. Первый после Шаляпина (Подумав:)
...Но он и тенором может.

– Ах, скажите! Так что, если мы с Иосей в Москву приедем...

– Ах, пожалуйста, – во все театры! В неограниченном количестве! Он и в Кремле поет.

— В Крем...?!

— Да, да, на всех кремлевских раутах. («Интимно»:) Потому что, знаете, люди везде люди. Хочется же поразвлечься после трудов. Все эти расправы и расстрелы...

Она: — Ах, разумеется! Кто же обвинит? Человек — не жертва, надо же и для себя... И скажите, много ваш супруг зарабатывает?

Я: — Деньгами — нет, товаром — да. В Кремле ведь склады. В Успенском соборе — шелка, в Архангельском (вдохновляясь:) меха и бриллианты...

— А-ах! (Внезапно усумнившись:) — Но зачем же вы, товарищ, и в таком виде, в эту некультурную провинцию? И своими ногами 10 коробочек спичек разносите?

Я, пушечным выстрелом в ухо: — Тайная командировка!
(Подскок. Глоток воздуха и, оправившись:)

— Так значит, вы, маленькая плутовка, так-таки кое-что, а? Маленький запасец, а?

Я, снисходительно:

— Приезжайте в Москву, дело сделаем. Нельзя же здесь, на реквизиционном пункте, где все для других живут...

Она:

— О, вы абсолютно правы! — И рискованно. — А ваш адресок вы мне все-таки на память, а? Мы с Иосей непременно, и в возможно скором времени...

Я, покровительственно:

— Только торопитесь, этот товар не залеживается. У меня не то чтобы груды, а все-таки...

Она, в горячке:

— И по сходной цене уступите?

Я, царственно: — По своей.

(Крохотными цепкими руками хватая мои руки:)

— Вы мне, может быть, запишете свой адресок?

Я, диктуя: — Москва, Лобное место, — это площадь такая, где царей казнят, — Брутова улица, переулок Троицкого.

— Ах, уже и такой есть?

Я: — Новый, только что пробит. (Стыдливо:) Только дом не очень хорош: № 13, и квартира — представьте — тоже 13! Некоторые даже опасаются.

Она: — Ах, мы с Иосей выше предрассудков. Скажите, и недалеко от центра?

— В самом центре: три шага — и Совет.

— Ах, как приятно...

Приход тещи кладет конец нашим приятностям.

Последняя секунда. Прощаемся.

— Если б Иося только знал! Он будет в отчаянии! Он бы собственноручно проводил вас. Подумайте, такое знакомство!

— Встретимся, встретимся.

— И я бы сама, Мальвина Ивановна, с таким большим желанием сопровождала вас до станции, но у нас сегодня обедают приезжие, русские, — надо блины готовить на семь персон. Ах, вы не можете себе представить, как я устала от этих низких интересов.

Произношу слова благодарности, почтительно, с оттенком галантности, жму руку.

— Итак, помните, мой скромный дом, как и я сама и муж, — всегда к вашим услугам. Только непременно известите, чтобы на вокзале встретили.

Она: — О, Иося даст служебную телеграмму.

Теща на воле:

— М<арина> И<вановна>, что это вы с ней так слюбились? Неужели ж и адрес дали плюгавке этой?

— Как же! Чертова площадь, Бесов переулочек, ищи ветра в поле!

(Смеется.)

Дорога.

Смеется, да не очень. До станции три версты. Квадратная корзинка колотит по ногам, чувство, что руки — по колено. Помощь N отвергаю, — человека из-за мешков не видно! Тригорбый верблюд.

Иду — скриплю. Скрипит и корзинка — правая: гнусное, на каждом шагу, поскрипывание. Около 1 п<уда>. Как бы ручка не оторвалась! (О, идиотизм: за мукой — с корзинами! Мука, которая рифмуется только с одним: мешок! В этих корзинах — вся русская интеллигенция!) Нужно думать о чем-нибудь другом. Нужно понять, что все это — сон. Ведь во сне наоборот, значит... Да, но у сна есть свои сюрпризы: ручка может отвалиться... вместе с рукой. Или: в корзине вместо

муки может оказаться... нет, похуже песка: полное собрание сочинений Стеклова! И не вправе негодовать: сон. (Не оттого ли я так мало негодую в Революции?)

— Да подождите же, говорят! Мешок прорвался!

Корзины наземь. Бегу на зов. Посреди дороги, над мешком, как над покойником, сваха. Подымает красное, страшное, как освежеванное, лицо.

— Ну булавка-то у вас хоть есть — аглицкая? Сколько я, на вашу тетушку шимши, иглол изломала!

Достаю, даю: мужскую, огромную, надежную. Унимаем, как можем, коварно-струящийся мешок. Теща охает:

— И иголка была с ниткой, нарочно приготовила! Чужло мое сердце! (Мешку:) — Ах ты подлец, подлец неверный! А вот прощаться стала с мерзавкой-то вашей, так, значит, замечтавшись, и вынула. Да лучше бы я ей, мерзавке этой, этой самой иголкой — глаза выколола!

— Завтра, завтра, мамаша! — торопит Колька. — Нынче на поезд надо!

Взвалили, пошли.

...Детская книжка есть: «Во сне все возможно», и у Кальдерона еще: «Жизнь есть сон». А у какого-то очаровательного англичанина, не Бердслея, но вроде, такое изречение: «Я ложусь спать исключительно для того, чтобы видеть сны». Это он о снах на заказ, о тех снах, где подсказываешь. Ну, сон, снись! Снись, сон, так: телеграфные столбы — охрана, они сопутствуют. В корзине не мука, а золото (награбила у этих). Несу его тем. А под золотом, на самом дне, план расположения всех красных войск. Иду десятый день, уж скоро Дон. Телеграфные столбы сопутствуют. Телеграфные столбы ведут меня к —

— Ну, М<арина> И<вановна>, крепитесь! С полверсты осталось!

А руки у меня, действительно, до колен, особенно правая. Пот льется, щекоча виски. Все боковые волосы смочены. Не утираю: рука, железка корзины, повторный удар по ноге — одно. Расплетется — конец. Когда больно — нельзя заново.

Так или иначе — станция.

Станция.

Станция. Серо и волнисто. Земля — как небо на батальных картинах. Издалека пугаюсь, спутника за руку.

— Что?!

Н, с усмешкой: — Люди, Марина Ивановна, ждут посадки.

Подходим ближе: мешочные холмы и волны, в промежутках вздохи, платки, спины. Мужчин почти нет: быт Революции, как всякий, ложится на женщину: тогда — снопами, сейчас мешками. (Быт — это мешок: дырявый. И все равно несешь.)

Недоверчивые обороты голов в нашу сторону.

— Господа!

— Москву объели, деревню объедасть пришли!

— Ишь натаскали добра крестьянского!

Я — Н: — Отойдем!

Он, смеясь: — Что вы, М<арина> И<вановна>, то ли будет!

Холодею, в сознании: правоты — их и неправоты — своей.

Платформа живая. Ступить — некуда. И все новые подходят: один как другой, одна как другая. Не люди с мешками — мешки на людях. (Мысленно, с ненавистью: вот он, хлеб!) И как это еще мужики отличают баб? Зипуны, кожухи... Морщины, овчины... Не мужики и не бабы: медведи: *оно*.

— Последние пришли, первые сядут.

— Господа и в рай первые...

— Погляди, сядут, а мы останемся...

— Вторую неделю под небушком ночуем...

У-у-у...

Посадка.

Поезд. — Одновременно, как из-под земли: двенадцать с винтовками. *Наши!* В последнюю секунду пришли посадить. Сердце падает: Разин!

— Что, товарищ, небось сробели? Ничего! Ся-адем!

Безнадежно, я даже не двигаюсь. Не вагоны — завалы. А на встречу завалам вагонным — ревуше, вопиюще, взывающе и глаголюще — завалы платформенные.

— Ребенка задавили! Ре — бенка! Ре —

Лежачая волна — дыбом. Горизонталь — в стремительную и обезумевшую вертикаль. Лезут. Втаскивают. Вваливают. Вваливаются.

Я — через всех — Разину:

— Ну? Ну?

— Ус — пеем, барышня! Не волнуйтесь! Вот мы их сейчас!

— Ребята, осади, стрелять будем!

Ответный рев толпы, шелк в воздух, удар в спину, не знаю где, не знаю что, глаза из ям, взлет...

— А это что ж, а? Это что ж за птицы — за синицы? Штыками? Крестьянского добра награбили да по живому человеку ступать?

— А спусти-ка их, ребята, и дело с концом! Пушай вольным воздухом продышатся!

Поняла, что села и едем. (Все ли? Озирнуться нельзя.) Постепенное осознание: стою, одна нога есть. А другая, «очевидно», тоже есть, но где — не знаю. Потом найду.

А гроза голосов растет.

— Долго очень думать не приходится. Штык посадил, а мужик высадит! Что ж это, в самом деле, за насмешка, мы этой машины-то, небось, семнадцать ден, как Царства Небесного какого... А эти!..

Утешаюсь только одним: извлечь человека из этой гущи — то же самое, что пробку из штофа без штопора: невысказано. Мне быть выброшенной — другим раздаться. А раздаться — разлететься вагону. Точное ощущение предела вместимости: дальше — некуда, и больше нельзя.

Стою, чуть покачиваемая тесным, совместным человеческим дыханием: взад и вперед, как волна. Грудью, боком, плечом, коленом сращенная, в лад дышу. И от этой предельной телесной сплоченности — полное ощущение потери тела. Я — это то, что движется. Тело, в столбняке — оно. Теплушка: вынужденный столбняк.

— Господа — а — а... О — о — о... У — у — у...

Но... нога: ведь нет же! Беспокорство (раздраженное) о ноге покрывает смысл угроз. Нога — раньше... Вот когда найду ногу... И, о радость: находится! Что-то — где-то болит. Прислушиваюсь. Она, она, голубушка! Где-то далеко, глубоко... Боль оттачивается, уже непереносима, делаю отчаянное усилие...

Марина Цветаева. Сергей Эфрон

Рев: — Это кто ж сапогами в морду лезет?!

Но дуб выкорчеван: рядом со мной, как дымовой столб (ни чулка, ни башмака не видно) — моя насущная праведная вторая нога.

И — внезапный всплеск в памяти: что-то темное ввысь! горит!
Ах, рука на прощание, с моим перстнем! Станции Усмань Тамбовской губ<ернии> — последний привет!

Москва, сентябрь, 1918

Сергей Эфрон

ПИСЬМО М.ЦВЕТАЕВОЙ

<В Москву>

26 октября 1918 г.

Коктебель

Дорогая, родная моя Мариночка,

Как я не хотел этого, какие меры против этого не принимал — мне все же приходится уезжать в Добровольческую армию.

— Я Вас ожидал в Коктебеле пять месяцев, послал за это время Вам не менее пятнадцати писем, в которых умолял Вас как можно скорее приехать сюда с Алей. Очевидно, мои письма не дошли либо Ваши обстоятельства сложились так, что Вы не смогли выехать. Все, о чем Вы меня просили в письме, — я исполнил. Я ожидал Вас здесь до тех пор, пока это было для меня возможно. У меня не было денег — я, против своего обыкновения, занимал у кого только можно, чтобы только дотянуть до Вашего приезда. Занимать больше не у кого. Денег у меня не осталось ни копейки. Кроме этого, и ждать-то Вас у меня теперь нет причин — Троцкий окончательно закрыл границы, и никого из Москвы под страхом смертной казни не выпускают.

С ужасом думаю о Вашем житье в Москве. Слышал о «неделе бедноты» — устроенной большевиками. Дай господи, чтобы это все кончилось для вас благополучно. Надеюсь, Никодим, как всегда, вас спасет.

— Вернее всего, что Добровольческая армия начнет движение на Великороссию. Я постараюсь принять в этом движении непосредственное участие — это даст мне возможность увидеть Вас.

— Но может случиться, что я попаду против своего желания в отряд,двигающийся в другом направлении. Тогда не приходите в ужас, ежели среди войск, вступивших в Москву, меня не будет. Это значит, что я нахожусь в данный момент в другом месте.

— Макс Вам все расскажет о моей жизни в Коктебеле. Он мне очень помог во время моего пребывания здесь. (М<ежду> проч<им> я у него задолжал 400 рублей.)

— Макс и Пра были для меня как родные.

Асю видел несколько раз, но мельком. Она живет в Ст<аром> Крыму с Зелинской. Сняли домик, купили корову и проч<ее>.

У Бориса — новорожденная — великолепная девочка. Я, если успею, — буду крестным. Собираются дать ей имя — Ирина.

Не буду писать о всех местных новостях — узнаете от Макса.

— Теперь о главном. Мариночка, — знайте, что Ваше имя я крепко ношу в сердце, что бы ни было — я Ваш вечный и верный друг. Так обо мне всегда и думайте.

Моя последняя и самая большая просьба к Вам — живите.

Не отравляйте свои дни излишними волнениями и ненужной болью.

Все образуется, и все будет хорошо.

При всяком удобном случае — буду Вам писать.

Целую Вас, Алю и Ириночку.

Ваш преданный

<Вместо подписи — рисунок льва>

Марина Цветаева

МОИ СЛУЖБЫ

ПРОЛОГ

Москва, 11 ноября 1918 г.

— Марина Ивановна, хотите службу? — Это мой квартирант влетел. Икс, коммунист, кротчайший и жарчайший.

— Есть, видите ли, две: в банке и в Наркомнаце... и, собственно говоря (прищелкивание пальцами)... я бы, со своей стороны, вам рекомендовал...

— Но что там нужно делать? Я ведь ничего не умею.

— Ах, все так говорят!

— Все так говорят, я так делаю.

— Словом, как вы найдете нужным! Первая — на Никольской, вторая здесь, в здании первой Чрезвычайки.

— Я: —?! —

Он, уязвленный: — Не беспокойтесь! Никто вас расстреливать не заставит. Вы только будете переписывать.

Я: — Расстрелянных переписывать?

Он, раздраженно: — Ах, вы не хотите понять! Точно я вас в Чрезвычайку приглашаю! Там такие, как вы, и не нужны...

Я: — Вредны.

Он: — Это дом Чрезвычайки, Чрезвычайка ушла. Вы, наверное, знаете, на углу Поварской и Кудринской, у Льва Толстого еще... (щелк пальцами)... дом...

Я: — Дом Ростовых? Согласна. А учреждение как называется?

Он: — Наркомнац. Народный комиссариат по делам национальностей.

Я: — Какие же национальности, когда Интернационал?

Он, почти хвастливо: — О, больше, чем в царские времена, уверяю вас!.. Так вот. Информационный отдел при комиссариате. Если вы согласны, я сегодня же переговорю с заведующим. (Внезапно усумнившись:) — Хотя, собственно говоря...

Я: — Постойте, а это не против белых что-нибудь? Вы понимаете...

Он: — Нет, нет, это чисто механическое. Только, должен предупредить, пайка нет.

Я: — Конечно, нет. Разве в приличных учреждениях?..

Он: — Но будут поездки, может быть, повысят ставки... А в банк вы решительно отказываетесь? Потому что в банке...

Я: — Но я не умею считать.

Он, задумчиво: — А Аля умеет?*

Я: — И Аля не умеет.

Он: — Да, тогда с банком безнадежно... Как вы называете этот дом?

Я: — Дом Ростовых.

Он: — Может быть, у вас есть «Война и мир»? Я бы с удовольствием... Хотя, собственно говоря...

Уже лечу, сломя голову, вниз по лестнице. Темный коридор, бывшая столовая, еще темный коридор, бывшая детская, шкаф со львами... Выхватываю первый том «Войны и мира», роняю по соседству второй том, заглядываю, забываю, забываюсь...

— Марина, а Икс ушел! Сейчас же после вашего ухода! Он сказал, что он на ночь читает три газеты и еще одну легкую газетку и что «Войну и мир» не успеет. И чтобы вы завтра позвонили ему в банк, в 9 часов. А еще, Марина (блаженное лицо), он подарил мне четыре куска сахара и кусок — вы только подумайте — *белого хлеба!*

Выкладывает.

— А что-нибудь еще говорил, Алечка?

— Постойте... (наморщивает брови)... да, да, да! Са-бо-таж... И еще спрашивал про папу, нет ли писем. И такое лицо, Марина, сделал... гримасное! Точно нарочно хотел рассердиться...

* Але 4 с половиной года. — *Примеч. авт.*

13 ноября (хорош день для начала!). Поварская, дом гр. Соллогуба, «Информационный отдел Комиссариата по делам национальностей».

Латыши, евреи, грузины, эстонцы, «мусульмане», какие-то «Мара-Мара», «Эн-Дунья», — и все это, мужчины и женщины, в куцавейках, с нечеловеческими (национальными) носами и ртами.

А я-то, всегда чувствовавшая себя недостойной этих очагов (усыпальниц!) *Рода*.

(Говорю о домах с колонистами и о своей робости перед ними.)

14 ноября, второй день службы.

Странная служба! Приходишь, упираешься локтями в стол (кулаками в скулы) и ломаешь себе голову: чем бы таким заняться, чтобы время прошло? Когда я прошу у заведующего работы, я замечаю в нем злобу.

Пишу в розовой зале — розовой сплошь.

Мраморные ниши окон, две огромных завешенных люстры. Мелкие вещи (вроде мебели!) исчезли.

15 ноября, третий день службы.

Составляю архив газетных вырезок, то есть: излагаю своими словами Стеклова, Керженцева, отчеты о военнопленных, продвижение Красной Армии и т.д. Излагаю раз, излагаю два (переписываю с «журнала газетных вырезок» на «карточки»), потом наклеиваю эти вырезки на огромные листы. Газеты тонкие, шрифт еле заметный, а еще надписи лиловым карандашом, а еще клей, — это совершенно бесполезно и рассыпется в прах еще раньше, чем сожгут.

Здесь есть столы: эстонский, латышский, финляндский, молдавский, мусульманский, еврейский и несколько совсем нечленораздельных. Каждый стол с утра получает свою порцию вырезок, которую затем, в течение всего дня, и обрабатывает. Мне все эти вырезки, подклейки и наклейки представляются в виде бесконечных и исхищеннейших варьяций на одну и ту же, очень скудную тему. Точно у композитора хватило пороку ровно на одну музыкальную фразу, а исписать

нужно было стоп тридцать нотной бумаги, — вот и варьирует: варьируем.

Забыла еще столы польский и бессарабский. Я, не без основания, «русский» (помощник не то секретаря, не то заведующего).

Каждый стол — чудовищен.

Слева от меня — две грязных унылых еврейки, вроде селедок, вне возраста. Дальше: красная, белокурая — тоже страшная, как человек, ставший колбасой, — латышка: «Я эфо знала, такой миленький. Он участвофал в загофоре, и эфо теперь пригофорили к расстрелу. Чик-чик»... И возбужденно хихикает. В красной шали. Ярро-розовый жирный вырез шеи.

Еврейка говорит: «Псков взят!» У меня мучительная надежда: «Кем?!!»* Справа от меня — двое (Восточный стол). У одного нос и нет подбородка, у другого подбородок и нет носа. (Кто Абхазия и кто Азербайджан?) За мной семнадцатилетнее дитя — розовая, здоровая, курчавая (белый негр), легкомыслящая и легко-любящая, живая Атенаис из «Боги жаждут» Франса, — та, что так тщательно оправляла юбки в роковой тележке, — «fière de mourir comme une Reine de France»**.

Еще — тип институтской классной дамы («завязтая театралка»), еще — жирная дородная армянка (грудь прямо в подбородок, не понять: где что), еще ублюдок в студенческом, еще эстонский врач, сонный и пьяный от рождения... Еще (разновидность!) — унылая латышка, вся обсосанная. Еще...

(Пишу на службе.)

Опечатка:

«Если бы иностранные правительства оставили в *мое* русский народ» и т.д.

«Вестник Бедноты», 27 ноября, № 32.

Я, на полях: «Не беспокойтесь! Постоят-постоят — и оставят!»

* Только позднее поняла: «взят» — конечно: «нами!» Если бы белыми — так «отдан». — *Примеч. авт.*

** Готовая умереть, как французская королева (*фр.*).

Пересказываю, по долгу службы, своими словами какую-то газетную вырезку о необходимости, на вокзалах, дежурства грамотных:

«На вокзалах денно и ночью должны дежурить грамотные, дабы разъяснить приезжающим и отъезжающим разницу между старым строем и новым».

Разница между старым строем и новым:

Старый строй: — «А у нас солдат был»... «А у нас блины пекли»... «А у нас бабушка умерла».

Солдаты приходят, бабушки умирают, только вот блинов не пекут.

Встреча.

Бегу в Комиссариат. Нужно быть к девяти, — уже одиннадцать: стояла за молоком на Кудринской, за воблой на Поварской, за конопляным на Арбате.

Передо мной дама: рваная, худенькая, с кошелкой. Равняюсь. Кошелка тяжелая, плечо перекосилось, чувствую напряжение руки.

— Простите, сударыня. Может быть, вам помочь?

Испуганный взлет:

— Да нет...

— Я с удовольствием понесу, вы не бойтесь, мы рядом пойдём.

Уступает. Кошелка, действительно, чертова.

— Вам далеко?

— В Бутырки, передачу несусь.

— Давно сидит?

— Который месяц.

— Ручателей нет?

— Вся Москва — ручатели, потому и не выпускают.

— Молодой?

— Нет, пожилой... Вы, может быть, слышали? Бывший градоначальник, Д<жунков>ский.

С Д<жунков>ским у меня была такая встреча. Мне было пятнадцать лет, я была дерзка. Асе* было тринадцать лет, и она

* Моей сестре. — *Примеч. авт.*

была нагла. Сидим в гостях у одной взрослой приятельницы. Много народу. Тут же отец. Вдруг звонок: Д<жунков>ский. (И ответный звонок: «Ну, Д<жунков>ский, держись!») Знакомимся. Мил, обаятелен. Меня принимает за взрослую, спрашивает, люблю ли я музыку. И отец, памятуя мое допотопное вундеркиндство:

— Как же, как же, она у нас с пяти лет играет!

Д<жунков>ский, любезно:

— Может быть, сыграете?

Я, ломаясь:

— Я так все перезабыла... Боюсь, вы будете разочарованы...

Учтивость Д<жунков>ского, уговоры гостей, настойчивость отца, испуг приятельницы, мое согласие.

— Только разрешите, для храбрости, сначала с сестрой в четыре руки?

— О, пожалуйста.

Подхожу к Асе и шепотом на своем языке:

— Wi(pi) rwe(pe) rde(pe) n To(po) nlei(pei) te(pe)r Spi(pi)...

Ася не выдерживает.

Отец: — Что это вы там, плутовки?

Я — Асе: «Гаммы наоборот!»

Отцу:

— Это Ася стесняется.

Начинаем. У меня: в правой руке ре, в левой до (я в басах). У Аси — в левой руке ре, в правой до. Идем навстречу (я слева направо, она справа налево). При каждой ноте громогласный двуголосный счет; раз и, два и, три и... Гробовое молчание. Секунд через десять неуверенный голос отца:

— Что это вы, господа, так монотонно? Вы бы что-нибудь поживее выбрали.

В два голоса, не останавливаясь:

— Это только сначала так.

Наконец, моя правая и Асиная левая — встретились.

Встаем с веселыми лицами.

Отец — Д<жунков>скому: «Ну, как вы находите?»

И Д<жунков>ский, в свою очередь вставая: «Благодарю вас, очень отчетливо».

Рассказываю. По ее просьбе называю себя. Смеемся.

— О, он не только к шуткам был снисходителен. Вся Москва...

На углу Садовой прощаемся. Снова под тяжестью кошелки перекашивается плечо.

— Ваш батюшка умер?

— До войны.

— Уж и не знаешь, жалеть или завидовать.

— Жить. И стараться, чтобы другие жили. Дай вам Бог!

— Спасибо. И вам.

Институт.

Думала ли я когда-нибудь, что после стольких школ, пансионов и гимназий буду отдана еще и в Институт?! Ибо я в Институте, и именно отдана (Иксом).

Прихожу между 11 ч. и 12 ч., каждый раз сердце обмирает: у нас с Заведующим одни привычки (министерские!). Это я о главном Заведующем — М<илле>ре, своего собственного, Иванова, пишу с маленькой буквы.

Раз встретились у вешалки, — ничего. Поляк: любезен. А я по бабушке ведь тоже полячка.

Но страшнее заведующего — швейцары. Прежние. Кажется, презирают. Во всяком случае, первые не здороваются, а я стесняюсь. После швейцаров главная забота не спутаться в комнатах. (Мой идиотизм на места.) Спрашивать стыдно, второй месяц служу. В передней огромные истуканы-рыцари. Оставлены за ненужностью... никому, кроме меня. Но мне нужны, равно как я, единственная из всех здесь, им сродни. Взглядом прошу защиты. Из-под забрала отвечают. Если никто не смотрит, тихонько глазу кованую ногу. (Втрое выше меня.)

Зала.

Вхожу, нелепая и робкая. В мужской мышиною фуфайке, как мышь. Я хуже всех здесь одета, и это не ободряет. Башмаки на веревках. Может быть, даже есть где-нибудь шнурки, но... кому это нужно?

Самое главное: с первой секунды Революции понять: Всё пропало! Тогда — всё легко.

Прокрадываюсь. Заведующий (собственный, маленький) с места:

— Что, товарищ Эфрон, в очереди стояли? — В трех. — А что выдавали? — Ничего не выдавали, соль выдавали. — Да, соль, это тебе не сахар!

Ворох вырезок. Есть с простыню, есть в строчку. Выискиваю про белогвардейцев. Перо скрипит. Печка потрескивает.

— Товарищ Эфрон, а у нас нынче на обед конина. Советую записаться.

— Денег нет. А вы записались?

— Какое!

— Ну что ж, будем тогда чай пить. Вам принести?

Коридоры пусты и чисты. Из дверей шелк машинок. Розовые стены, в окне колонны и снег. Мой розовый райский дворянский Институт! Покружив, набредаю на спуск в кухню: схождение Богородицы в ад или Орфея в Аид. Каменные, человеческой ногой протертые плиты. Отлогод, держаться не за что, ступени косят и крутят, в одном месте летят стремглав. Ну и поработали же крепостные ноги! И подумать только, что в домашней самодельной обуви! Как зубами изгрызаны! Да, зуб, единственного зубастого старца: Хроноса — зуб!

Наташа Ростова! Вы сюда не ходили? Моя бальная Психея! Почему не вы — потом, когда-то — встретили Пушкина? Ведь имя то же! Историкам литературы и переучиваться бы не пришлось. Пушкин — вместо Пьера и Парнас — вместо пленок. Стать богиней плодородия, быв Психеей, — Наташа Ростова — не грех?

Это было бы так. Он приехал бы в гости. Вы, наслышанная про поэта и арапа, востроватым личиком вынырнули бы — и чем-то насмешенная, и чем-то уже пронзенная... Ах, взмах розового платья о колонну!

Захлестнута колонна райской пеной! И ваша — Афродиты, Наташи, Психеи — по крепостным скользящим плитам — лирическая стопа!

— Впрочем, вы просто по ним пролетали за хлебом на кухню!

Но всему конец: и Наташе, и крепостному праву, и лестнице. (Говорят, что когда-нибудь и Времени!) Кстати, лестница не так длинна, — всего двадцать две ступеньки. Это я только по ней так долго (1818 г. — 1918 г.) шла.

Твердо. (Хочется сказать: твердь. Моложе была и монархия была — не понимала: почему *небесная* твердь. Революция и собственная душа научили.) Выбоины, провалы, обвалы. Расставленные руки нащупывают мокрые стены. Над головой, совсем близко, свод. Пахнет сыростью и Бониваром. Мнится, и цепи лязгают. Ах, нет, это звон кастрюлек из кухни! Иду на фонарь.

Кухня: жерло. Так жарко и красно, что ясно: ад. Огромная, в три сажени, плита исходит огнем и пеной. «Котлы кипят кипучие, ножи точат булатные, хотят козла зарезать...» А козел-то я.

Черед к чайнику. Черпают уполовником прямо из котла. Чай древесный, кто говорит — из коры, кто — из почек, я просто вру — из корней. Не стекло — ожог. Наливаю два стакана. Обертываю в полы фуфайки. На пороге коротким движением ноздрей втягиваю конину: сидеть мне здесь нельзя — у меня нет друзей.

- Ну-с, товарищ Эфрон, теперь и побездельничать можно! (Это я пришла со стаканами.)
- Вам с сахарином или без?
- Валите с сахарином!
- Говорят, на почки действует. А я, знаете...
...Да и я, знаете...

Мой заведующий эсперантист (т.е. коммунист от Филологии). Рязанский эсперантист. Когда говорит об Эсперанто, в глазах теплится тихое безумие. Глаза светлые и маленькие, как у старых святых, или еще у Пана в Третьяковской галерее. Сквозные. Чуть блудливые. Но не плотским блудом, а другим каким-то, если бы не дикость созвучия, я бы сказала: запредельным. (Если можно любить Вечность, то ведь можно и блудить с нею! И блудящих с нею (словесников!) больше, нежели безмолвствующих любящих!)

Рус. Что-то возле носа и подбородка. Лицо одутлое, непроспанное. Думаю, пьяница.

Пишет по-новому — в ожидании всемирного эсперанто. Политических убеждений не имеет. Здесь, где все коммунисты, и это благо. Красного от белого не отличает. Правой от левой не отличает. Мужчин от женщин не отличает. Поэтому

его товариществование совершенно искренно, и я ему охотно плачу тем же. После службы ходит куда-то на Тверскую, где с левой стороны (если спускаться к Охотному) эсперантский магазин. Магазин закрыли, витрина осталась: засиженные мухами открытки эсперантистов друг к другу со всех концов света. Смотрит и вожделеет. Здесь служит, потому что обширное поле для пропаганды: все нации. Но уже начинает разочаровываться.

— Боюсь, товарищ Эфрон, что здесь все больше... (шепотом) жида, жида и латыши. Не стоило и поступать: этого добра — вся Москва полна! Я рассчитывал на китайцев, на индусов. Говорят, что индусы очень восприимчивы к чужой культуре.

Я: — Это не индусы, это — индейцы.

Он: — Краснокожие?

Я: — Да, с перьями. Зарежут — и воспримут целиком. Если ты во френче — с френчем, если ты во фраке — с фракком. А индусы — наоборот: страшная тупость. Ничто чужое в глотку не идет, ни идейное, ни продовольственное. (Вдохновляясь:) — Хотите формулу? Индеец (европейца) воспринимает, индус (Европу) извергает. И хорошо делают.

Он, смущенный:

— Ну, это вы... Я, впрочем... Я больше от коммунистов слышал, они тоже рассчитывают на Индию... (В свою очередь вдохновляясь:) — Думал — в лоск разэсперанчу! (Опадая:) — Без пайка — и ни одного индуса! Ни одного негра! Ни одного китайца даже!.. А эти (круговой взгляд на пустую залу) — и слушать не хотят! Я им: Эсперанто, они мне: Интернационал! (Испугавшись собственного крика:) — Я ничего не имею против, но сначала Эсперанто, а потом уж... Сначала слово...

Я, впадая:

— А потом *дело*. Конечно. Сначала бе слово и слово бе...

Он, снова взрываясь:

— И этот Мара-Мара! Что это такое? Откуда взялось? Я от него еще — не только слова: звука не слышал! Это просто немой. Или идиот. Ни одной вырезки не получает — только жалованье. Да мне не жаль. Бог с ним, но *зачем приходит*? Ведь каждый день, дурак, приходит! До четырех, дурак, сидит. Приходил бы 20-го, к получке.

Я, коварно:

— А может быть, он, бедненький, все надеется? Приду, а на столе вырезка про мою Мару-Мару?

Он, раздраженно:

— Ах, товарищ Эфрон, бросьте! Какие там вырезки? Кто про эту Мару-Мару писать будет? Где она? Что она? Кому она нужна?

Я, задумчиво:

— А в географии ее нет... (Пауза.) И в истории нет... А что, если ее вообще нет? Взяли и выдумали — для форсу. Дескать, все нации. А этого нарядили... А это просто немой... (конфиденциально:) — Нарочно немого взяли, чтоб себя не выдал, по-русски...

Он, с содроганием доглатывая остывший чай:

— А ччёрт их знает!

Топотá и грохотá. Это национальности возвращаются с кормежки. Подкрепившись кониной, за вырезки. (Лучше бы вырезку, а? Кстати, до революции, руку на сердце положи, не только не отличала вырезку от требухи, — крупы от муки не отличала! И ничуть не жалею.)

Товарищ Иванов, озабоченно:

— Товарищ Эфрон, товарищ М<илле>р может зайти, спровадим-ка поскорей наше барахло. (Разгребает:) — «Продвижение Красной Армии»... Стеклова статья... «Ликвидация безграмотности»... «Долой белогвардейскую свол...» — Это вам — «Буржуазия орудует»... Опять вам... «Все на красный фронт»... Мне... «Обращение Троцкого к войскам»... Мне... «Белоподкладочники и белогвар...» Вам... «Приспешники Колчака»... Вам... «Зверства белых»... Вам...

Потопаю в белизне. Под локтем — Мамонтов, на коленях — Деникин, у сердца — Колчак.

— Здравствуй, моя «белогвардейская сволочь»! Строчу со страстью.

— Да что же вы, товарищ Эфрон, не кончаете? Газету, №, число, кто, о чем, — никаких подробностей! Я сначала было тоже так — полотнищами, да М<илле>р наставил: бумаги много изводите.

— А М<илле>р верит?

— Во что?

— Во всё это.

- Да что тут верить! Строчи, вырезай, клей...
- И в Лету — бух! Как у Пушкина.
- А М<илле>р очень образованный человек, я все еще не потерял надежду...
- Представьте, мне тоже кажется! Я с ним недавно встретила у виселицы... фу ты, господи! — У вешалки: все эти «белогвардейские зверства» в голове... Четверть первого! Ничего, даже как-то умно поглядел... Так вы надеетесь?
- Как-нибудь вечером непременно затащу его в клуб эсперантистов.
- Аспирант в эсперанты?

Espère, enfant, demain! Et puis demain, encore...
Et puis toujours demain... Croyons en l'avenir.
Espère! Et chaque fois que se lève l'aurore
Soyons là pour prier comme Dieu pour nous bénir
Peut-être...*

Ламартина стих. Вы понимаете по-французски?

- Нет, но представьте себе, очень приятно слушать. Ах, какой бы из вас, товарищ Эфрон, эсперантист...
- Тогда я еще скажу. Я в 6-м классе об этом сочинение писала:

«A une jeune fille qui avait raconté son rêve».
Un baiser... sur le front! Un baiser — même en rêve!
Mais de mon triste front le frais baiser s'enfuit...
Mais de l'été jamais ne reviendra la sève,
Mais l'aurore jamais n'atteindra la nuit** —

* Надейся, дитя, завтра! И потом — завтра — опять...
И потом — всегда — завтра... Будем верить в будущее.
Надейся! И всякий раз, как заря начинает вставать,
Будем просить, чтобы Бог благословил нас,
Может быть... (фр.)

** «Девушке, рассказавшей свой сон».
Поцелуй... в лоб! Поцелуй — лишь во сне!
Но недавний поцелуй слетает с моего грустного лба...
Но из лета никогда не вернуться живительному соку,
И заря никогда не одолеет ночь (фр.).

Вам нравится? (И, не давая ответить:) — Тогда я вам еще дальше скажу:

Un baiser sur le front! Tout mon être frissonne,
On dirait que mon sang va remonter son cours...
Enfant! — ne dites plus Vos rêves à personne
Et ne rêvez jamais... ou bien — rêvez toujours!*

Правда, пронзает? Тот француз, которому я писала это сочинение, был немножко в меня... Впрочем, вру: это была француженка, и я была в нее...

— Товарищ Эфрон! (Шепот почти над ухом. Вздрагиваю. За плечом мой «белый негр», весь красный. В руке хлеб.) — Вы не обедали, может хотите? Только предупреждаю, с отрубями...

— Но вам же самой, я так смущена...

— А вы думаете... (морда задорная, в каждой бараньей кудре — вызов)... я его на Смоленском покупала? Мне Филимович с Восточного стола дал, — пайковый, сам не ест. Половину съела, половину вам. Завтра еще обещал. А целоваться все равно не буду!

(Озарение: завтра же подарю ей кольцо — то, тоненькое с альмандином. Альмандин — Алладин — Альманзор — Альгамбра — ...с альмандином. Она хорошенькая, и ей нужно. А я все равно не сумею продать.)

Дон. — Дон. — Не река-Дон, а звон. Два часа. И — новое озарение: сейчас придумаю срочность и уйду. Про белогвардейцев сейчас кончу — и уйду. Быстро и уже без лирических отступлений (я — вся такое отступление!) осыпаю серую казенную бумагу перлами своего почерка и виперами своего сердца. Только ять выскакивает, контрреволюционное, в виде церковки с куполом. — Ять!!! — «Товарищ Керженцев кончает свою статью пожеланием генералу Деникину верной и быстрой виселицы. Пожелаем же и мы, в свою очередь, товарищу Керженцеву»...

* Поцелуй в лоб! Все мое существо дрожит,
И кажется, кровь возобновляет свой круг...
Дитя! — Не рассказывайте Ваших снов никому
И не грезьте никогда — или — мечтайте всегда! (фр.)

— Сахарин! Сахарин! На сахарин запись! — Все вскакивают. Надо воспользоваться чужим сластолюбием в целях своего свободолюбия. Вкрадчиво и нагло подсовываю Иванову свои вырезки. Накрываю половинкой бело-негрского хлеба. (Другая половинка — детям.)

— Товарищ Иванов, я сейчас уйду. Если М<илле>р спросит, скажите, в кухне, воду пью.

— Идите, идите.

Сгребая черновую с Казановой, кошелку с 1 ф<унтом> соли... и боком, боком...

— Товарищ Эфрон! — нагоняет меня уже возле рыцарей. — Я завтра совсем не приду. Очень бы вас просил, приходите — ну — хотя бы к 10¹/₂ часам. А послезавтра, тогда, совсем не приходите. Вы меня крайне выручите. Идет?

— Есть!

Тут же, при недоумевающих швейцарах, молодежато отдаю честь и гоном — гоном — белогвардейской колоннадой, по оснеженным цветникам, оставляя за собой и национальности, и сахарин, и эсперанто, и Наташу Ростову — к себе, к Але, к Казанове: домой!

Из «Известий»:

«Господство над морем — господство над миром!»
(Упоена как стихом.)

9/23 января (Известия Ц.И.К. «Наследник»).

Кто-то читает: «Малолетний сын Корнилова, Георгий, назначен урядником в Одессе».

Я, сквозь общий издевательский хохот, невинно:

— Почему урядником? Отец же не служил в полиции!
(А в груди клокочет.)

Чтец: — Ну там, знаете, они все жандармы!

(Самое трогательное, что ни коммунист, ни я в ту минуту и не подозревали о существовании казачьих урядников.)

В нашем Наркомнаце есть домашняя церковь — соллогу-бовская, конечно. Рядом с моей розовой залой. Недавно с «белым негром» прокрались. Тьма, сверкание, дух как из погребца. Стояли на хорах. «Белый негр» крестился, я больше думала о предках (привидениях!). В церкви мне хочется

молиться, только когда поют. А Бога в помещении вообще не чувствую.

Любовь — и Бог. Как это у них спевается? (Любовь как стихия любовного. Эрос земной.) Кошусь на своего «белого негра»: молится, глаза невинные. С теми же невинными глазами, теми же моленными устами...

Если бы я была верующей и если бы я любила мужчин, это во мне бы дралось, как цепные собаки.

Отец моего «белого негра» служит швейцаром в одном из домов (дворцов), где часто бывает Ленин (Кремль). И мой «белый негр», часто бывая на службе у отца, постоянно видит Ленина. — «Скромный такой, в кепке».

«Белый негр» — белогвардеец, то есть, чтобы не смешивать: любит белую муку, сахар и все земные блага. И, что уже серьезнее, горячо и глубоко богомолен.

— Идет он мимо меня, М<арина> И<вановна>, я: «Здрасьте, Владимир Ильич!» — а сама (дерзко-осторожный взгляд вокруг): — Эх, что бы тебя, такого-то, сейчас из револьвера! Не грабь церквей! (разгораясь): — И знаете, М<арина> И<вановна>, так просто, вынула револьвер из муфты и ухлопала!.. (Пауза). — Только вот стрелять не умею... И папашу расстреляют...

Попади бы мой негр в хорошие руки, умеющие стрелять и умеющие учить стрелять, и, что больше, — умеющие губить и не жалеть — э-эх!..

Есть у нас в Комиссариате одна старая дева — тощая — с бантом — влюбленная в своих великовозрастных братьев-врачей, достающая им по детским карточкам шоколад, — пронира, сутяга, между прочим, знающая языки («такая семья»), и т.д. Когда она слышит о чьей-нибудь болезни, то — с непоколебимой уверенностью — и точно отрубая что-то рукой — определяет: «Заразилась» или «Заразился», смотря по тому, идет ли речь о лице женского или мужского пола.

Тиф или ишиас — у нее всё с<ифи>лис.

Стародевический психоз.

А есть другая — пухлая, сырая, бабушкина внучка, подружка моего «белого негра», провинциалочка. Это совсем трогательная девочка. Только недавно приехала из Рыбинска. До-

ма остались бабушка и братец. Двойной и неистощимый кладезь блаженств.

— Наша бабушка такая: маленьких детей не выносит. Грудного нипочем на руки не возьмет: запах, говорит, от них и беспокойство. Ну, а подрастут — ничего. Нарядит, научит. Меня с шестого года растила. «Кушать хочешь?» — «Хочу». — «Ну, иди на кухню, смотри, как обед готовится». Так я с десяти лет уж решительно все умела (оживляясь): не только пироги там, котлеты, — и паштеты, и заливное, и торты... Так же и с шитьем: «Ты девочка, тебе женщиной быть, хозяйкой, детей-мужа обшивать». Я — бегать, она меня за ручку да на скамеечку: «платки подрубай», «полотенца меть», а война началась — на раненых. Сама кроила, сама шила. Потом папаша женился — сиротка я — братец народился, все приданое ему сама... Все пеленки с меточками, гладью... А одеяльце его, в чем гулять выносят, так все моим кружевом обшито, в четыре пальца, кремовое... (Блаженно:) — Ведь бабушка меня и вязать, и гладью... Пяльцы мне собственные заказала... Мы богато жили! А всё сама! И бабушка сама, и я сама... Я не могу, чтобы руки зря лежали!

Смотрю на руки: ручки: золотые! Маленькие, пухлые: стройные востроватые пальчики. Крохотное колечко с бирюзинкой. Был жених, недавно расстрелян в Киеве.

— Мне его приятель писал, тоже студент-медик. Выходит мой Коля из дому, двух шагов не прошел — выстрелы. И прямо к его ногам человек падает. В крови. А Коля — врач, не может же он раненого оставить. Оглянулся: никого. Ну и взял, стащил к себе в дом, три дня выхаживал. — Офицер белый оказался. А на четвертый пришли, забрали обоих, вместе и расстреляли...

Ходит в трауре. Лицо из черноты землисто-серое. Недоедание, недосыпание, одиночество. Тошная, непонятная, непривычная работа в Комиссариате. Призрак жениха. Беспризорность.

Бедная тургеневская мешаночка! Эпическая сиротка русских сказок! Ни в ком, как в ней, я так не чувствую великого сиротства Москвы 1919 г. Даже в себе.

Недавно заходила ко мне, стояла над моими развороченными сундуками: студенческий мундир, офицерский френч, сапоги, галифе, — погоны, погоны, погоны...

— Марина Ивановна, вы лучше закройте. Закройте и замок повесьте. Пыль набивается, летом моль съест... Может, еще вернется...

И, задумчиво разглаживая какой-то беспомощный рукав:

— Я бы так не могла. Совсем как человек живой... Я и сейчас плачу...

Недавно были с ней в оперетке: она, «белый негр» и я (в первый раз в жизни). Напевы милые, стихи плохие. Сух и жесток русский язык в польских устах. Но... какая-то любовь, но... вне селедок и кошелок, но... свет, смех, жест!

Убожество? Но мне чем хуже — тем лучше. «Настоящее искусство» меня бы сейчас оскорбило. Все требования бы встали: «я не скот!»

А так — подделка за подделку: после фарса советского — полусветский фарс.

Два слова еще о моей «невесте». С глазами, заплаканными по жениху (чудесные, карие), часами и жалобно выматывает себе и окружающим душу: «Я так люблю все жирное и сладкое... Я раньше гораздо полнее была... Я без сливочного масла жить не могу... Мне мороженая картошка в рот не идет»...

О ты, единственное блюдо
Коммунистической страны!

(Стих о вобле в меньшевицкой газете «Всегда вперед».)

Мой помощник.

Наш стол обогатился новым сотрудником (собездельником было бы точней). Богатырь, малиновый налив, волжанин. Вечно и зверски голоден. За обедом безнадежно просит надбавки: молча подставленная тарелка кротко и упорно вопиет. Ест *всё*.

Собой красавец: восемнадцать лет, румянец такой, что жарко рядом сидеть: печь! Безбород и безус. Робок. Боится двинуться — знает, что сокрушит. Боится кашлянуть — знает, что оглушит. Робость и кротость великана. У меня к нему нежность, как к огромному теленку: безнадежная, потому что дать — нечего.

Узрев его впервые у стола — уральского ведмедя над кружевом «Известий», мы с Ивановым одновременно усмехнулись. Что думал Иванов — не знаю, я же в ту секунду знала: «Завтра не приду, и послезавтра не приду, и после-послезавтра не приду. Буду стирать и писать».

Не приходила не три дня, а шесть. На седьмой являюсь. Стол чист — ни одной вырезки: как языком слизано. Иванова — ни признака. Медведь, расставив локти, один царствует.

Я, обеспокоенно:

— А где Иванов? Где вырезки?

Медведь, сияя:

— Иванова я с тех пор в глаза не видал! Я здесь целую неделю один восседал.

Я, в ужасе:

— Но вырезки? Журнал вели?

Он, блаженно:

— Какое — журнал! Всё в корзине! Попытался было — перо плохое, бумага праховая, пишу — сам не разбираю. И такой сон на меня напал... К весне, должно быть.

(Я, мысленно: «Врешь, медведь, к зиме!»)

Он, продолжая:

— Ну, думаю, была не была! Сгреб это я их, простыни-то эти, и в корзину. Утром прихожу — пусто. Должно быть, уборщица сожгла. И каждый день так. Маленькие все целы, для вас берег.

Выдвигает ящик: сонм белых бабочек!

И я, обольщенная строчкой и уже оторвавшись: мысленно:

«Сонм белых бабочек! Раз, две... четыре»...

(— нет! —)

Сонм белых девочек! Раз, две... четыре...

Сонм белых девочек! Да нет — в эфире

Сонм белых бабочек! Прелестный сонм

Великих маленьких княжон...

и, отрываясь, к «сотруднику»:

— Сейчас мы все это восстановим... (мысленно: кроме великих княжон!) — разберите хронологически.

Он:

— Как это?

Я: — По числам. Ну, 5 февраля. Римское II — это февраль, Вам ясно? I — январь. II — февраль...

Не дышит и не мигает.

— Тогда, постойте... Тогда просто пишете письмо домой. Берите перо и пишете: «Милая мама, мне здесь очень скучно и голодно»... В этом роде, или наоборот: «Мне здесь очень весело и сытно». Потому что иначе она огорчится. А я сейчас буду восстанавливать статьи Стеклова и Керженцева.

Он, восхищенно: — Из головы?!

Я: — Не из сердца же!

И, махом: «В статье от 5 февраля 1919 г. «Белогвардейщина и белый слон»* товарищ Керженцев утверждает...»

Перекочевываем на новое пепелище — из дома Ростовых в Иерусалимское подворье. Целых десять дней перебираем. Докрадываем остатки ростовско-соллогубовского добра. Я взяла себе на память тарелку с гербом. В кирпично-красном поле — борзая. Лирическая кража, даже рыцарская: тарелка не глубокая и не мелкая, по нынешнему времени — явно для полужидкой воблы, а дома у меня на ней будет стоять чернильница.

Бедные соллогубовские эльзевиры! В раскрытых ящиках! Под дождем! Пергаментные переплеты, французские витиеватые литеры... Своят возами. Библиотечной комиссией заведует Брюсов.

Везут: диваны, комоды, люстры. Рыцари мои остаются. Вписанные в стену портреты, кажется, тоже. На месте — де-леж. Ревностный спор «столов».

— Это нашему заведующему!

— Нет, нашему!

— У нас уж стол карельской березы, к нему и кресло.

— Вот именно потому, что у вас стол, у нас будет кресло!

— Но нельзя же разбивать гарнитур!

Я, сентенциозно:

— Можно разбивать только головы!

* Никогда не существовавшей! — *Примеч. авт.*

«Столы» бескорыстны, — мы все равно ничего не получим. Все в кабинеты заведующих. Влетает мой «белый негр»:

— Товарищ Эфрон! Если бы вы знали, как у Ц-лера хорошо! Секретер красного дерева, ковер, бронзовые бра! Точно в старое время! Хотите, посмотрим?

Бежим через этажи. Комната №... Отдел такой-то... Кабинет заведующего. Входим. Негр торжествующе:

— Ну?

— Еще бы подушку под ноги и болонку...

— Будет с него и кота!

В глазах веселящийся бес.

— Товарищ Эфрон! Поймаем ему кота! Тут в 18-й квартире есть. А?

Я, лицемерно:

— Но он здесь все загадит.

— Вот этого-то я и хочу! Громилы проклятые!

Через три минуты кот выкраден и заперт. «Служба» кончена. Летим, родства не помня, со всех шести этажей.

— Товарищ Эфрон! Малиновая оттоманка-то, а?

— А графинины ковры-то, а?

Вдогон диaboлическое мяуканье мстителя.

Три насущных М.

— Ну, как довели картошку?

— Да ничего, муж встретил.

— Вы знаете, надо в муку прибавлять картошку: $\frac{2}{3}$ картошки, $\frac{1}{3}$ муки.

— Правда? Нужно будет сказать матери. У меня: ни матери, ни мужа, ни муки.

Мороженая картошка.

— Товарищ Эфрон! Картошку привезли! Мороженая!

Узнаю, конечно, позже всех, но дурные вести — всегда слишком рано.

«Наши» уехали в экспедицию, сулили сахарные россыпи и жировые залежи, проехали два месяца и привезли... мороженую картошку! По три пуда на брата. Первая мысль: как довести? Вторая: как съесть? Три пуда гнили.

Картошка в подвале, в глубоком непроглядном склепе. Картошка сдохла, и ее похоронили, а мы, шакалы, разроем и бу-

дем есть. Говорят, привезли здоровую, но потом вдруг кто-то «запретил», а пока запрет сняли, картошка, сперва замерзнув, затем оттаяв, сгнила. На вокзале пролежала три недели.

Бегу домой за мешками и санками. Санки — Алины, детские, бубенцовые, с синими вожжами, — мой подарок ей из Владимирского Ростова. Просторное плетение корзиночкой, спинка обита кустарным ковром. Только двух собак запрячь — и айда! — в северное сияние...

Но собакой служила я, северное сияние же оставалось позади: ее глаза! Ей тогда было два года, она была царственна. («Марина, подари мне Кремль!» — пальцем указывая на башни.) Ах, Аля! Ах, санки по полуденным переулкам! Моя тигровая шуба (леопард? барс?), которую Мандельштам, влюбившись в Москву, упорно величал боярской. Барс! Бубенцы!

У подвала длинный черед. Обмороженные ступени лестницы. Холод в спине: как втащить? Свои руки, — в эти чудеса я верю, но... три пуда вверх! По тридцати упирающимся и отбрасывающим ступеням! Кроме того, один полоз сломан. Кроме того, я не уверена в мешках. Кроме всего, я так веселюсь, что — умри! — не помогут.

Впускают партиями: по десять человек. Все — парами, мужья прибежали со своих служб, матери приплелись. Оживленные переговоры, планы: тот обменяет, этот два пуда насытит, третий в мясорубку пропустит (это три пуда-то?! — *есть* собираюсь, очевидно, только я.

— Товарищ Эфрон, добавочные брать будете? На каждого члена семьи полпуда. У вас есть удостоверение на детей?

Кто-то:

— Не советую! Там одна слизь осталась.

Кто-то еще:

— Загнать можно!

Продвигаемся. Охи, вздохи, временами — смех: в темноте чьи-то руки встретились: мужская с женской. (Мужская с мужской — не смешно.) Кстати, откуда это веселящее действие Эроса на малых сих? Вызов? Самооборона? Скудость средств выявления? Робость под прикрытием легкости? Дети ведь, испугавшись, тоже часто смеются. «L'amour n'est ni joyeux ni tendre»*.

* Любовь — не веселье и нежность (*фр.*)

А может быть — верней всего — никакого аmour, просто неожиданность: мужская с мужской — ругань, мужская с женской — смех. Неожиданность и безнаказанность.

Говорят о предстоящем суде над сотрудниками, — представили огромные счета и на закупленное, и на прожитое: какие-то постои, подводы, извозчики... Себе, конечно, навезли всего.

— Вы заметили, как такой-то отъелся?

— А такой-то? Щеки лопаются!

Впустили. Навстречу ошалелая вереница санок. Полозья по ногам. Окрики. Тьма. Идем по лужам. Запах поистине тлетворный.

— Да посторонитесь же!!!

— Товарищ! Товарищ! Мешок лопнул!

Хлипь. Хлябь. Ноги уходят по щиколку. Кто-то, тормозя весь цуг, яростно разуваётся: валенки насквозь! Я давно уже не чувствую ног.

— Да свет-то когда-нибудь — будет?!

— Товарищи! Удостоверение потеряла! Ради всего святого — спичку!

Вспыхивает. Кто-то на коленях, в воде, беспомощно разгребает слизь.

— Да вы в карманах поищите! — Вы, может, дома забыли? — Да разве тут найдешь?! — Продвигайтесь! Продвигайтесь! — Товарищи, встречная партия! Берегись!!!

И — прогал. Прогал и водопад. Квадратная дыра в потолке, сквозь которую дождь и свет. Хлещет, как из дюжины труб. — Потонем! — Прыжки, скачки, кто-то мешок упустил, у кого-то в проходе санки завязли. — Господи!

Картошка на полу: заняла три коридора. В конце, более защищенном, менее гнилая. Но иного пути к ней, кроме как по ней же, нет. И вот: ногами, сапогами... Как по медузье горю какой-то. Брать нужно руками: три пуда. Не оттаявшая слиплась в чудовищные гроздья. Я без ножа. И вот, отчаявшись (рук не чувствую) — какую попало: раздавленную, мороженую, оттаявшую... Мешок уже не вмещает. Руки, окончательно окоченев, нё завязывают. Пользуюсь темнотой, начинаю плакать, причем тут же и кончаю.

— На весы! На весы! Кому на весы?!

Взваливаю, ташу.

Развешивают два армянина, один в студенческом, другой в кавказском. Белоснежная бурка глядит пятнистой гиеной. Точно архангел коммунистического Страшного Суда! (Весы заведомо врут!)

— Товарищ барышна! Не задерживай публику!

Ругань, пинки. Задние напирают. Я загромоздила весь проход. Наконец кавказец, сжалившись — или рассердившись, откатывает мой мешок ногой. Мешок, слабо завязанный, рассыпается. Ключанье. Хлипанье. Терпеливо и не торопясь подбираю.

Обратный путь с картошкой. (Взяла только два пуда, третий утаила.) Сначала беснующимися коридорами, потом сопротивляющейся лестницей, — слезы или пот на лице, не знаю.

И не знаю, дождь иль слезы
На лице горят моем...

Может, и дождь! Дело не в этом! Полоз очень слаб, расщепился посередине, навряд ли доедем. (Не я везу санки, вместе везем. Санки — сподвижник по беде, а беда — картошка. Собственную беду везем!)

Боюсь площадей. Арбатской не миновать. Можно было с Пречистенского переулками, но там спуталась бы. Ни снега, ни льда: везу по воде, местами — по сухому. Задумчиво люблюсь на булыжники, уже розовые...

— О, как все это я любила!

Вспоминаю Стаховича. Увидь он меня сейчас, я бы неизбежно сделалась для него предметом гадливости. Все, вплоть до лица, в подтеках. Я не лучше собственного мешка. Мы с картошкой сейчас — одно.

— Да куда ты пре-ешь! Нешто это можно — прямо на людей?! Буржуйка бесхвостая!

— Конечно, бесхвостая, — только черти хвостатые!

Кругом смех.

Солдат, не унимаясь:

— Ишь, шляпку нацепила! А морду-то умыть...

Я, в тон, указывая на обмотки:

— Ишь, тряпки нацепил!

Смех растет. Я, не желая упустить диалога, останавливаюсь, якобы поправляя мешок.

Солдат, расходясь:

— Высший класс называется! Интеллихенция! Без прислуги лица умыть не могут!

Какая-то баба, визгливо:

— А ты мыла дай! Мыло-то кто измылил? Почему мыло-то на Сухаревой, знаешь?

Кто-то из толпы:

— Чего ему знать? Ему казенное идет! А вы, барышня, картошку везете?

— Мороженую. На службе дали.

— Известно, мороженую, — хорошая-то самим нужна! Подсобить, что ли?

Толкает, вожжи напрягаются, еду. Позади голос бабы — солдату:

— Что ж она, что в шляпе, не человек, что ль?

Рас — су — ди — ил!

Итог дня: два чана картошки. Едим все: Аля, Надя, Ирина, я.

Надя — Ирине, лукаво:

— Кушай, Ирина, она сладкая, с сахаром.

Ирина, тупясь и отворачиваясь: — Ннне...

20 марта.

Вместо «Монпленбеж», задумавшись, пишу «Монплэзир» (Monplaisir — нечто вроде маленького Версаля в XVIII в.).

Благовещение 1919 г.

Цены:

1 ф<унт> муки — 35 р.

1 ф<унт> картошки — 10 р.

10 ф<унтов> моркови — 7 р. 50 к.

1 ф<унт> луку — 15 р.

селедка — 25 р.

(Жалование — ставки у нас еще не прошли — 775 руб. в месяц.)

25-го апреля 1919 г.

Ухожу из Комиссариата. Ухожу, потому что не могу составить классификации. Пыталась, из жил лезла, — ничего. Не понимаю. Не понимаю, чего от меня хотят: «Составьте, сопоставьте, рассортируйте... Под каждым делением — подразделение». Все в одно слово, как спелись. Опросила всех: от заведующего отделом до одиннадцатилетнего курьера — «Совсем просто». И, главное, никто не верит, что не понимаю, смеются.

Наконец, села к столу, обмакнула перо в чернила, написала: «Классификация», потом, подумав: «Деления», потом еще, подумав: «Подразделения». Справа и слева. Потом застыла.

Прослужила 5½ месяцев, еще бы две недели — и отпуск (с зачетом жалованья). Но не могу. И вырезки за три месяца не наклеены. И на ять начинают поглядывать: «Неужели, товарищ, еще не привыкли?»... Классификацию нужно представить к 28-му. Последний срок. Нужно отдать справедливость, коммунисты доверчивы и терпеливы. В старорежимном учреждении меня бы, сразу разглядев, сразу выгнали. Здесь я сама подаю в отставку.

Заведующий М<илле>р, прочтя мое заявление, коротко:

— Лучшие условия?

— Военный паек и льготные обеды на всех членов семьи.

(Молниеносный и наглейший вымысел.)

— Тогда не смею задерживать. Только не прогадайте: такие учреждения быстро рушатся.

— Я ответственным работником.

— По чьей рекомендации?

— Двух членов партии до Октября.

— Чем поступаете?

— Переводчиком.

— Переводчики очень нужны. Желаю успеха.

Выхожу. Уже в дверях — оклик:

— Товарищ Эфрон, классификацию, конечно, представите?

Я, умоляюще:

— Все материалы налицо... Мой заместитель легко справится... Уж лучше вычтите из жалованья!

Не вычли. Нет, руку на сердце положи, от коммунистов я по сей день, лично, зла не видела. (Может быть — злых не видела!) И не их я ненавижу, а коммунизм. (Вот уж два года, как со всех сторон слышу: «Коммунизм прекрасен, коммунисты — ужасны!» В ушах навязло!)

Но, возвращаясь к классификации (озарение: не к ней ли сводится весь коммунизм?! — точь-в-точь то же, что пятнадцати лет с алгеброй (семи — с арифметикой!). Полные глаза и пустой лист. То же, что с кройкой — *не понимаю*, не понимаю: где влево, где вправо, в висках винт, во лбу свинец. То же, что с продажей на рынке, когда-то — с наймом прислуги, со всем моим стопудовым земным бытом: *не понимаю*, *не могу*, *не выходит*.

Думаю, если бы других заставили писать «Фортуну», они бы почувствовали точно то же, что я.

Поступаю в Монпленбеж, — в Картоотеку.

26-го апреля 1919 г.

Только что вернулась, и вот великая клятва: не буду служить. Никогда. Хоть бы умерла.

Было так. Смоленский бульвар, дом в саду. Вхожу. Комната как гроб. Стены из карточек: ни просвета. Воздух бумажный (не книжный, благородный, а — праховый. Так, разница между библиотекой и картоотекой: там храмом дышишь, здесь — хламом!). Устрашающе-нарядные барышни (сотрудницы). В бантах и в «ботах». Разглядят — презирают. Сижу против решетчатого окна, в руках русский алфавит. Карточки надо разобрать по буквам (все на А, все на Б), потом по вторым буквам, то есть: Абрикосов, Авдеев, потом по третьим. Так с 9-ти утра до 5½ вечера. Обед дорогой, есть не придется. Раньше давали то-то и то-то, теперь ничего не дают. Пасхальный паек пропущен. Заведующая — коротконогая сорокалетняя каракатица, в корсете, в очках, страшная. Чую бывшую инспектрису и нынешнюю тюремщицу. С язвительным простосердечием изумляется моей медлительности: «У нас норма — двести карточек в день. Вы, очевидно, с этим делом не знакомы»...

Плачу. Каменное лицо и слезы как бульжники. Это скорей похоже на тающего оловянного идола, чем на плачущую женщину. Никто не видит, потому что никто не поднимает лба: конкурс на быстроту:

— У меня столько-то карточек!

— У меня столько-то!

И вдруг, сама не понимая, встаю, собираю пожитки, подхожу к заведующей:

— Я сегодня не записалась на обед, можно сходить домой?

Зоркий очкастый взгляд:

— Вы далеко живете?

— Рядом.

— Но чтобы через полчаса были здесь. У нас это не полагается.

— О, конечно.

Выхожу — все еще статуей. На Смоленском рынке слезы — градом. Какая-то баба, испуганно:

— Ай обокрали тебя, а, барышня!

И вдруг — смех! Ликованье! Солнце во все лицо! Конечно. Никуда. Никогда.

Не я ушла из Картоотеки: ноги унесли! Душа — ноги: вне остановки сознания. Это и есть инстинкт.

ЭПИЛОГ

7-го июля 1919 г.

Вчера читала во «Дворце Искусств» (Поварская, 52, д<ом> Соллогуба, моя бывшая служба) — «Фортуна». Меня встретили хорошо, из всех читавших — одну — рукоплесканиями. (Оценка не меня, а публики.)

Читали, кроме меня: Луначарский — из швейцарского поэта Карла Мюллера, переводы; некий Дир Туманный — свое собственное, т.е. Маяковского, — много Диров Туманных и сплошь Маяковский!

Луначарского я видела в первый раз. Веселый, румяный, равномерно и в меру выпирающий из щеголеватого френча. Лицо средне-интеллигентское: невозможность зла. Фигура довольно круглая, но «легкой полнотой» (как Анна Каренина). Весь налегке.

Слушал, как мне рассказывали, хорошо, даже сам шипел, когда двигались. Но зала была приличная.

«Фортуну» я выбрала из-за монолога в конце:

...Так вам и надо за тройную ложь
Свободы, Равенства и Братства!

Так отчетливо я никогда не читала.

...И я, Лозэн, рукой белей, чем снег,
Я подымал за чернь бокал заздравный!
И я, Лозэн, вещал, что полноправны
Под солнцем — дворянин и дровосек!

Так ответственно я никогда не дышала. (Ответственность! Ответственность! Какая услада сравнится с тобой! И какая слава?! Монолог дворянина — в лицо комиссару, — вот это жизнь! Жаль только, что Луначарскому, а не... хотела написать Ленину, но Ленин бы ничего не понял, — а не всей Лубянке, 2!)

Чтению я предпослала некое введение: кем был Лозэн, чем стал и от чего погиб.

По окончании стою одна, с случайными знакомыми. Если бы не пришли, — одна. Здесь я такая же чужая, как среди квартирантов дома, где живу пять лет, как на службе, как когда-то во всех семи русских и заграничных пансионах и гимназиях, где училась, как всегда — везде.

Читала в той самой розовой зале, где служила. Люстра просияла (раньше была в чехле). Мебель выплыла. Стены прозрели бабками. (И люстры, и мебель, и прабабки, и предметы роскоши, и утварь — вплоть до кухонной посуды, — все обратно отбито «Дворцом Искусств» у Наркомнаца. Плачьте, заведующие!)

В одной из зал — прелестная мраморная Психея. Настороженность души и купальщицы. Много бронзы и много тьмы. Комнаты насыщены. Тогда, в декабре, они были голодные: голые. Такому дому нужны вещи. Вещи здесь меньше всего — вещественность. Вещь непродажная — уже знак. А за знаком — неминуюемо — смысл. В таком доме они — смыслы.

Поласкалась к своим рыцарям.

14-го июля 1919 г.

Третьего дня узнала от Б<альмон>та, что заведующий «Дворцом Искусств», Р<укавишник>ов, оценил мое чтение «Фортуны» — оригинальной пьесы, нигде не читанной, чтение длилось 45 мин<ут>, может больше, — в 60 руб<лей>.

Я решила отказаться от них — публично — в следующих выражениях: «60 руб<лей> эти возьмите себе — на 3 ф<унта> картофеля (может быть, еще найдете по 20 руб<лей>!) — или на 3 ф<унта> малины — или на 6 коробок спичек, а я на свои 60 руб<лей> пойду у Иверской поставлю свечку за окончание строя, при котором так оценивается труд».

Москва, 1918—1919

ИЗ ДНЕВНИКА

ГРАБЕЖ

2 часа ночи. Возвращаюсь от знакомых, где бываю каждый вечер. В ушах еще последние, восхищенно-опасливые возгласы: «Какая смелая! Одна — в такой час! Когда кругом грабеж. И все эти драгоценности!» (Сами же просят сидеть, сами же не оставляют ночевать, сами же не предлагают проводить, — и я выхожу смелая! Так и собака смела, которую люди из сени выгаливают в стаю волков.)

Итак, третий час ночи. Луна прямо в лицо. Ловлю ее как в зеркало в серебряный щит кольца. Тонкий голосок фонтана, нерусская и многословная жалоба — так младшая жена жалуется в гареме — старшей. Так персияночка жаловалась, сквозь косы и чадры (бусы и чадры, слезы и чадры), зря — никому — на разинском челне. Фонтан: пушкинская урна на Собачьей площадке, — пушкинская потому, что в доме напротив Пушкин читал своего Годунова. Почти — Бахчисарайский фонтан!

Подставляю лицо — луне, слух — воде: двойное струенье

Луны, воды
Двойное струенье...

Струенье... строенье... сиренью... стремление... (Какое вялое слово! Пустое. Не чета — стремглав.)

На углу Собачьей и Борисоглебского овеваю платьем двух спящих милиционеров. Сонно поднимают глаза. Не живет тумб, на которых спят. Праздная мысль: «Эх! Что бы — ограбить!» Девять серебряных колец (десятое обручальное), офицерские часы-браслет, огромная кованая цепь с лорнетом, офицерская сумка через плечо, старинная брошь со львами, два огромных браслета (один курганный, другой китайский), коробка папирос (250) подарок — и еще немецкая книга. Но милиционеры, не прослышав моего совета, спят. Миновала пекарню Милешина, бабы-ягинскую избу, забор, — вот уже мои два тополя напротив. Дом. Уже заносу ногу через железку ворот (ночью ход со двора) — как из-под навеса крыльца:

— Кто идет?

Малый лет восемнадцати, в военном, из-под фуражки — лихой вихор. Рус. Веснушки.

— Оружие есть?

— Какое же оружие у женщин?

— Что это у вас тут?

— Смотрите, пожалуйста.

Вынимаю из сумки и подаю ему, одно за другим: новый любимый портсигар со львами (желтый, английский: Dieu et mon droit*), кошелек, спички.

— А вот еще гребень, ключ... Если вы сомневаетесь, зайдемте к дворнику, я здесь четвертый год живу.

— А документ есть?

Тут, вспоминая напутствия моих осторожных друзей, добросовестно и бессмысленно парирую:

— А у вас документ — есть?

— Вот!

Белая под луной сталь револьвера. («Значит — белый, а я почему-то всегда думала, что черный, *видела* черным. Револьвер — смерть — чернота».)

В ту же секунду через мою голову, душа меня и цепляясь за шляпу, летит цепь от лорнета. Только тут я понимаю, в чем дело.

* «Бог и мое право» (*фр.*).

— Опустите револьвер и снимайте обеими руками, вы меня душиите.

— А вы не кричите!

— Вы же слышите, как я говорю.

Опускает и, уже не душа, быстро и ловко снимает в два оборота обкрученную цепь. Действие с цепочкой — последнее. «Товарищи!» — это я слышу уже за спиной, занося ногу через железку ворот.

(Забыла сказать, что за все время (минуту с чем-то) нашей беседы по той стороне переулкa ходили взад и вперед какие-то люди.)

Военный оставил мне: все кольца, львиную брошь, самое сумку, оба браслета, часы, книгу, гребень, ключ.

Взял: кошелек с негодным чеком на 1000 руб<лей>, новый чудный портсигар (вот оно, *droit* без *Dieu!*), цепь с лорнетом, папиросы.

В общем, если не по-божески — по-братски.

На следующий день в 6 часов вечера, на М<алой> Молчановке его убили! (Напали среди света вечера на какого-то прохожего, тот дал себя ограбить и, пропустив, выстрелил в спину.) Он оказался одним из трех сыновей церковного сторожа соседней Ржевской церкви, вернувшихся, по случаю революции, с каторги.

Предлагали идти отбирать вещи. С содроганием отвергла. Как — я, живая (то есть — счастливая, то есть — богатая), пойду отбирать у него, мертвого, его последнюю добычу?! От одной мысли содрогаюсь. Так или иначе, я его последняя (может быть — предпоследняя!) радость, то, что он с собой в могилу унес. Мертвых не грабят.

РАССТРЕЛ ЦАРЯ

Возвращаемся с Алей с каких-то продовольственных мытарств унылыми, унылыми, унылыми поездками пустынных бульваров. Витрина — жалкое окошко часовщика. Среди грошовых мелочей огромный серебряный перстень с гербом.

Потом какая-то площадь. Стоим, ждем трамвая. Дождь. И дерзкий мальчишеский петушиный выкрик:

— Расстрел Николая Романова! Расстрел Николая Романова! Николай Романов расстрелян рабочим Белобородовым!

Смотрю на людей, тоже ждущих трамвая и тоже (то же!) слышащих. Рабочие, рваная интеллигенция, солдаты, женщины с детьми. Ничего. Хоть бы кто! Хоть бы что! Покупают газету, проглядывают мельком, снова отводят глаза — куда? Да так, в пустоту. А может, трамвай выколдовывают.

Тогда я, Але, сдавленным, ровным и громким голосом (кто таким говорил — знает):

— Аля, убили русского царя, Николая II. Помолись за упокой его души!

И Алин тщательный, с глубоким поклоном, троекратный крест. (Сопутствующая мысль: «Жаль, что не мальчик. Сняла бы шляпу».)

ПОКУШЕНИЕ НА ЛЕНИНА

Стук в дверь. Слетаю, отпираю. Чужой человек в папахе. Из кофейного загара — белые глаза. (Потом рассмотрела: голубые.) Задыхается.

— Вы Марина Ивановна Цветаева?

— Я.

— Ленин убит.

— О!!!

— Я к вам с Дону.

Ленин убит, и Сережа жив! Кидаюсь на грудь.

Вечер того же дня. Квартирант-коммунист З<ак>с, забегаая в кухню:

— Ну что, довольны?

Туплю глаза, — не по робости, конечно: боюсь слишком явной радостью оскорбить. (Ленин убит, Белая гвардия вошла, все коммунисты повешены, З<ак>с — первый)... Уже — великодушье победителя.

— А вы — очень огорчены?

— Я? (Передергиванье плеч.) Для нас, марксистов, не признающих личности в истории, это, вообще, не важно, — Ле-

нин или еще кто-нибудь. Это вы, представители буржуазной культуры... (новая судорога)... с вашими Наполеонами и Цезарями... (сатанинская усмешка)... а для нас, знаете. Нынче Ленин, а завтра...

Оскорбленная за Ленина (!!!) молчу. Недоуменная пауза. И быстро-быстро:

— Марина Ивановна, я тут сахар получил, три четверти фунта, мне не нужно, я с сахарином пью, может быть, возьмете для Али?

(Этот же Икс мне на Пасху 1918 г. подарил деревянного кустарного царя.)

ЧЕСОТКА

Сейчас в Москве поветрие чесотки. Вся Москва чешется.

Начинается между пальцами, потом по всему телу, подкожный клещ, где останавливается — нарыв. Бывает только по вечерам.

На службах надписи: «Рукопожатия отменяются». (Лучше бы — поцелуи!)

И вот недавно — в гостях, родственник хозяйки, тоже гость, настойчиво и с каким-то сдержанным волнением спрашивает хозяйку дома о том, как это, и что это, и с чего это начинается, и от чего кончается — и кончается ли.

И ее неожиданно прозревший возглас:

— Абраша, наверное, у тебя самого чесотка!

(«Чесотка» в ее представлении, очевидно, — сам клещ. Блохи, мухи, тараканы, клопы, чесотки.)

С уходящими под видом шутки никто не прощается за руку. Хозяин, во избежание, даже не целуется. Гость противен — буржуй. Достаточно омерзителен и без чесотки. Гость — трус и воздержавшимся сочувствует. Чесотка — мерзость. И, учитывая все, всю бессмысленность жеста и жертвы, в полном отчаянии и похолодании, не только протягиваю — но еще необычайно долго задерживаю его руку в своей.

Рукопожатие, воистину чреватое последствиями; тебе, чесоточному, уверенность в моей благосклонности и посему (учитывая чесотку!) вдвойне бессонная ночь: мне, не чесо-

точной, — чесотка и посему (учитывая твою уверенность!) тоже вдвойне бессонная ночь.

Как он спал, не знаю. Я, по крайней мере, не чесалась и не чешусь.

FRÄULEIN*

Голодная толчая Охотного ряда. Продают морковь и малиновые трясушки, на картонных поддонниках, мерзкие. Не сдавшиеся — спуют, безнадежные — слоняются. Вдруг — знакомый затылок: что-то редкое, русое... Опережаю, всматриваюсь: молочные глаза, печальный красноватый клюв — Fräulein. Моя учительница немецкого из моей последней гимназии.

— Guten Tag, Fräulein!** — Испуганный взгляд. — Не узнаете? Цветаева. Из гимназии Брюхоненко.

И она озабоченно:

— Цветаева? Куда же я вас посажу? — И, останавливаясь: — Да куда же я вас посажу?

— Ну, тетка, проходи, что ли!

Не вынесли — немецкие мозги!

НОЧЕВКА В КОММУНЕ

Сижу в гостях. Просят сказать стихи. Так как в комнате коммунист, говорю «Белую гвардию».

Белая гвардия — путь твой высок...

За белой гвардией — еще белая гвардия, за второй белой — третья, весь «Дон», потом «Кровных коней» и «Царю на Пасху», — словом, когда опоминаюсь — 12 часов, а ворота моего дома непременно заперты.

* Барышня, девушка (нем.).

** Добрый день, фройляйн! (нем.)

Ночевать мне здесь нельзя — «порядочный дом», с прислугами, с родственниками, остается одно: идти на Собачью площадку и спать под звуки пушкинского фонтана. О чем объявляю — смеясь, встаю и твердым шагом иду к двери. И, уже в дверях, певуче:

— Маринушка!

— Да?

— Вы серьезно собираетесь спать на улице?

— Совершенно.

— Но ведь это же...

— Да, очень, но...

— Тогда идите к нам, в коммуну.

— Но, может быть, вам неудобно?

— Отчего? У меня отдельная комната.

— Тогда — спасибо.

Сияю, ибо, несмотря на весь внутренний авантюризм, верней: благодаря всему внутреннему авантюризму, весьма и весьма обхожусь без внешнего! (NB! Из ночевки на коммунистической улице к ночевке в коммунистическом доме — авантюра все-таки — первое!)

Идем. Коммуна недалеко: великолепный каменный особняк, напоминающий Англию (никогда не была). Входим. Лестница с ковром. Тишина бархата. Тишина ночи. Мозолями рук по бархату перил. Проходим через пустую (и людьми и едой) столовую, еще через несколько комнат — пришли. Похоже на полуторный номер гостиницы: комната, заворачивая, образует крюк. Привиденский штофный занавес, за которым незримое окно из несомненно-цельного стекла — если не выбито Октябрем. Мебельная мелочь, вроде столиков, этажерок, жардиньерок. Низкая деревянная резная кровать, очень глубокая, очень разлтая. Для долгих лежаний, для поздних вставаний. Для лени, для неги, для жиру, для всего, что ненавижу, — кровать!

— Вот здесь вы будете спать, Маринушка.

— А вы?

— А я на диване, в кабинете.

(Кабинет, очевидно — сам крюк.)

— Нет, я на диване! Я обожаю на диване! Я дома всегда спала на диване! Даже на собачьем! Когда приезжала из пансио-

на! А собака, поняв, что я заснула, тоже лезла и самым наглым образом спала у меня на голове... Честное слово!

— Но вы не в пансионе, Маринушка!

— Не напоминайте мне, дружок, где я!

Садимся. Курим. Беседуем. Уступает мне свой ужин: кусочек хлеба, три вареных свеклы и стакан чая с кусочком сахара.

— А вы?

— Я уже ужинал.

— Где? Нет, нет, вместе!

Говорим о стихах, о Германии, которую оба страстно любим, спрашивает о моей жизни.

— Вам очень трудно живется?

Смущаюсь, скрашиваю.

И он:

— Маринушка, Маринушка... Ну, я скоро получу немножко муки, я вам тогда принесу... Как все это ужасно!

Я:

— Да уверяю вас...

Он, думая вслух:

— Может быть, удастся достать немножко пшена...

(И беспомощно:)

— А уехать на Юг — совсем невозможно?

(Ответственный работник!)

Смотрю в лицо: прелестное, худое; в глаза: карие, в роговых очках. И такое сознание его невинности, неповинности, такое задохновение жалости и благодарности, что... но слезы уже текут, и он, испуганно:

— А вести с Юга у вас, по крайней мере, не плохие?

Сплю, конечно, на кровати, — ни собаки, ни уверения не помогли. Перед сном еще переключаемся.

— N! Вы бы хотели сейчас быть в Вене? Это — гостиница, сейчас 1912 г., выгляните, — живая, школьная, ночная Вена... и «Wienerblut»*...

И он, протяжно:

— Ах, я ничего не знаю, Маринушка!

* «Венская кровь» (нем.).

Просыпаюсь с солнцем. Быстро влезая в свое широченное красное платье (цвета cardinal — пожар!). Пишу записку N. Осторожно открываю дверь и — о, ужас! — огромная двухспальная кровать, и на ней — спящие. Отступаю. Потом, внезапно решившись, большими тихими шагами направляюсь к противоположной двери, уже нажимаю ручку...

— Да что же это такое?!

На кровати сидящий мужчина — всклокоченная голова, растегнутый ворот, смотрит.

И я, вежливо:

— Это я. Я случайно ночевала здесь и иду домой.

— Но, товарищ!..

— Ради бога, извините. Я не думала, что... Я думаю, что...

Я, очевидно, не сюда попала...

И, не пережидая реплики, исчезаю.

NB! Именно — *сюда!*

Потом слышала от N.: спящий принял меня за красное привидение. Призрак Революции, исчезающий вместе с первыми лучами солнца!

Рассказывая, безумно смеялся.

Только сейчас, пять лет спустя, по достоинству оцениваю положение: единственное, что я догадалась сделать, попав в коммуны, — это попасть в чужую спальню, единственное — вопреки всем призывам г<оспо>жи Коллонтай и К° — у коммунистов — некоммунистического

— «Plus royaliste que le Roi!»*

(Пометка весной 1923 г.)

ВОИН ХРИСТОВ

Раннее утро. Идем с Алей мимо Бориса и Глеба. Служба. Встаем, вслед за какой-то черной старушкой, по ступеням белого крыльца. Храм полон, от раннего часа и тишины впечатление заговора. Через несколько секунд явственно ушами слышу:

* Более роялист, чем король! (*фр.*)

— ...Итак, братья, ежели эти страшные вести подтвердятся, как я только о том проведаю, ударит звонарь в колокол, и побегут по всем домам гонцы-посланцы, оповещая всех вас о неслыханном злодеянии. Будьте готовы, братья! Враг бодрствует, бодрствуйте и вы! По первому удару колокола, влюбой час дня и ночи — все, все в храм! Встанем, братья, грудью, защитим святыню! Берите с собой малолетних младенцев ваших, пусть мужчины не берут оружия: возденем голые руки горé, с знаком молитвы, посмотрим — дерзнут ли они с мечом на толпу безоружных!

А ежели и это свершится — что ж, ляжем все, ляжем с чувством исполненного долга на ступенях нашего храма, до последней капли крови защищая Господа нашего и Владыку Иисуса Христа, покровителей храма сего и нашу несчастную родину.

— ...Набат будет частый, дробный, с явственными перерывами... Поясняю вам сие, братья, для того, чтобы вы, спросонья, не спутали его с пожарным колоколом. Как услышите в неурочный час непривычный звон, так знайте: зовет, зовет Господь!

Итак, дорогие братья...

И мое торопливое в ответ: «Дай Бог! Дай Бог, дай Бог!»

Москва, 1918–1919

С.Э.

Хочешь знать, как дни проходят,
Дни мои в стране обид?
Две руки пилою водят,
Сердце — имя говорит.

Эх! Прошел бы ты по дому —
Знал бы! Так в ночи пою,
Точно по чему другому —
Не по дереву — пилю.

И чуют, чуют пилою
Руки — вольные досель.
И метет, метет метлою
Богородица-Метель.

Ноябрь 1919

* * *

С.Э.

Сижу без света, и без хлеба,
И без воды.
Затем и насылает беды
Бог, что живой меня на небо
Взять замышляет за труды.

Сижу, — с утра ни корки черствой —
Мечту такую полюбя,
Что — может — всем своим покорством
— Мой Воин! — выкуплю тебя.

16 мая 1920

* * *

С.Э.

Писала я на аспидной доске,
И на листочках вееров поблёлкых,
И на речном, и на морском песке,
Коньками по льду и кольцом на стеклах, —

И на стволах, которым сотни зим,
И, наконец — чтоб было всем известно! —
Что ты любим! любим! любим! — любим! —
Расписывалась — радугой небесной.

Как я хотела, чтобы каждый цвел
В веках со мной! под пальцами моими!
И как потом, склонивши лоб на стол,
Крест-накрест перечеркивала — имя...

Но ты, в руке продажного писца
Зажатое! ты, что мне сердце жалишь!
Непроданное мной! *внутри* кольца!
Ты — уцелеешь на скрижалях.

18 мая 1920

О ДОБРОВОЛЬЧЕСТВЕ

Добровольчество. «Добрая воля к смерти» (слова поэта), тысячи и тысячи могил, оставшихся там, позади, в России, тысячи изувеченных инвалидов, рассеянных по всему миру, цепь подвигов и подвижничеств и... «белогвардейщина», к<онтр>разведки, погромы, расстрелы, сожженные деревни, грабежи, мародерства, взятки, пьянство, кокаин и пр., и пр. Где же правда? Кто же они или, вернее, кем были – героями-подвижниками или разбойниками-душегубами? Одни называют их «Георгиями», другие – «Жоржиками».

Я был добровольцем с первого дня, и если бы чудо перенесло меня снова в октябрь 17-го года, я бы и с теперешним моим опытом снова стал добровольцем. Позвольте же мне – добровольцу, на вопрос «где правда?», дать попытку ответа.

Как зародилось добровольчество?

Незабываемая осень 17-го года. Думаю, вряд ли в истории России был год страшнее. Не по физическим испытаниям (тогда еще только начинались), а по непередаваемому чувству распада, расползания, умирания, которое охватило нас всех. Дуновение тлена становилось все явственнее. Дорастерзывали и допредавали. Говорить разучились, вопили.

В ушах – грохот, визг, вопли, перед глазами – ураган, обернувшийся каруселью, а в сердце – смертное томление: не умираю, а *умирает*.

Это и было началом. Десятки, потом сотни, впоследствии тысячи, с переполнившим душу «не могу», решили взять в руки меч. Это «не могу» и было истоком, основой нарождающе-

гося добровольчества. — Не могу выносить зла, не могу видеть предательства, не могу соучаствовать, — лучше смерть. Зло олицетворялось большевиками. Борьба с ними стала первым лозунгом и *негативной* основой добровольчества.

Положительным началом, ради чего и поднималось оружие, была Родина. Родина как идея — бесформенная, безликая, не завтрашний день ее, не «федеративная», или «самодержавная», или «республиканская», или еще какая, а как неопределимая ни одной формулой и необъемлемая ни одной формой. Та, за которую умирали русские на Калке, на Куликовом, под Полтавой, на Сенатской площади 14 декабря, в каторжной Сибири и во все времена на границах и внутри Державы Российской, — мужики и баре, монархисты и революционеры, благонадежные и Разины.

Итак — «За родину, против большевиков!» — было начертано на нашем знамени, и за это знамя тысячи и тысячи положили душу свою, и «имена их, Господи, ты един веси!».

О завтрашнем дне мы не думали. Всякое оформление, уточнение казались профанацией. И потом, можно ли было думать о будущем благоустройстве дома, когда все усилия были направлены на преодоление крышки гробовой. Жизнетворчество и формотворчество казались такими далекими во времени, что об этом мы, добровольцы, просто и не говорили.

С этим знаменем было легко умирать, — и добровольцы это доказали, — но победить было трудно.

Прежде всего и с самого начала, мы не обрели народного сочувствия. Добровольчество ни одного дня и часа не было движением народным. С московских кровавых октябрьских дней до последнего Крыма мы ратоборствовали, либо окруженные равнодушием, либо, и гораздо чаще, — нелюбовью и ненавистью (исключение казаки, но на то были причины особые).

Народ требовал достоверностей, мы же от достоверностей отворачивались. Мы предлагали умирать за Родину, народ вожделем землю. Отсюда большая народность даже «Махновщины» с лозунгом — «За землю, за мужиков, против большевиков, буржуев, помещиков» — и ненародность Добровольчества с нашей «Единой и Неделимой».

О помещиках мы забыли, но они не забыли нас. Белая идея начала обрастать черной плотью. Мы бежали *достовернос-*

тей, — достоверность гналась за нами. В то время как добровольцы прорывались, истекая кровью, вперед к «Единой», за их спинами и могилами жизнь оформлялась и направлялась не народом, а наросшей черной плотью добровольчества. Эта плоть также требовала достоверностей, но противоположных тем, что требовала революционная народная стихия. То же земля, но возвращенная прежним владельцам.

А мы назад не оглядывались. До этого ли? Вчера бой, сегодня бой, завтра бой. Вчера — смерть, сегодня — смерть, завтра — смерть. Противник дрогнул, отступает — скорей добить, скорей вперед, — туда, к Москве, там все решится, там все устроится к общей радости, к общему благу, к общему счастью.

А сзади — борьба с крестьянами, карательные отряды, порка, виселица, отбирание награбленного. В ответ — стихийная, растущая с каждым часом, ненависть к нам:

— Помещики! — Баре! — Офицерьё! — Золотопогонники!

От того, что ползло сзади, мы отмахивались.

— Не важно! — Временные меры! — *À la guette, comme à la guette**.

— Всегда так бывает! — В белых перчатках не воюют! — Вот в Москве, там... Скорей в Москву!

Разложение пошло с хвоста. Мы были окружены ненавистью. Оторванные от народа, мы принимали его равнодушие, его недоброжелательство и, наконец, его злобу как темное непонимание нашей белой цели. Мы за них, а они на нас. Черная плоть приросла крепко, мы к ней привыкли, перестали замечать ее, в ответ на равнодушие, недоброжелательство, злобу, — равнодушие, недоброжелательство и злоба же. Кто не с нами, тот против нас, — кто против нас, тот против Родины, а потому...

Идея отрывалась от земли все выше. Земля наваливалась на нас всей своею тяжестью.

И опять дух тлена, но уже над нами. С каждым днем черная плоть удушала все теснее, все сильнее захлестывало чувство злобы, мстительности, отчаяния, усталости. Мы изнывали от язв, внутренних и внешних. Малодушные отставали и опускались, сильных косила смерть, а наша цель — Москва — приблизилась как никогда. Еще одно последнее усилие, еще раз,

* На войне как на войне (*фр.*).

последний раз, напрячь мускулы духа — и мы обречем «Единую и Неделимую».

Но яд проник чересчур глубоко. Гангрена с хвоста через центр доползла до действующих полков. Нужный мускул не напрягся, а только судорожно вздрагивал. Удар и... сначала поползла, а потом понесла назад разложившаяся, мародерствующая, изъязвленная, озлобленная лавина. Орел, Курск, Обоянь, Белгород, Харьков и дальше, дальше — к Ростову. Последний удар, — за Дон зализывать раны.

И странно, чем хуже, чем чернее, тем сильнее гордыня. Пьяный мародер бил себя кулаком в грудь и кричал, что он доброволец; взятчик — к<онтр>разведчик, вымогатель, кокаинист, преступник, проповедовал «Единую и Неделимую»; начальник государственной стражи, бывший пристав или становой, от которого стонала вверенная ему округа, призывал к исполнению долга и принесению всевозможных жертв на «алтарь отечества».

На Дону не удержались. От нас отвернулись кубанцы. Ордой переплыли в Крым. Последняя отчаянная попытка. Вчерашний мародер снова пошел умирать, уже не помышляя о грабежах, к<онтр>разведчик сжался и спрятался, начальник государственной стражи присмирел. Землю крестьянам решили отдать за небольшой выкуп.

Но время было упущено. Там, в России, нам уже не верили. Отступающая лавина оставила после себя незабываемый след. Да и от черной плоти мы отделались лишь наполовину. Она не была уничтожена, а лишь притихла, припряталась по углам до лучшего для себя времени.

Четырехмесячная неравная борьба. Опять тысячи и тысячи могил. Смерти, смерти, смерти и... сброшенные в море, изрыгнутые Россией, добровольцы очутились на пустынном Галлиполийском побережье.

Год голодного томления, переезд в Болгарию, Сербию, распыление, постепенное превращение армии в «во рассеянии сущих».

Таков круг добровольчества. Я с умыслом сделал этот краткий обзор пути. Без него нельзя было бы дать ответа, чем же были добровольцы — «Георгиями» или «Жоржиками»?

Мой ответ: «Георгий» продвинул Добровольческую армию до Орла, «Жоржик» разбил, разложил и оттянул ее до Крыма

и дальше, «Георгий» похоронен в русских степях и полях, «положив душу свою за други своя», «Жоржик» жив, здравствует, политиканствует, проповедует злобу и мщение, источает хулу, брань и бешеную слюну, стреляет в Милюкова, убивает Набокова, кричит на всех перекрестках о долге, любви к Родине, национализме. Первый — лик добровольчества, второй — образина его.

Но не все добровольцы «не-Жоржики» убиты. Тысячи и тысячи их рассеяны по рудникам Болгарии, по полям Сербии, по всем просторам земным не только Европы, но и Африки, Азии, Америки. Многие, может быть большинство из них, после гражданской войны научившись умирать, разучились жить, потеряли вкус к жизни. Святое дело, которому служил, провалилось; жизнь, которую отдавал, осталась; Родина, ради которой шел на подвиг, — отвернулась и отвергла. И вот вместо жизни — прозябание, вместо надежды и веры — равнодушие.

Что делать и в чем дело?

Должен оговориться: я делю добровольчество на «Георгия» и на «Жоржика». Но отсюда не следует, что каждый данный доброволец является либо тем, либо другим. Два начала перемешались, переплелись. Часто бывает невозможно установить, где кончается один и начинается другой.

И первейший наш долг, долг и перед Родиной, и перед теми, кто похоронен тысячами в России, и перед самими нами, освободиться наконец, в себе и вовне, от этого тупого, злого, бездарного Жоржика, застилающего нам глаза запоздавшими на столетия прописями, затыкающего нам уши своими надсадными воплями, — всеми способами мешающего нам всматриваться и вслушиваться в то, что нарождается там, в России.

И первое, что все мы, не желающие порывать связи с Россией, верящие в нее, должны сделать, это отбросить, избавиться от гордыни и злобы. Не будем бояться язв своих. Чтобы от них избавиться, нужно их обнаружить. А чтобы их обнаружить, нужно обрести смирение. Не скрыть, а вскрыть. Мы потерпели поражение, и поражение это не случайно, оно в нас самих.

Почувствовать собственную вину, собственные ошибки, собственные преступления мы обязаны, если не хотим по-

рвать окончательно связи с Россией, не хотим сделаться духовными изгоями.

Мы не должны самообеляться, взваливая ответственность на вождей. Язвы наши носили общий и стихийный характер. Мы все виноваты: черная плоть, выросшая при нашем попустительстве, сделалась частью нас самих. Мы поддерживали друг друга, питались друг другом, заражались друг от друга. Мы оказались не обладающими необходимым иммунитетом.

А народ?

Возненавидев большевиков, он не принял и нас, хотя и жаждал власти, порядка и мира. Он пошел своей дорогой — не большевицкой и не белой. И сейчас в России со страшным трудом и жертвами он пробивает себе путь, путь жизни от сжавших его кольцом большевиков.

Мы, научившиеся умирать и разучившиеся жить, должны, освободившись от язв и не устыдившись их, — ибо не ошибается только тот, кто сидит сложа руки (а сколько таких!), — мы должны ожить и напитаться духом живым, обратившись к Родине, к России, к тому началу, что давало нам силу на смерть.

Наш стяг остался прежним. «Все для Родины» должно пребыть, но с добавлением, которое уже не дает повторения старых ошибок:

— «С народом, за Родину!» —

Ибо одно от другого неотделимо.

Марина Цветаева

ПИСЬМО С.ЭФРОНУ

Москва,

27²⁰ русск<ого> февраля 1921 г.

Мой Сереженька!

Если Вы живы — я спасена.

18^{го} января было три года, как мы расстались. 5^{го} мая будет десять лет, как мы встретились.

— Десять лет тому назад. —

Але уже восемь лет, Сереженька!

— Мне страшно Вам писать, я так давно живу в тупом задеревенелом ужасе, не смея надеяться, что живы — и лбом — руками — грудью отгалкиваю то, другое. — Не смею. — Вот все мои мысли о Вас.

Не знаю судьбы и Бога, не знаю, что им нужно от меня, что задумали, поэтому не знаю, что думать о Вас. Я знаю, что у меня есть судьба. — Это страшно. —

Если Богу нужно от меня покорности, — есть, смирения — есть — перед всем и каждым! — но, отнимая Вас у меня, он бы отнял жизнь — жизнь, разве ему <недописано>

А прощать Богу чужую муку — гибель — страдания, — я до этой низости, до этого неслыханного беззакония никогда не дойду. — Другому больно, а я прощаю! Если хочешь поразить меня, рази — *меня* — в грудь!

Мне трудно Вам писать.

Быт, — всё это такие пустяки! Мне надо знать одно — что Вы живы.

А если Вы живы, я ни о чем не могу говорить: лбом в снег!

Мне трудно Вам писать, но буду, п<отому> ч<то> 1/1 000 000 доля надежды: а вдруг?! Бывают же чудеса! —

Ведь было же 5^{ое} — мая 1911 г. — солнечный день — когда я впервые на скамейке у моря увидела Вас. Вы сидели рядом с Лилей, в белой рубашке. Я, взглянув, обмерла: «— Ну, можно ли быть таким прекрасным? Когда взглянешь на такого — стыдно ходить по земле!»

Это была моя точная мысль, я помню.

— Сереженька, умру ли я завтра или до 70 л<ет> проживу — всё равно — я знаю, как знала уже тогда, в первую минуту: — Навек. — Никого другого.

— Я столько людей перевидала, во столькоких судьбах перегостила, — нет на земле второго Вас, это для меня роковое.

Да я и не хочу никого другого, мне от всех безразлично и холодно, только моя легко взволнов<анная> играющая поверхность радуется людям, голосам, глазам, словам. Всё трогает, ничто не пронзает, я от всего мира ограждена — Вами.

Я просто НЕ МОГУ никого любить!

Если Вы живы — тот, кто постарается доставить Вам это письмо — напишет Вам о моей внешней жизни. — Я не могу. — Не до этого и не в этом дело.

Если Вы живы — это такое *страшное* чудо, что ни одно слово не достойно быть произнесенным, — надо что-то другое.

Но, чтобы Вы не слышали горестной вести из равн<одушных> уст, — Сереженька, в прошлом году, в Сретение, умерла Ирина. Болели обе, Алю я *смогла* спасти, Ирину — нет.

С<ереженька>, если Вы живы, мы встретимся, у нас будет сын. Сделайте как я: *НЕ* помните.

Не для В<ашего> и не для св<оего> утешения — а как простую правду скажу: И<рина> была очень странным, а м<ожет> б<ыть> вовсе безнадеж<ным> ребенком, — все время качалась, почти не говорила, — м<ожет> б<ыть> рахит, м<ожет> б<ыть> — вырождение, — не знаю.

Конечно, не будь Революции —

Но — не будь Революции —

Не принимайте моего отношения за бессердечие. Это — просто — возможность жить. Я одеревенела, стараюсь одере-

венеть. Но — самое ужасное — сны. Когда я вижу ее во сне — кудр<явую> голову и обмызганное длинное платье — о, тогда, Сереженька, — нет утешенья, кроме смерти.

Но мысль: а вдруг С<ережа> жив?

И — как ударом крыла — ввысь!

Вы и Аля — и еще Ася — вот все, что у меня за душою.

Если Вы живы, Вы скоро будете читать мои стихи, из них многое поймете. О, Господи, знать, что Вы прочтете эту книгу, — что бы я дала за это? — Жизнь? — Но это такой пустяк — на колесе бы смеялась!

Эта книга для меня священная, это то, чем я жила, дышала и держалась все эти годы. — Это не КНИГА. —

Не пишу Вам подробно о смерти Ирины. Это была СТРАШНАЯ зима. То, что Аля уцелела, — чудо. Я *вырывала* ее у смерти, а я была совершенно безоружна!

Не горюйте об Ирине, Вы ее совсем не знали, подумайте, что это Вам приснилось, не вините в бессердечии, я просто не хочу Вашей боли, — всю беру на себя!

У нас будет сын, я знаю, что это будет, — чудесный героический сын, ибо мы оба герои. О, как я выросла, Сереженька, и как я сейчас достойна Вас!

Але 8 л<ет>. Невысокая, узкоплечая, худая. Вы — но в светлом. Похожа на мальчика. — Психея. — Господи, как нужна Ваша родств<енная> порода!

Вы во многом бы ее поняли лучше, *точнее* меня.

Смесь лорда Ф<аунтлероя> и маленького Домби — похожа на Глеба — мечтательность наследника и ед<инственного> сына. Кротка до безвольности — с этим упорно и неудачно борюсь — людей любит мало, слишком зорко видит, — зорче меня! А так как настоящих мало — мало и любит. Плам<енно> любит природу, стихи, зверей, героев, всё невинное и вечное. — Поражает всех, сама к мнению других равнодушна. — Ее не захвалишь! — Пишет странные и прек<расные> стихи.

Вас помнит и любит страстно, все Ваши повадки и привычки, и как Вы читали книгу про дюйм, и потихоньку от меня курили, и качали ее на качалке под завывание: Бу-уря! — и как с Б<орисом> ели розовое сладкое, и с Г-вым топили камин, и как зажиг<али> елку — всё помнит.

Сереженька! — ради нее — *надо*, чтобы Вы были живы!

Пишу Вам в глубокий час ночи, после трудного трудового дня, весь день переписывала книгу, — для Вас, Сереженька! Вся она — письмо к Вам.

Вот уже три дня как не разгибаю спины. — Последнее, что я знаю о Вас: от Аси, что в начале мая было письмо к М<аксу>. Дальше — темь...

— Ну —

— Сереженька! — Если Вы живы, буду жить во что бы то ни стало, а если Вас нет — лучше бы я никогда не родилась!

Не пишу: целую, я вся уже в Вас — так, что у меня уже нет ни глаз, ни губ, ни рук, — ничего, кроме дыхания и биения сердца.

Марина

БЛАГАЯ ВЕСТЬ

С.Э.

1

В сокровищницу
Полунощных глубин
Недрогнувшую
Опускаю ладонь.

Меж водорослей —
Ни приметы его!
Сокровища нету
В морях — моего!

В заоблачную
Песнопенную высь —
Двумолнием
Осмелеваюсь — и вот

Мне жаворонок
Обронил с высоты —
Что за морем ты,
Не за облаком ты!

15 июля 1921

2

Жив и здоров!
Громче громов —
Как топором —
Радость!

Нет, топором
Мало: быком
Под обухом
Счастья!

Оглушена,
Устрашена.
Что же взамен —
Вырвут?

И от колен
Вплоть до корней
Вставших волос —
Ужас.

Стало быть, жив?
Веки смежив,
Дышишь, зовут —
Слышишь?

Вывез корабль?
О мой журавль
Младший — во всей
Стае!

Мертв — и воскрес?!
Вздоху в обрез,
Камнем с небес,
Ломом

По голове, —
Нет, по эфес
Шпагою в грудь —
Радость!

16 июля 1921

3

Под горем не горбясь,
Под камнем — крылатой —
— Орлом! — уцелев,

Земных матерей
И небесных любовниц
Двойную печаль

Взвалив на плеча, —
Горяча мне досталась
Мальтийская сталь!

Но гневное небо
К орлам — благосклонно.
Не сон ли: в волнах

Сонм ангелов конных!
Меж ними — осанна! —
Мой — снегу белей...

Лилейные ризы,
— Конь вывезет! — Гривой
Вспенённые зыби.
— Вал вывезет! — Дыбом
Встающая глыба...
Бог вынесет...
— Ох! —

17 июля 1921

4

Над спящим юнцом — золотые шпоры.
Команда: вскачь!
Уже по пятам воровская свора.
Георгий, плачь!

Марина Цветаева. Сергей Эфрон

Свободною левою крест нащупал.
Команда: вплавь!
Чтоб всем до единого им под купол
Софийский, — правь!

Пропали! Не вынесут сухожилья!
Конец! — Сдались!
— Двумолнием раскрепощает крылья.
Команда: ввысь!

19 июля 1921

5

Во имя расправы
Крепись, мой Крылатый!
Был час переправы,
А будет — расплаты.

В тот час стопудовый
— Меж бредом и былью —
Гребли тяжело
Корабельные крылья.

Меж Сциллою — да! —
И Харибдой гребли.
О крылья мои,
Журавли-корабли!

Тогда по крутому
Эвксинскому берегу
Был топот Побег,
А будет — Победы.

В тот час непосильный
— Меж дулом и хлябью —
Сердца не остыли,
Крыла не ослабли,

Плеча напирали,
Глаза стерегли.
— О крылья мои,
Журавли-корабли!

Птенцов уколищих
Не давши в обиду,
Сказалось —
Орлицыно сердце Тавриды.

На крик длинноклювый
— С ерами и с ятью! —
Проснулась —
Седая Монархиня-матерь.

И вот уже купол
Софийский — вдали...
О крылья мои,
Журавли-корабли!

Крепитесь! Кромешное
Дрогнет созвездье.
Не с моря, а с неба
Ударит Возмездье.

Глядите: небесным
Свинцом налитая,
Грозна, тяжела
Корабельная стая.

И нету конца ей,
И нету земли...
— О крылья мои,
Журавли-корабли!

20 июля 1921

* * *

С.Э.

Как по тем донским боям, —
В серединку самую,
По заморским городам
Все с тобой мечта моя.

Со стены сниму кивот
За труху бумажную.
Все продажное, а вот
Память не продажная.

Нет сосны такой прямой
Во зеленом ельнике.
Оттого что мы с тобой —
Одноколыбельники.

Не для тысячи судеб —
Для единой родимся.
Ближе, чем с ладонью хлеб —
Так с тобою сходимся.

Не унес пожар-потоп
Перстенька червонного!
Ближе, чем с ладонью лоб
В те часы бессонные.

Не возьмет мое вдовство
Ни муки, ни мельника...
Нерушимое родство:
Одноколыбельники.

Знай, в груди моей часы
Как завел — не ржавели.
Знай, на красной на Руси
Все ж самодержавие!

Пусть весь свет идет к концу —
Достою у всенощной!
Чем с другим каким к венцу —
Так с тобою к стеночке.

Роковые времена

— Ну-кось, до меня охоч!
Не зевай, брательники!
Так вдвоем и канем в ночь:
Одноколыбельники.

13 декабря 1921

* * *

С.Э.

Не похорошела за годы разлуки!
Не будешь сердиться на грубые руки,
Хватающиеся за хлеб и за соль?
— Товарищества трудовая мозоль!

О, не прихорашивается для встречи
Любовь. — Не прогневайся на просторечье
Речей, — не советовала б пренебречь:
То летописи огнестрельная речь.

Разочаровался? Скажи без боязни!
То — выкорчеванный от дружб и приязней
Дух. — В путаницу якорей и надежд
Прозрения непоправимая брешь!

23 января 1922

Сергей Эфрон

ПИСЬМО М.ЦВЕТАЕВОЙ

<Из Константинополя в Москву>

<28 июня 1921 г.>

— Мой милый друг — Мариночка,
— Сегодня я получил письмо от Ильи Г<ригорьевича>, что Вы живы и здоровы. Прочитав письмо, я пробродил весь день по городу, обезумев от радости. — До этого я имел об Вас кое-какие вести от К<онстантина> Д<митриевича>, но вести эти относились к осени, а минувшая зима была такой трудной.

Что мне писать Вам? С чего начать? Нужно сказать много, а я разучился не только писать, но и говорить. Я живу верой в нашу встречу. Без Вас для меня не будет жизни, живите! Я ничего не буду от Вас требовать — мне ничего и не нужно, кроме того, чтобы Вы были живы. Остальное — я это твердо знаю — будет. Об этом и говорить не нужно, п<отому> ч<то> я знаю — всё, что чувствую я, не можете не чувствовать Вы.

Наша встреча с Вами была величайшим чудом, и еще большим чудом будет наша встреча грядущая. Когда я о ней думаю — сердце замирает страшно — ведь большей радости и быть не может, чем та, что нас ждет. Но я суетверен — не буду говорить об этом. Все годы нашей разлуки — каждый день, каждый час — Вы были со мной, во мне. Но и это Вы, конечно, должны знать.

Радость моя, за все это время ничего более страшного (а мне много страшного пришлось видеть*), чем постоянная

* видеть! (Пометка моя.) — *Примеч. М.Цветаевой.*

тревога за Вас, я не испытал. Теперь будет гораздо легче — в марте Вы были живы.

— О себе писать трудно. Все годы, что мы не с Вами — прожил, как во сне. Жизнь моя делится на две части — на «до» и «после». «До» — явь, «после» — жуткий сон, хочешь проснуться и нельзя. Но я знаю — явь вернется.

Для Вас я веду дневник (большую и самую дорогую часть дневника у меня украли с вещами) — Вы будете всё знать, а пока знайте, что я жив, что я все свои силы приложу, чтобы остаться живым, и знаю, что буду жив. Только сберегите Вы себя и Алю.

— Перечитайте Пьера Лоти. В последнее время он стал мне особенно понятен. Вы поймете — почему.

Меня ждет Ваше письмо — И<лья> Г<ригорьевич> не хотел мне его пересылать, не получив моего точного адреса. Буду ожидать его с трепетом. Последнее письмо от Вас имел два года тому назад. После этого — ничего.

— Спишитесь с Максом. Он всё обо мне знает. (Идут зачеркнутые слова: я же — или я *не* — знал, что Вам — последнего не разбираю.) — Сейчас комната, в которой я живу, полна народу. Шумят и громко разговаривают, и потому писать невозможно. Как только получу ответ от И<льи> Г<ригорьевича> с Вашим письмом — напишу подробно и много. Хочу отправить это письмо сейчас же, чтобы Вы поскорее получили его. Кроме того, даю еще о себе знать другим путем. И<лья> Г<ригорьевич> пишет, что Вы живете все там же. Мне приятно, что я могу себе представить окружающую Вас обстановку.

— Что мне Вам написать о своей жизни? Живу изо дня в день. Каждый день отвоевывается, каждый день приближает нашу встречу. Последнее дает мне бодрость и силу. А так — все вокруг очень плохо и безнадежно. Но об этом всем расскажу при свидании.

Очень мешают люди, меня окружающие. Близких нет совсем. Большим для меня отдыхом были мои наезды к Максу. С Пра и с ним за эти годы я совсем сроднился, и вот с кем я у него встречался. (Эти слова зачеркнуты, разобрала — М.Ц.)

— Надеюсь, что И<лья> Г<ригорьевич> вышлет мне Ваши новые стихи. Он пишет, что Вы много работаете, а я ничего из Ваших последних стихов не знаю.

Марина Цветаева. Сергей Эфрон

Простите, радость моя, за смятенность письма. Вокруг невероятный галдеж.

Сейчас бегу на почту.

Берегите себя, заклинаю Вас. Вы и Аля — последнее и самое дорогое, что у меня есть.

Храни Вас Бог.

Ваш С.

Струистая лестница Леты

ЦЕРКОВНЫЕ ЛЮДИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Наше время сверхъестественно. Набрасываются кроки будущего здания, начерно производится расчет. Зодчий, допустивший вначале ошибку, даже незначительную, не завершит своего произведения. Купол неминуемо обвалится либо в процессе работы, либо вскоре после завершения ее. Поэтому-то должны мы с особым трепетом подходить к целому ряду вопросов, связанных с современностью. Ибо приходится иметь дело не с обычной современностью, а с катастрофической, и не о ремонте русской храмины идет дело, а о возведении нового здания на родном пепелище.

Это не означает, конечно, что мы во всем порываем со старым. Таких разрывов история не знает, а утверждающие обратное — просто безграмотны, и с ними спорить — только время терять.

Кроме людей, стремящихся во что бы то ни стало «отречься от старого мира» начисто (таковых не очень много, и вряд ли поэтому они представляют реальную силу), имеются другие в количестве гораздо большем и настроенные полярно противоположно. Если первые «отрекаются от старого мира», то вторые не менее страстно отрекаются от нового. По их словам, Русский купол рухнул не потому, что какие-то устои его оказались негодными, а потому, что с безбожного Запада появились злые бациллы демократизма и социализма. В первую голову заразилась этим безбожием интеллигенция, распространившая заразу далее — в народных низах. Отсюда — лечение русской болезни просто. Всеми силами нужно

стремиться к восстановлению старой иерархии, старых форм жизни и изгнать из России демократический принцип, основанный на чистом *ratio*, а потому безбожный. Демократизм этот, так же, как и социализм, — от антихриста, ибо первый исходит из домогательств власти (право на участие всех во власти), а второй — из домогательства равномерного распределения благ земных. Зло, которое западный человек переносит легко, для русского — смерть. Русские никогда не могли привить себе секуляризованной морали, юридического и государственного самосознания. Либо все через Христа, и тогда это все ясно и определено, либо, ежели без Христа, то грабь награбленное, режь, жги, сатаней — все дозволено! Даже в стенах Церкви православные люди не переносили нормативного начала. Они насыщали свой духовный голод не от церковных иерархов, а от странников, калек переходящих, старцев. Стремление к свободной соборности и соборной свободе вне официального богословия (часто не совпадавшего с этой религиозной стихией) — в жизни церковной, и неуменье, нежелание участия в государственной жизни — вот два основных ценнейших и опаснейших исконных начала русского человека. Отсюда экономический материализм обернулся в России в безбожную и жестокую деспотию, а демократические принципы — в худосочную и бессильную «керенщину». А потому следует твердо обернуться назад к прежней исходной точке всего русского творческого духа — соборной стихийной церковности, а внецерковное государственное строительство укрепить на старой основе, т.е. на отказе от демократических домогательств личности и на пассивном и абсолютном предоставлении «цесарю цесарево».

Вот, в кратком и потому в огрубленном виде, одна из точек зрения, выставляемых группой церковных людей. Мне хотелось бы коснуться тех же вопросов в той их части, которая старается разрешить для человека православного его подход к сегодняшнему и завтрашнему в России.

Я соглашаюсь почти во всем с вышеназванной группой в ее характеристике русской религиозной стихии. Да, стихия эта была апокалиптическая, да, она была пассивна в строительстве жизни земной (государственной), да, — стихия эта, оторванная от Бога, страшна, ужасна, разрушительна, да, верю в это,

русское православие, обращенное к Христу Воскресшему, полно творческой потенции, доказательством чего в литературе является Достоевский. Согласен, поскольку дело идет об утверждении русского человека на абсолютном начале — Боге, Церкви Христовой.

Но лишь только вопрос обращается к иному, к устроению жизни земной (государство, социально-экономические отношения, борьба с коммунистической властью и пр., и пр. ...), я не только не соглашаюсь с выводами этой группы, но считаю их опаснейшими, как при разрешении неотложных боевых вопросов сегодняшнего дня, так и далекого завтрашнего.

Исхожу из того, что в человеческой жизни индивидуальной и общей есть два начала: абсолютное и относительное. Абсолютное, иными словами — религиозное, является как источником творческой народной стихии, так и конечной целью существования коллектива и личности. Относительное — есть путь, есть приспособление, есть нечто — вечно меняющееся, в зависимости от тех или иных внешних, земных условий. Эти два начала здесь, в земной жизни, слиться не могут, поскольку мы живем не в одном духе, а во плоти, и окружены не духами, ходим по земле, питаемся, одеваемся и т.д. Но отсюда не следует, что эти два начала разобщены, живут каждое самостоятельно, само по себе. Второе напитывается первым, стремится к первому и, ежели естественное отношение меж ними не нарушено, бесконечно приближается к первому без возможности слития воедино, ибо «Царство Его не от мира сего». Устранение первого знаменует в истории народа смерть или умирание его духовной культуры, его духовного творчества. Пренебрежение ко второму ведет, в конечном, к страшным социальным и политическим потрясениям. Эти потрясения бывают столь страшны, что народ, их перенесший, может растратить на преодоление катастрофы все силы свои, может окончательно обескровиться, лишиться своей жизненной потенции. А т.к. народ является носителем первого абсолютного начала, то второе — относительное оказывается теснейшим образом связанным с первым, не только как с источником питания, но и как необходимое условие для существования первого. Ибо, как бы ни был богоносен народ, он может исчезнуть и обескровиться благодаря своему внутреннему неустроению или же пренебреже-

нию к благам относительным (государство, социально-политическое благоустройство и т.д.).

Русская революция, со всеми своими последствиями, показала резко и грубо, как высоко следует расценивать эти относительные блага. Она показала также, что при «женственной пассивности» русского народа в деле государственного самостроения возможно кучкой атеистов невиданное гонение Церкви и веры, которую исповедует громадное большинство русского населения. С сатанинской методичностью большевики вырезают и изгоняют из России духовных вождей Православия. Благодаря этой пассивности растлеваются души сотен тысяч русских детей.

Как же вывести Россию из смертного тупика? Группа упомянутых мной церковников строит путь спасения, имея в виду лишь первое абсолютное начало, не желая считаться со вторым.

Пусть женственная народная стихия отдается взысканию Града Небесного, Небесного Иерусалима, а мужественный лик будет явлен в царе с его иерархией, построенной сверху, как было до революции. Царь берет на себя грех и бремя власти, народ пассивно ему подчиняется, Церковь «пассивно освящает» эту власть. Запад нам не указка. Он переживает свой закат именно потому, что форма демократическая оторвалась от религиозного содержания, богочеловечество заменилось человекобожеством.

Соглашаясь с тем, что Запад, действительно, переживает культурный кризис, я не считаю, что положение это может послужить причиной отношения к Западу как к зачумленному очагу. Культурный опыт Запада именно в области относительных благ нам не только не вреден, но необходим. Мужественную западную самодеятельность в устройении государственной и политической жизни мы должны впитать в себя, и не в этом ли одна из первых наших миссий, нас — «в рассеянии сущих».

Но, с нашим русским опытом, ставя правильный диагноз болезни Запада, не будем повторять невольной ошибки некоторых наших отцов. Не будем жертвовать Герценом ради Достоевского и Достоевским ради Герцена. Не будем разделять непроходимой стеной области относительных благ от области абсолютных, ибо чем теснее нам удастся приблизить их

друг к другу, тем меньше будет возможностей в будущем для разрушительных катастроф. Наша будущая творческая работа должна идти по двум руслам. Одно из них — сбережение религиозно-духовного богатства России, выявленного в Православии, другое — устройство, с чувством ответственности каждого (*res publica**), нашего русского дома, памятуя, что без этого дома (относительное благо) России суждено согнуться или уподобиться народу еврейскому без территории и государства.

Россия должна явить свой мужественный лик. И в этом выявлении должны принять участие все, все в этом ответственны, никто не может от этого отказаться. Отсюда наш демократизм, который содержит в себе не только «домогательства самочинной личности», но и чувства страшного долга и ответственности каждого и всех перед каждым и всеми за ту форму земной жизни, которую мы все собираемся строить. А то, что отцы и учителя демократии безбожники, нас пугать не должно, как не пугало Константина Великого то, что до него монархия зиждилась на язычестве, а православнейший Юстиниан не убоился использовать для своего знаменитого *codex*'а языческие же образцы.

Лучшие люди Запада, по словам Бердяева, вперяют свой взор на Восток в надежде обрести у нас заглохший в Европе родник жизни. Может быть, стена, разделявшая, благодаря многовековому церковному распаду, Россию и Запад, и есть, в первую очередь, причина как русской катастрофы, так и западного духовного кризиса. Мы были лишены плодов западной культуры, они — нашего религиозного опыта. Западная культура направила свой творческий гений к созданию тех относительных благ, потеряв которые мы, русские, с такой жадностью их возжаждали. Западный человек, несмотря на свою оторванность от Церкви, на религиозную теплоту свою еле ощутимую, а часто и на отсутствие всякого религиозного начала, сумел бороться с большевизмом, устоять от него до сего времени и, в конце концов, вероятно, отстоит свои «относительные блага». А пороха для взрыва в странах побежденных было не меньше, если не больше, чем в России: страшная война, поражение, голод, миллионы рабочих-соци-

* Общественное дело (*лат.*).

алистов, русская коммунистическая зараза. Устояли и отстояли. Думаю, что устояли именно потому, что чувствовали государство как свое государство, законы как свои законы, правовой порядок как свой правовой порядок. Содружество всех, соучастие всех, ответственность всех — демократия. У нас же все то, что было на Западе личным, все, говоря о чем употребляли первое лицо местоимения — «мое», «наше», «у нас», — все это ощущалось как постороннее, не свое: «ихнее», «барское», «царское», «самодержавное». «Ихнее», «барское» — для народа, «царское», «самодержавное» — для интеллигенции. И даже то, что давалось этим самодержавием несомненно положительного, только теперь интеллигенцией, да и то не всей, принимается как ценность. Вспомним русский Суд. Царская охранка для широкого русского общества заслоняла русские судебные установления, занимавшие одно из первых мест меж западных. Для одних суд был «барским», для других — «царским». Лишь теперь вспомнили, когда вместе суда в России процветает «пролетарская справедливость».

Итак, что же делать? Взамен дурного русского круга, приведшего к революции, приниматься ли чертить новый тем же циркулем, как предлагают некоторые?

Мы отвергаем этот способ. Мы полагаем необходимой и основной предпосылкой в нашей будущей работе устранить начальную первопричину Русской Революции. Отныне в области относительных благ не должно быть деления на «наше» и «ихнее», на «свое» и на «царское» с барским». Все ответственные в том строе жизни, который нам предстоит создавать, а ответственность вытекает из соучастия. Пусть мужественный русский лик выявится не в бунте Разина, Пугачева, Буденного, а в демократическом соучастии всех в работе. Не произвол, а ответственность, не бунт, а труд.

Мы не против иерархии, а против гнилой иерархии. Корни иерархического дерева должны быть в народной толще, а не в бюрократических верхах. Мы против народной пассивности в государственно-строительной жизни, ибо эта пассивность неминуемо заканчивается дурной активностью — бунтом. Мы именно в этом видим первопричину русской катастрофы.

Но мы не переносим свою демократичность в круг абсолютных ценностей, как это делали наши западники. Демократичность — это не ценность, а способ жизни.

кратия — это лишь средство, лишь форма для выявления русскими своего мужского творческого лика. А стихийное начало, исток, содержание, то, чем все должно напитываться и к чему все должно стремиться, — то же:

Любовь, Христос, Церковь.

О ПУТЯХ К РОССИИ

Не путь, а пути, ибо не партия, а человеки («люди» не есть множественное от «человек». Разница людского и человеческого). Больше: партийное, предвзятое сейчас нетерпимо. Оно было источником тысячи русских бед, а может быть, и основной русской бедой. Есть два рода общности: общность, рождаемая человеческим (общее прошлое, вера, опыт, профессия и пр.), и общность как подчинение догме. Общность изнутри и общность извне. Общность лиц и общность безличия. Вторая нам хорошо известна по недавнему прошлому. Вспомним лозунги революции и людей, объединяемых ими:

Нету лиц у них и нет имен,
Песен нету...

Это не означает, что будущее обойдется без партий — партии будут, но возникнут они путем объединения лиц, одним — кровно-затронутых и в одном — кровно-нуждающихся. Такие объединения в России начинают намечаться еще до образования там партий и союзов (крестьянство). Партии будут организациями, а не казармами догм.

Каковы же пути к России, намечаемые эмиграцией (я подразумеваю не политические, а психологические). Примитивнейший и иерархически-последний — путь идейных сменовеховцев. Они, опрощая и обобщая, рассуждают так: «я русский, я желаю слиться с Россией, Россия превратилась в СССР, СССР оглавляется коммунистической рожей, — ergo, желая оставаться русским, я принимаю эту рожу, как свою» (об этой группе прекрасно писал и говорил Ф.А.Степун). Ложность и неприемлемость этой формулы для нас очевидны. Мы прекрасно отличаем насильственно надставленную

рожу от лица и вечного лика России. Мы ясно видим двойной грех идейных сменовеховцев: убийственное для каждого из них лицедейство, выражающееся в отказе от самого себя, от собственного лица, и духовное соучастие в страшных преступлениях тех, рожу которых они принимают.

Второй путь к России, хотя и более людный, труднее определим. На него вышли все те, кто во что бы то ни стало решил принять сегодняшнее лицо России, по тем же самым побуждениям, по которым первая группа принимает российскую рожу. Отвергая рожу, люди принимают новое лицо родины и ради этого лица отказываются от своего собственного. Я бы назвал такое отношение к России эмигрантским провинциализмом. Провинциализм как термин обозначает несколько различных понятий. Есть провинциализм как понятие географическое, как понятие культурное и, наконец, как понятие психологическое. Культурный провинциализм является одним из самобытных слагаемых единой русской культуры (Сибирь, Белоруссия, наш Север и т.д.). Это явление положительное, органическое, творческое. Провинциализм психологический или, вернее, как выразитель определенного человеческого типа вообще характеризуется погоней за столичной формой, жаждой во что бы то ни стало принять эту форму, без возможности напитать ее содержанием оригинала (столица). Этот психологический тип мы можем встретить не только в провинции. Множество столичных жителей, в погоне за передовым взглядом, суждением, обликом, без достаточной внутренней органической подготовки, являются образцами самого типичного провинциализма. Подобным же провинциализмом характеризуется и приведенная мною группа. Она подменяет лишь «столичное» сегодняшним российским. И если российский провинциал являет собою безличное, бестворческое начало, то эмигрантский провинциал представляет из себя такого же творческого ничегока. Российское лицо на нем превращается в мертвую личину, а органический творческий процесс — в лицедейство.

Здесь, на мой взгляд, мы имеем дело с коренными ошибками, проистекающими из неправильного уяснения по существу своему правильных положений. Первое из них: признание сегодняшнего дня в СССР русским днем, а не каким-то промежутком, провалом меж двумя историческими этапами, про-

шлым — до революции и будущим — после контрреволюции. Положение несомненно правильное, и все меньше эмигрантов продолжает твердить о провале российской истории. Но одно — назвать происходящее в России русским, другое — отождествить это сегодняшнее с Россией. Поясню на примере. «Базаровщина» — это русское явление, но Россия даже 60-х годов — это не «базаровщина». Наш эмигрант провинциального типа, эмигрируй он из России не сейчас, а тогда, конечно, постарался бы надеть на себя личину Базарова, ибо этот тип тогда был «передовым» и модным. В приведенном случае имеет место простейшая логическая ошибка (дерево есть растение, но растение не есть дерево), которая влечет за собою провинциальное низкопоклонство перед сегодняшним преходящим лицом России.

Вторая ошибка в самом понимании слова «приятие». Это понятие весьма растяжимо. Когда эта группа говорит о приятии современной России, то и она не все принимает, отвергая большевицкую «рожу». Но во всем остальном она уже отбора не делает, отказываясь от личного критерия — Россия там, а не здесь (положение правильное, за рубежом русские, а не Россия); она, — моя сила питающая, без меня проживет, я же без нее погибну. А поэтому, чтобы жить, нужно отказаться от себя ради нее и ради жизни.

Если первое положение верно, то последнее самоубийственно ошибочно. Путь к России лишь от себя к ней, а не наоборот.

Я всматриваюсь и приемлю, но без отказа от себя, от своего критерия. Даже больше: путь к России возможен лишь через самоопределение, через самоутверждение. Отказавшись от себя, от своего опыта революционного и дореволюционного, от своего прошлого, я обращаюсь в сухую ветвь, которая никогда не привьется к российскому стволу.

Что же я вкладываю в слово «приятие»? Прежде всего признание за тем или иным явлением органического характера, а это признание диктует и определенный подход к нему. Я не противодействую, не противопоставляю ему упора своего «нет», я напрягаю свою волю и направляю свое творчество к тому, чтобы использовать этот органический процесс на благо, чтобы напитать его благим содержанием. Подобный подход мы видели на примере отношения Церкви к язычес-

ким праздникам. Церковь не уничтожила их, а напитала новым благим содержанием.

Отсюда и живучесть христианских праздников. Не потому ли и побеждены мы в Белом движении, что проглядели органическое в революции и приняли ее лишь как борьбу двух идеологий?

При таком понимании «приятя» не только не может иметь места отказ от своего лица, а наоборот, чем крепче мы самоопределимся, чем яснее будет обнаружено это наше лицо, тем тверже мы будем знать, что нам делать и как нам делать.

Здесь будет уместно обнаружить еще одну существенную ошибку, допущенную эмигрантами провинциального типа.

Она заключается в смешении органических процессов России с тамошними идеологическими увлечениями. В первом случае наше приятие обязательно, во втором — мы совершенно свободны. Поясню на примере. Письма и газеты из России говорят о стихийном тяготении к американизму, наблюдаемом там. Ежели это так, то я, принимая этот процесс, не приму однобокой американской идеологии русской молодежи. Я буду всячески стараться привить русскому американизму близкое мне духовное содержание. Не Достоевского заменить русским янки, а американизм напитать Достоевским. Не лик сузить до лица, а лицо приобщить лику.

Теперь еще об одной группе эмигрантов. Я бы назвал их беспутейцами, ибо нет им путей в Россию. Они имеются и в правом, и в левом лагерях, и в центре. Политический признак при их определении не важен совершенно. Их голоса самые громкие в эмиграции. Они выступают на собраниях, они издают газеты, они вырабатывают десятками программы и резолюции. Они же с неиссякаемой яростью друг с другом полемизируют, несмотря на разительное меж собою сходство. Кто же они? Бывшие люди — носители бывших догм, вожди бывших партий. И люди, и догмы, и партии провалились. Казалось бы, нужно готовиться к очередному экзамену. Казалось бы, нужно бросить старое тряпье, в котором больше дыр, чем нитей, больше лжи, чем правды, больше отвлеченностей, чем жизни, и больше политической злобы, чем России. Но нет, старательно перекраивая свои кафтаны, эти бывшие вожди заняты злорадным высматриванием чужих за-

плат, не замечая своих собственных обнаженностей. Когда они поворачивают свои головы к Востоку, к России, они смотрят, но не видят. Или, вернее, видят, но не реальность, а милые их сердцу мороки. Бог с ними! Нам не по пути.

Каков же наш путь? Он труден, сложен и ответственен. С волевым упорством, без лживых предвзятостей всматриваемся мы в далекие, родные туманы, с тем чтобы увидеть, познать и почувствовать, а следовательно, и принять послереволюционное лицо России, лицо, а не личину, органическое начало, а не преходящую идеологию, и только всмотревшись и увидав, дадим мы действенный и творческий ответ, наш ответ, собственный, личный, нашим я, нашим опытом, нашим credo данный.

ЭМИГРАЦИЯ

Есть в эмиграции особая душевная астма. Производим дыхательные движения, а воздуха нет. Которая весна, лето, осень и зима протекли, а вот не заполнили ни одного времени года — зима как весна, лето как осень. Все подменилось черными и красными цифрами календаря. День превратился в бесцветную временную единицу, отсекаемую неумолимым маятником. Желтый свет электрической лампы сменяет белые лучи солнца. И ничего больше.

Мир обесцветился и обезголосился. Словно вошли мы чудесным образом в кинематографический фильм без красок, без солнца, без воздуха, с белесым светом, с серыми лицами и с математическим, а не космическим пространством. Неутомимый тапер годами наколачивает по клавишам победоносный марш. Фильм мелькает, а... дышать нечем. И чем дальше, тем душевнее, тем безвоздушнее.

Эта безвоздушность переносится и на человеческие отношения. Никогда раньше встречи с людьми не были столь многочисленны: в России десятки — здесь сотни знакомых. Но следы от тех бывших встреч насколько осязательнее, насколько длиннее, насколько значительнее здешних зарубежных. Как в поезде, перезнакомившись со всеми сопутчиками, забываешь их, пересев на узловой станции в другой, так и здесь — каждый переезд на новое место, каждая перемена

службы связана с наплывом новых людей, новых отношений, новых связей и с почти хирургическим изъятием вашего человеческого вчера. Вместо свободного подбора к душевному и духовному сожителю человеческие отношения построены на случайной механической сцепленности.

И ни в чем так явственно не выявилась эта безвоздушность, как в зарубежной литературе. Эмиграция, столь богатая литературными именами, совершенно лишена своей литературы, художественных произведений, напитанных кровью эмигрантской жизни. «Митина любовь» Бунина, «Золотой узор» Зайцева, «На Блакитном поле» Ремизова, степуновский «Переслегин», минцловские рассказы напитаны не здешним, а либо тамошним, либо бывшим. Муратов питается Италией, Алданов историей, и ни один — эмиграцией. А казалось бы, есть о чем писать. Казалось бы, трагедия нашего изгнанничества достаточно полнокровна для художественного перетворения. И, конечно, кровность этой трагедии не раз будет использована русской литературой в будущем.

Но в чем же дело? Куда исчез весь воздух? Или причиной всему тоска по Родине? Она — душит нас, закрывает глаза и уши, иссушает сердца?

А.В.Пешехонов именно так и отвечает на поставленный вопрос (см. «Волю России» № VII). Он убежден, что громадное большинство эмиграции столь кровно связано с русским бытом, духом, стихией, что не может жить долгое время вне родины, не может органически войти в чуждую среду Запада; что вся эмиграция держится лишь химерической надеждой на скорое, очень скорое возвращение на Родину. Поэтому, рассеивая последовательно ряд миражей, питающих эту надежду, он не видит иного выхода, как — либо возвращаться в Россию немедленно (закрыв глаза на ряд опасностей), либо твердо порешить остаться на чужбине и о возвращении не думать. Разбирая вопрос в личном порядке, он решает его для себя в первом виде: поеду в Россию, как только большевики меня пустят. Единственная задержка, следовательно, в формальном моменте — в разрешении большевиков. Для нас этот вопрос решается много сложнее, и к нему мы вернемся ниже, а сейчас рассмотрим причины «безвоздушности» русской эмиграции.

Мы готовы согласиться с г. Пешехоновым, что громадное большинство эмиграции живо надеждой на скорое возвращение, надеждой не только не обоснованной действительностью, но, более того, существующей наперекор ей. Да, эта надежда — главная действующая сила в образовании всего психического и бытового строя эмиграции. Она — основная предпосылка нашего эмигрантского мироощущения во всей его полноте. Мы смотрим не только на жизнь Запада из окон эмигрантского постоянного двора. И взгляд наш не является взглядом жадного на впечатления путешественника, а мертвым глазом застрявшего в пути, раздраженного, опустошенного, ничем, кроме расписания поездов, не интересующегося пассажира. Семь-восемь лет живем мы так, брюзжим друг на друга (совсем как в дороге), судим об окружающем нас мире по станционным строениям и буфетным стойкам, тщетно вперяем взгляд в заросшие чертополохом пути, вслушиваемся, не загудит ли долгожданный паровоз, с жадностью ожидаем прибытия свежей партии газет и особенно раскупаем те из них, которые печатают жирным шрифтом о скором прибытии застрявшего поезда. Одни ожидают броневика, изготовленного в мастерских Запада и носящего название «интервенции», другие — что поезд подается с Востока и будет он сколочен в Московских и Петербургских мастерских под именем эволюции или революции. Но проходят годы, поезда нет и в помине, раздражение растет, мертвящая скука иссушает. Боремся же мы со скукою тоже по-дорожному — газетными листами. Пять лет, как под гипнозом, слушаем все тот же спор Керенского с Гессеном, Гессена с Милюковым, Павла Николаевича с Петром Бернгардовичем. Вопрос — кто больше виноват — революционная демократия, старый режим или Временное правительство, все с той же девственной свежестью разбирается в передовицах. Эмигрантский процесс обратен российскому — в России жизнь побеждает большевизм, здесь — жизнь побеждена десятками идеологий. Свежий воздух и солнечный свет пропускается через ряд политико-идеологических фильтров и спектров. Все кровавое и кровное, пережитое и переживаемое каждым из нас, перерабатывается в бескровную и некровную ходячую политическую формулу.

Вся душность эмигрантского бытия, главным образом, от этих двух причин: ожидание и «идеологичность» (что во все не синоним идейности). Ожидание умерщвляет волю к жизни, идеологичность — обесценивает, измельчает и опошляет ее. Ожидание загоняет нас на постоянный эмигрантский двор, «идеологичность» засоряет нам глаза и слух.

Для оправдания своего нежелания видеть, своей бездушности эмигрантская масса восприняла особого рода вульгарное евразийство. «Запад догнывает», «спасение с Востока», «кризис безбожного демократизма», «западное мещанство», «механизация жизни и духа» и пр., и пр. — стали ходячими общими фразами. Чаще всего слова эти произносятся теми, кто западной культуры вовсе не знает, Восток представляет себе в виде родного Сивцева Вражка, Тулы или 9-ой Рождественки на Песках, с атрибутами — самовара, дворника, прислуги, по-старому обставленного дома, по-старому сложившихся патриархальных отношений — всего того, что окружало преждего обывателя. Русское Православие противопоставляется «безбожному Западу» этими «евразийцами» не в качестве самоценности, а как служебная функция, долженствующая справиться с ненавистным большевизмом (в то же время Муссолини приводит их в восторг, несмотря на борение с ним религиозной части Италии — католичества). Западное мещанство познано из столкновений с квартирными хозяйками, хотя по ядовитости петербургская хозяйка вряд ли уступит немецкой или чешской. А механизация жизни и духа представляется в виде автомобилей, унтергрунда и пр., в то время как подлинной жизни и духа Европы они и не пробова-ли. Это вульгарное евразийство попросту является линией наименьшего сопротивления. Неприятие и поверхностная критика по плечу каждому, в то время как творческое вхождение в жизнь Запада и со стороны евразийца, и со стороны западника требует волевого напряжения. Я сильно сомневаюсь, чтобы подобный массовый «евразиец», попав так или иначе в современную Россию, почувствовал творческий прилив воли. Ибо именно в современной России, по поступающим оттуда сведениям, пышно расцветает среди молодежи и безбожие, и марксистская механизация жизни и духа (советская мешанина из американизма и коммунизма), и самое бездушное из всех мещанств — нэп. И для того, чтобы бороть-

ся с этими явлениями, необходимо противопоставить им и положительную религиозность, и положительную духовность, и положительный идейный аристократизм. Другими словами, пришлось бы идти по линии наибольшего сопротивления. И я почти уверен, что именно этой линии массовый евразиец не выдержит. Для нее необходимо обладать собственным и твердым костяком, а не готовым общим кроєм. Костяк же обретается через соприкосновение с жизнью, как бы она ни была далека нашим национальным навыкам. Входить в жизнь не означает подчиняться. Принимая близкое, я противопоставляю далекому — свое незыблемое. И горделивое — «не поймут», «не примут» — чаще всего бывает признаком, что ни понимать, ни принимать нечего. И, может быть, никогда европейцы не были так жадны на «русское» и даже на «евразийское», как теперь.

Итак, ожидание подсекает корни эмиграции, политическая поверхностная идеологичность обращает эмиграцию в подобие рождественской елки, пышно разукрашенной политическими лозунгами и иссыхающей изнутри, а «вульгарное евразийство» старается подпереть эту елку мертвыми подпорками непрочувствованного сознания своей национальной, евразийской исключительности.

Предчувствую возражения. Первое: порывая с ожиданием возвращения — я вообще порываю связь с Россией; мы эмигранты, а не колонисты, и надежда на возвращение является нашим главным жизненным импульсом.

Прежде всего, предлагая покончить с ожиданием, я не порываю не только с надеждою на возвращение, но тем более с Россией. Ожидание, о котором я говорю, бесплодно и бездейственно по существу своему. Эмигрант, говорящий, что он живет завтрашним днем и что поэтому вся его жизнь в Европе — сплошное пока, сплошное изживание, неминуемо должен прийти либо к отчаянию и самоубийству (самоубийства начались давно), либо к сменовеховству, не идейному, а отчаянной жизни (тоже началось давно). Взамен этого я говорю: надеясь на возвращение в Россию, я готов бороться и за ее освобождение, и за свое возвращение. Но я знаю, что возвращение это может произойти через годы и годы изгнания. Занеси меня судьба на необитаемый остров, я бы напряг всю энергию, чтобы жить. И, не теряя надежды, что вырвусь

когда-нибудь на материк, я постарался бы взять от дней все, что можно взять, находясь на необитаемом острове. Останься я сидеть на берегу в ожидании спасительного корабля, я либо помер бы, либо сошел бы с ума. Если сказанное справедливо по отношению Робинзона, то тем более оно справедливо по отношению к нам, находящимся в Европе. Разрыв с Россией, как это ни странно, наиболее резко выявляется у той группы эмигрантов, что ожидает своего возвращения чуть ли не завтра. Именно для них проходят совершенно не замеченными все российские послереволюционные процессы. Именно они ограничивают свою осведомленность в российских делах очередной политической сенсацией. Для связи с Россией и для познания ее требуется все та же творческая воля, у ожидающего эмигранта отсутствующая. Отсюда жадное поглощение эмиграцией красновского «За чертополохом» и полное незнакомство ни с Леоновым, ни с Фединым, ни с Всеволодом Ивановым, ни с Бабелем (та же линия наименьшего сопротивления).

В предыдущей статье своей (№ 6–7 «Пути в Россию») я уже говорил, что связь с Россией, познание России, всматривание в «родные туманы» — является исходной точкой всех наших действий и утверждений. И, думается, для многих переход на эмигрантскую оседлость только облегчит эту связь.

Возражение второе: ополчаясь на политические спектры и фильтры эмиграции, я тем самым лью воду на мельницу разлагателей эмиграции. Эмиграция явление политическое. Политическая идеология тот обруч, который эмиграцию связывает воедино. Мы не обыватели, а политические борцы. Отказаться от идеологии означает демобилизацию эмиграции, разложение ее, превращение борцов, вынужденных на временное бездействие, в обывательскую толпу.

Считаю глубочайшей ошибкой определение большинства эмиграции как политической. За исключением нескольких немногочисленных групп ее, являющихся политическими, вся остальная масса определяется совершенно иным, не политическим признаком. Громадная часть эмиграции порождена добровольчеством (как теперь называют — Белым движением). Добровольчество в основе своей было насыщено не политической, а этической идеей. Этическое — «не могу принять» решительно преобладало в нем над политическим

«хочу», «желаю», «требую». В этом «не могу принять» была заключена вся моральная сила и значимость добровольчества. И когда военная борьба кончилась поражением, добровольцы принесли с собой на чужбину все то же «не могу принять», являющееся главнейшим обоснованием и оправданием эмиграции. Это-то и есть обруч, стягивающий эмиграцию воедино, это-то и отличает современную российскую эмигрантскую массу от сословной монархической эмиграции Франции и от старой русской социалистической.

Но время добровольческой борьбы прошло, и сейчас антибольшевицкая работа сосредоточивается в ряде политических групп. Внешние и внутренние условия требуют совершенно иных методов борьбы. Тактика, приспособление к внешним условиям, связь с действительными антибольшевицкими группами в России являются уже задачами чисто политической работы, требующей кроме героизма качеств, я бы сказал, специфических. Хороший добровольческий офицер оказывается сплошь да рядом никаким подпольным борцом. Патриотизм, самоотверженность, ненависть к большевикам и даже сильно выраженное влечение к тому или иному политическому строю — недостаточны. Необходимо обладать особым психическим складом и редкой совокупностью способностей, чтобы отправиться в Россию для пропаганды, или для свершения террористического акта, или для связи с намеченной российской группой. Дай бог, чтобы двухмиллионная эмиграция выделила, в конечном итоге, несколько тысяч (м.б. сотен?) политических бойцов. (Правда, возможна еще борьба с большевиками, так сказать, на «западном фронте», наподобие той, что ведут русские социалисты с западными. Но для этого необходимо войти в западную жизнь. И здесь требуется тщательный отбор работников.)

Что же делать остальным? Некоторые политические группы полагают, что вся эмигрантская масса должна быть втянута в политическую работу и борьбу. Эти группы измеряют свой удельный вес арифметическим подсчетом сочувствующих им эмигрантов. Но они не учитывают, что эмигрантское арифметическое количество — мертвый груз; что здесь имеет место все тот же выбор линии наименьшего сопротивления; что в лице этих тысяч и тысяч они обретают не борцов, а только чающих; что если эти чаяния удовлетворены не бу-

дут, то вся масса схлынет и начнет ломиться в другие двери. Подобное втягивание окончится печально как для той, так и для другой стороны.

Необходимо утвердиться в мысли, что этап «кавалерийского наскока» сменился «окопным сидением». Необходимо произвести раздел эмиграции политической от пребывающей по признаку «не могу принять»; насущнейшими задачами второго типа эмиграции являются — самоустройство на годы жизни за рубежом, пробуждение в себе воли к жизни, максимальная взаимопомощь, культурная и материальная, максимальная связь с Россией всеми возможными путями и уничтожение перегородок, отделяющих эмиграцию от окружающего мира. Нужно найти правильную линию общения с окружающей средой, чтобы оно не вылилось в денационализацию. Книга о детях эмиграции, выпущенная под ред. Зеньковского, вскрыла грозную опасность, надвигающуюся на эмигрантское молодое поколение. Для завоевания сносных условий жизни, для работы на культурном эмигрантском фронте, для создания объединений, преследующих указанные цели, сделано по сравнению с тем, что должно и что можно, — мало. Укрепление и рост материальной и культурной базы зарубежной России — боевая задача сегодняшнего дня, и от того, будет ли она выполнена, зависит самое бытие эмиграции. В этом деле не может быть ни правых, ни левых, — есть люди, объединенные одной культурой, одним языком, одним этическим неприятием большевизма. Сейчас борьба за существование — духовное и материальное, за исключением небольшого числа очагов, ведется разрозненно, часто каждым в одиночку и все по той же причине выживания. Нужно объединить отдельные усилия, влить эту работу в организованные формы во всеэмигрантском масштабе, отмежевав ее от политической полемики и политического разъединения. Если это не будет выполнено, то от эмиграции через несколько лет останется политическая ее часть, а главная масса либо денационализуется, либо, опустошенная вконец, вернется в Россию.

Но, может быть, возвращение в Россию через советские полпредства и есть лучший выход из тяжкого, безвоздушного эмигрантского бытия? Может быть, прав А.В.Пешехонов, задерживающийся меж нами, эмигрантами, до получения необ-

ходимой печати на паспорте? Следуя его разумному примеру, позволю себе и я разрешить этот вопрос лишь в личном порядке. Наши положения несхожи: как рядовому бойцу бывшей Добровольческой армии, боровшейся против большевиков, возвращение для меня связано с капитуляцией. Мы потерпели поражение благодаря ряду политических и военных ошибок, м.б. даже преступлений. И в тех, и в других готов признаться. Но то, за что умирали добровольцы, лежит гораздо глубже, чем политика. И эту свою правду я не отдам даже за обретение Родины. И не страх перед Чекой меня (да и большинство моих соратников) останавливает, а капитуляция перед чекистами — отказ от своей правды. Меж мной и полпредством лежит препятствие непреходимое: могила Добровольческой армии.

От составителя

Вот и всё. Дальше — обрыв. Пустота. Осталось лишь несколько писем — бытовых, деловых, коротких. Если и сохранялся между ними тот напряженный внутренний диалог, какой существовал в первое десятилетие их супружества, то — в жизни, не на бумаге. Да и не станешь ведь писать к тому, кто все время — рядом.

Они сумели рассказать друг о друге и о времени, в которое им пришлось жить. Но ни в прежнюю Россию, ни в свою юность им уже не суждено было вернуться.

Примечания

Тексты настоящего сборника печатаются по следующим изданиям:

– стихи и проза М.Цветаевой по: Ц в е т а е в а М. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 1, 2, 4 / Сост., послеслов. и примеч. А.Саакянц, Л.Мнухина. М.: Эллис Лак, 1994;

– проза С.Эфрона по: Э ф р о н С. Волшебница // Марина Цветаева в воспоминаниях современников: В 3 т. Т. 3 / Сост., предисл., примеч. Л.Мнухина, Л.Турчинского. М.: Аграф, 2002; Э ф р о н С. Записки добровольца / Сост., предисл. Е.Коркиной, примеч. Н.Морс. М.: Возвращение, 1998;

– письма по: Ц в е т а е в а М. Неизданное. Семья: История в письмах / Сост., коммент. Е.Коркиной. М.: Эллис Лак, 1999.

При подготовке примечаний были использованы некоторые сведения справочных аппаратов указанных выше изданий.

ДРУГ У ДРУГА МЫ НАВЕК В ПЛЕНУ

Сергей Эфрон

ВОЛШЕБНИЦА

Волшебница – заключительное произведение книги С.Эфрона «Детство» (М.: Оле-Лукойе, 1912).

С. 41. ... *один человек читал мне чудные стихи... и я сделалась невестой этого человека.* – Подразумевается Владимир Оттонович Нилендер (1883–1965) – переводчик с древнегреческого языка.

С. 43. *Я всё – и волшебница, и русалка... все люблю, всего хочу!* – Намек на стихотворение М.Цветаевой «Молитва», где есть такие строки: «Всего хочу: с душой цыгана / Идти под песни на разбой, / За всех страдать под звук органа / И амазонкой мчаться в бой...»

С. 44. *Конка* – городская железная дорога с конной тягой.

С. 46. *Шенбрунн* – город в Австрии, где происходит действие пьесы Э.Ростана «Орленок»; *Камерата, герцог Рейхштадтский* – ее герои. Юная Марина Цветаева очень любила эту пьесу и даже перевела ее на русский язык. Перевод не сохранился.

С. 48. *Адя* — у М.Цветаевой был сводный брат Андрей Иванович Цветаев (1890—1933).

Аля — у М.Цветаевой была младшая сестра Ася (Анастасия Ивановна) Цветаева (1894—1993), впоследствии писательница, мемуаристка.

С. 49. *«Принцесса Грёза»* — пьеса Э.Ростана.

С. 50. *Наполеон II, король Римский, принц Пармский, герцог Рейхштадтский* — одно и то же лицо.

Марина Цветаева

НА РАДОСТЬ

С. 52. *С.Э.* — Сергей Яковлевич Эфрон (1893—1941) — муж М.Цветаевой, литератор, общественный деятель.

СЕРГЕЮ ЭФРОН-ДУРНОВО

С. 53. *Дурново* — фамилия матери С.Эфрона, Елизаветы Петровны Эфрон-Дурново (1855—1910) — революционерки, члена партии «Земля и воля».

Жест царевича и льва... — Лев — домашнее прозвище С.Эфрона.

Версальцы — обосновавшиеся в Версале противники революции, подавившие Парижскую коммуну.

Любопытно, что Цветаева ставит на одну доску декабристов — революционеров и версальцев. Для нее и те и другие — герои, потому что способны положить жизнь за идею; само содержание идеи ей совершенно не важно.

Мальмэзонский — от Мальмэзон (Мальмезон) — дворец и парк — резиденция Наполеона I.

ГЕНЕРАЛАМ ДВЕНАДЦАТОГО ГОДА

С. 55. *Тучков-четвертый* — Тучков Александр Алексеевич (1778—1812) — генерал-майор, павший в Бородинском сражении.

«Я С ВЫЗОВОМ НОШУ ЕГО КОЛЬЦО...»

Стихотворение посвящено С.Эфрону.

С. 56. *...его кольцо...* — Кольцо, на внутренней стороне которого были выгравированы дата свадьбы Цветаевой и Эфрона (27 января 1912 г.) и имя Сергей; не сохранилось. Второе кольцо, с именем Марина, находится ныне в Государственном литературном музее в Москве.

Стансы — небольшое стихотворение — четыре стиха четырехстопного ямба с перекрестными рифмами, при обязательной строфической замкнутости. Цветаева вряд ли знала точное значение этого термина — никакого «ведения» она не любила. Слово «стансы» здесь употреблено скорее всего в значении «оды» или, быть может, просто хороших стихов.

ПИСЬМА С.ЭФРОНУ

1

С. 57. *Александров, 4²⁰ июля 1916 г.* — С конца июня до середины июля 1916 г. М.Цветаева жила в Александрове в доме А.И.Цветаевой, которая в это время уехала в Москву перед родами.

Ходасевич Владислав Фелицианович (1886–1839) — поэт, переводчик, литературный критик, летом 1916 г. жил в Крыму.

Маврикий Александрович Минц (1886–1917) — второй муж А.И.Цветаевой.

...Асиной судьбой... — Имеется в виду А.И.Цветаева. См. примеч. к с. 48.

С. 58. *Аля* — Ариадна Сергеевна Эфрон (1912–1975) — дочь М.Цветаевой и С.Эфрона, переводчица, художница, мемуаристка.

Андрюша — Андрей Борисович Трухачев (1912–1993), сын А.И.Цветаевой.

...упорно молится «за девочку Ирину»... — А.И.Цветаева, когда ждала второго ребенка, надеялась, что у нее родится дочка, которую она хотела назвать Ириной.

...много Сидоровых! — Речь идет о козах (от выражения «сидорова коза»).

...вытье Дейши! — Имеется в виду Дейша-Сионицкая Мария Адриановна (1859–1932) — оперная певица и педагог, соседка Волошина по Коктебелю.

2

С. 58. *...ездил в Крутицкие...* — Имеются в виду Крутицкие казармы, где находилось управление Московского уездного воинского начальника.

Маша — неустановленное лицо, очевидно прислуга М.Цветаевой.

С. 59. *Могилевские* — неустановленные лица.

Дядя Митя — Дмитрий Владимирович Цветаев (1852–1920) — младший брат И.В.Цветаева, историк, профессор Варшавского университета.

Макс — Кириенко-Волошин Максимилиан Александрович (1877–1932) — поэт, критик, художник, старший друг М.Цветаевой.

вой. С 1911 по 1917 г. Цветаева неоднократно гостила у него в Коктебеле. Волошину посвящен цикл стихотворений М.Цветаевой «*ICI-Haut*» (1932) и очерк «Живое о живом» (1933).

Спасибо... за историю с Брюсовым и Ходасевичем! — В.Ф.Ходасевич и младший брат В.Я.Брюсова Александр учились одновременно в 3-й мужской гимназии. О какой именно «истории» идет речь, неясно.

Сыроечковский Евгений Иванович (1895—1908) был директором 3-й московской мужской гимназии, затем инспектором классов женской гимназии фон Дервиз, в которой училась М.И.Цветаева.

«*Ростопчинская шутка*» — имеются в виду строчки из поэмы Н.Некрасова «Русские женщины»: «В салонах Москвы повторялась тогда / Одна ростопчинская шутка». Далее следует текст «шутки».

Мальчик спокойный. — Речь идет о втором сыне А.И.Цветаевой — Алеше (25 июня 1916 — 18 июля 1917).

С. 60. *Мандельштам* Осип Эмильевич (1891—1938) — поэт, друг М.Цветаевой, в июле 1916 г. находился в Коктебеле. См. также примеч. к с. 209.

Чайкина Софья Исааковна (1878—1931) — редактор-издательница петербургского журнала «Северные записки», в котором в 1915 г. были напечатаны стихотворения М.Цветаевой.

...у меня пока переведено всего 50 стр<аниц>. — Речь идет о переводе М.Цветаевой романа французской писательницы Анны де Ноай (1876—1933) «Новое упование». Перевод был опубликован в 1916 г. в журнале «Северные записки».

Говоров Александр Сергеевич (1891—?) — гимназический приятель С.Эфрона.

3

С. 61. *Камкова* Мария Степановна (ок. 1833 — не ранее 1917, указ. Е.Лубянской) — сводная сестра деда сестер Цветаевых А.Д.Мейна. По завещанию М.А.Мейн она имела право на «пенсию», которую ей регулярно присылала А.И.Цветаева.

Ася все еще в имени. — А.И.Цветаева находилась в имении Иосифа Викторовича Зелинского (ок.1857—1928) — народовольца, знакомого М.Волошина.

Андрюша — А.Б.Трухачев.

Хрустачев Николай Иванович (1883—1962) — художник.

Надя — няня сына А.И.Цветаевой, впоследствии была няней у дочерей М.Цветаевой.

Все дни выпускают вино. Горod насквозь пропах. — Об этом стихотворении М.Цветаевой «Ночь-Норд-Ост. — Рев солдат. — Рев волн. / Разгромили винный склад...»

Борис — имеется в виду Борис Сергеевич Трухачев (1893—1919), первый муж А.И.Цветаевой, вторым браком женатый на актрисе

Камерного театра Марии Ивановне Кузнецовой (театральный псевд. Гринева) (1895–1966).

Люба – няня дочерей М.Цветаевой.

С. 62. *Малиновский* Александр Николаевич – художник, приятель М.А.Минца, автор графического оформления обложки книги А.Цветаевой «Дым, дым и дым» (1916).

4

С. 62. *Петр Николаевич* Лампси (1869 – после 1920) – феодосийский городской судья, знакомый М.Волошина, внук И.К.Айвазовского.

...литературное общество «Хлам». – Название общества расшифровывается: «Художники – Литераторы – Артисты – Музыканты».

Коля Беляев – воспитанник П.Н.Лампси.

...вроде *Эстетики*. – Имеется в виду «Общество свободной эстетики», где М.Цветаева 3 ноября 1911 г. читала в унисон с сестрой Анастасией свои стихи, а в декабре того же года получала приз за участие в конкурсе на лучшее стихотворение на тему пушкинских строк: «Но Эдмонда не покинет Дженни даже в небесах» (из «Пира во время чумы»).

...старуха *Шиль*... – Вероятно, Софья Николаевна Шиль (1861–1928) – писательница.

Гая (Галина Владимировна) *Полужтова* (1898–?) – писательница.

Хромоножка – возможно, Дуся Яценко (ок. 1898–?) – танцовщица.

С. 63. *Сначала бе слово...* – Сокращенная цитата из Евангелия от Иоанна (1,1).

Везде «Бесы»! – Имеется в виду роман Ф.М.Достоевского и его персонажи.

Сафандинаки – неустановленное лицо.

С. 64. *Новицкий* Александр Александрович – капитан 2-го ранга, начальник Феодосийского порта.

Латри расходятся. – Имеются в виду Латри Михаил Пелопидович (1875–1941) – художник, график – и его жена Ариадна Николаевна.

5

С. 64. *Эренбург* Илья Григорьевич (1891–1967) – поэт, впоследствии писатель, публицист, общественный деятель.

Наташа Вержховецкая – знакомая М.Цветаевой, поэтесса, жила в Старом Крыму.

Толстой – имеется в виду Алексей Николаевич Толстой (1883–1875), писатель, знакомый сестер Цветаевых по Коктебелю.

Туся – имеется в виду Наталья Васильевна Крандиевская (1888–1963) – поэтесса, жена А.Н.Толстого.

С. 65. *Пра* — домашнее прозвище Елены Оттобальдовны Кириенко-Волошиной (урожд. Глазер; 1850—1923), матери М.Волошина.

Керенский Александр Федорович — см. примеч. к с. 71.

Александра Михайловна Петрова (1871—1921) — феоdosийская учительница, многолетний друг М.Волошина.

«Ваши Генералы 12 года...» — Имеется в виду стихотворение М.Цветаевой «Генералам двенадцатого года», написанное в Феодосии 26 декабря 1913 г.

«Сад Эпикура» А.Франса — сборник афоризмов, отражающий философские взгляды французского писателя Анатоля Франса (1844—1924).

РОКОВЫЕ ВРЕМЕНА

Сергей Эфрон

ЗАПИСКИ ДОБРОВОЛЬЦА

С. 69. *«...Когда-б на то не Божья воля, / Не отдали б Москвы!»* — Цитата из стихотворения М.Ю.Лермонтова «Бородино».

«Русские ведомости» (1863—1918) и *«Русское слово»* (1835—1917) — наиболее популярные в предреволюционное время ежедневные русские газеты.

...после провала Корниловского выступления... — Корнилов Лавр Георгиевич (1870—1918) — генерал. В июле-августе 1917 г. — Верховный главнокомандующий. В конце августа 1917 г. поднял восстание с целью устранения анархии и восстановления порядка в России. Восстание было подавлено, сам Корнилов арестован. Впоследствии был одним из организаторов Добровольческой армии. Погиб в бою под Екатеринодаром.

...жена в это время находилась в Крыму... — В начале октября 1917 г. М.Цветаева приехала в Крым к сестре Анастасии, чтобы поддержать ее после потери мужа и сына.

...полетел в полк... — 22 июля 1917 г. после окончания 1-й Петергофской школы прапорщиков С.Эфрон был зачислен в 10-ю роту 56-го пехотного запасного полка Московского военного округа. Полк располагался в Москве: часть рот — в Кремле, остальные — в Покровских казармах на Покровском бульваре.

С. 71. *Керенщина проклятая!* — Керенский Александр Федорович (1881—1970) — политический деятель, эсер, занимал разные должности во Временном правительстве: в июле 1917 г. был министром-председателем, с конца августа — Верховным главнокомандующим. В конце октября вместе с генералом Красновым предпринял неудавшуюся попытку свергнуть советскую власть в Петрограде. Отличался многоречивостью и нерешительностью.

...в сопровождении адъютанта... — В период службы С.Эфрона в 56-м полку полковым адъютантом был прапорщик А.И.Сцислицкий.

...командир полка. — В период службы С.Эфрона в 56-м полку командиром полка был Александр Павлович Пекарский (1861—1917).

С. 72. ...полковник *Рябцов*... — Рябцев Константин Иванович (1879—1918) — с июля 1917 г. командующий Московским военным округом, эсер. После столкновения между юнкерами и солдатами 27 октября в районе Манежа объявил о введении в Москве военного положения. Блокировал Кремль и предъявил ультиматум о роспуске Военно-революционного комитета (ВРК). 29 ноября 1917 г. после подписания с ВРК соглашения о прекращении боевых действий снял осаду с Кремля и фактически самоустранился от командования округом. Заключение перемирия, которое было использовано ВРК для усиления своего положения, лишило полковника Рябцева доверия.

С. 73. ...к себе на *Поварскую*? — М.Цветаева и С.Эфрон снимали квартиру в Борисоглебском переулке, д. 6, рядом с Поварской улицей. Сейчас в этом здании Культурный центр «Дом-музей М.И.Цветаевой».

Скобелевская площадь — ныне Тверская площадь. На этой площади в доме генерал-губернатора (ныне в этом здании располагается Московская мэрия) размещался Военно-революционный комитет, руководивший в октябре 1917 г. боевыми действиями революционных частей в Москве.

Ц.И.К.М.С.Р.С. и К.Д. — Центральный исполнительный комитет московского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

С. 83. *Бутырки* — имеется в виду знаменитая Бутырская тюрьма в Москве.

С. 84. ...Г., моего друга детства. — Имеется в виду Гольцев Сергей Иванович (1896—1918) — друг и однополчанин С.Эфрона. Впоследствии участник октябрьских боев в Москве, затем 1-го Кубанского (Ледяного) похода. Упоминается в прозе М.Цветаевой «Живое о живом», «Октябрь в вагоне» и в письмах к С.Эфрону.

Вокруг Александровского училища сейчас организуются все силы против большевиков. — В Александровском военном училище во время октябрьских боев 1917 г. был организован главный оперативный штаб контрреволюционного командования Московского военного округа (МВО). Здесь заседал Совет офицерских депутатов. Здесь же формировались отряды Белой армии. На подступах к училищу были вырыты окопы, возведены баррикады, установлены орудия. Корпуса училища обстреливались артиллерией противника.

С. 86. ...на *Ходынском поле* стоят *ангары*. — На Ходынском поле (Ходынском лугу) были расположены аэродром и ангары (поме-

щения для ремонта самолетов). В дни октябрьского переворота 1917 г. воинские части, расположившиеся в казармах на Ходынском поле, перешли на сторону большевиков и активно участвовали в установлении власти Советов.

Женский батальон в Зимнем дворце... — 19 июня 1917 г. Временным правительством был образован из женщин-добровольцев первый батальон смерти. Его главная цель заключалась в оказании патриотического воздействия на солдат-мужчин. Формирование женских частей шло по всей стране, и в октябре уже были собраны 1-й Петроградский, 2-й Московский и 3-й Кубанский женские батальоны. Петроградский батальон оказался в числе последних защитников Временного правительства в дни октябрьского переворота, и он же участвовал в охране Зимнего дворца, которая закончилась для женщин трагически.

В январе 1918 г. женские батальоны формально были распущены, но многие их участницы продолжали службу в частях белогвардейских армий.

С. 87. ...*полковник Дорофеев*. — Дорофеев Константин Константинович (1874—?) — полковник Генерального штаба, член центрального правления Союза георгиевских кавалеров, образованного в 1917 г. В октябре 1917 г. члены Союза составляли ядро так называемых ударных частей и частей смерти. 27 октября 1917 г. полковник Дорофеев принял командование штабом Московского военного округа. После ликвидации сопротивления в Москве уехал на Дон, где формировалась Добровольческая армия. В декабре был направлен в Крым для организации там отделов Добровольческой армии. Дальнейшая его судьба неизвестна.

С. 8. ...*фрагмент орщик > Б. (московский присяжный поверенный)*... — Вероятно, речь идет о прапорщике Блохине, однополчанине С.Эфрона (о нем см. «Декабрь 1917 г.» в «Записках добровольца»). Присяжный поверенный — адвокат.

...*трехлетней дочкой*... — Старшей дочери С.Эфрона Ариадне (Але) было в то время 5 лет, младшей Ирине — около полугода. Очевидно, что имеется в виду Аля.

С. 89. *Манеж* — здание между Александровским садом, что у Кремля, и университета. Здание уникальной архитектуры, построенное в 1817 г. Первоначально Манеж предназначался для проведения военных смотров, парадов. Потом здание использовалось для военных учений, народных гуляний, выставок, благотворительных вечеров и пр. Сюда же полиция заталкивала бунтующих студентов.

...*охотничья церковь (Параскевы-мученицы)*. — Церковь Параскевы Пятницы (покровительницы торговли) XV в. стояла на углу Охотного ряда и Тверской улицы. Разрушена в 1928 г.

С. 91. ...*лазарет Литературного кружка*. — На средства Литературно-художественного кружка (1899—1920) был устроен лазарет на Соколиной горе (район Измайлово). В здании на Б.Дмитровке,

где с 1905 по 1919 г. размещался кружок, во время Первой мировой войны был открыт городской госпиталь.

Охотнинская площадь — имеется в виду площадь Охотного ряда.

С. 93. *Полно студенческих фуражек*. — Студенческие фуражки легко узнавались по цвету околыша.

Юнкерами взят Кремль. — 28 октября батальон юнкеров вошел в Кремль через потайной ход из Александровского сада. Юнкера разоружили часовых, открыли Боровицкие и Никольские ворота для входа в Кремль Белой гвардии.

...от Власия, что в Гагаринском. — Имеется в виду церковь XVI в. Священномученика Власия. Ныне — один из старейших действующих храмов Москвы.

В Марьиной был... — Имеется в виду Марьиная больница, в которой когда-то работал отец Ф.М.Достоевского.

С. 94. *По Пречистенскому не ходи, там пули свистят*. — Имеется в виду Пречистенский (ныне Гоголевский) бульвар. В районе Пречистенки и прилегающих улиц шли наиболее ожесточенные бои.

На телефонную станцию. — Телефонная станция находилась в Милютинском переулке, в районе Мясницкой улицы.

С. 95. *«Метрополь»* — название гостиницы на Театральной площади.

...в почтамте засели солдаты 56 полка (мой полк). — Многие солдаты 56-го полка в октябрьских боях участвовали на стороне революционных частей. Днем 25 октября 11-я и 13-я роты заняли Почтамт и Центральный телеграф.

С. 96. *...Национальной гостиницы и городского самоуправления...* — Гостиница «Националь» и городская управа.

С. 98. *...какой-то комитет, не то «Общественного Спасения», не то «Общественного Спокойствия»*. — Имеется в виду Комитет общественной безопасности (КОБ), сформированный 26 октября 1917 г. для поддержки Временного правительства и борьбы с советской властью в Москве. В состав КОБа входил командующий войсками МВО полковник К.И.Рябцев. 2 ноября 1917 г. после подавления контрреволюционных сил в Москве КОБ прекратил свое существование.

Руднев Вадим Викторович (1874—1940) — эсер. В июле 1917 г. избран московским городским головой, в речи в Городской думе поддержал политику Керенского. Получив известие о Петроградском вооруженном восстании, созвал экстренное совещание Московской городской думы, где заявил, что отныне она — единственная законная власть в Москве и не станет подчиняться Советам. Возглавил КОБ. После подавления восстания большевиков и прекращения деятельности КОБа продолжал нелегально бороться с советской властью, сначала в Москве, а потом и в других городах. В 1919 г. эмигрировал. Жил во Франции. Сотрудничал во многих русских газетах и журналах, в том числе в «Современ-

ных записках», где печаталась М.И.Цветаева. Переписка М.И.Цветаевой и В.В.Руднева (1933–1937 годы) издана в книге: Марина Цветаева. Вадим Руднев. Надеюсь – сговоримся легко. М.: Вагриус, 2005. Имя В.В.Руднева часто встречается и в письмах М.Цветаевой к другим корреспондентам.

С. 100. ...с *Кудрина*... – Очевидно, имеется в виду Садово-Кудринская площадь.

С. 101. *Ударники* – здесь: военнослужащие особых ударных частей, созданных в период Февральской революции 1917 г.

...к *Разумовскому*... – Очевидно, имеется в виду Петровско-Разумовский проезд.

...один *петровец*... – Имеется в виду студент Петровской сельскохозяйственной академии (ныне им. К.А.Тимирязева).

... с *корнетом Дуровым*... – Из воспоминаний участника октябрьских боев в Москве, белогвардейца П.Соколова, известно, что на корнета Дурова была возложена обязанность по «ликвидации» К.И.Рябцева (С о к о л о в П. Последние защитники // Часовой. Париж. 1933. № 94–95. С. 34).

С. 102. *Брусилов* Алексей Алексеевич (1853–1926) – военный деятель. До Октябрьской революции – генерал от кавалерии. С 1916 г. – главноком Юго-Западного фронта, провел успешное наступление (т.н. Брусиловский прорыв). В мае-июле 1917 г. – Верховный главнокомандующий. После отстранения от должности остался в распоряжении Временного правительства и с разрешения Керенского уехал в Москву. В 1920 г., во время советско-польской войны, поступил на службу в Красную армию.

С. 104. *Оставлено градоначальство*. – Здание градоначальства (органа управления московской городской полицией), находившееся на Тверском бульваре, в октябре 1917 г. было одним из опорных пунктов контрреволюции. 29 октября 1917 г., после артиллерийского обстрела со стороны Страстной площади, оно было захвачено отрядом красногвардейцев, возглавляемых Ю.В.Саблиным.

...*Комитет Общественного Спасения*... – Имеется в виду Комитет общественной безопасности (КОБ).

Прокопович Сергей Николаевич (1871–1955) – экономист, публицист. В июле 1917 г. был назначен министром торговли и промышленности Временного правительства, с конца сентября стал министром продовольствия. В октябре на заседании Временного правительства заявил, что «анархия» должна быть подавлена. Входил в Комитет спасения Родины и Революции. Принимал активное участие в работе подпольного Временного правительства и на его заседании в ноябре был избран председателем на время отсутствия Керенского. По предложению Прокоповича 11 ноября Временное правительство постановило отпустить средства на противобольшевистскую агитацию. Призывал армию и население выступить против решения советской власти заключить сепаратный мир.

Весной 1918 г. вошел в Союз возрождения России. В 1921-м работал во Всероссийском комитете помощи голодающим Поволжья (Помгол). В 1922 г. на «философском пароходе» выслан из РСФСР. Жил в Берлине, Праге, Женеве, с 1939-го — в США.

Симонов монастырь — Симонов Успенский мужской монастырь расположен на берегу Москвы-реки. Основан в XIV в. преподобным Федором, учеником и племянником Сергия Радонежского. Получил название Симонова по имени инок Симона, пожертвовавшего свои земли новой обители. Закрыт в 1923 г.

С. 105. ...*все здание снесено большевизской артиллерией.* — Здания Алексеевского военного училища, а также трех кадетских корпусов в Лефортове, где укрепились юнкера, кадеты, гимназистки, обстреливались 29–30 октября. После ожесточенных боев в ночь на 31 октября 1917 г. они были захвачены революционными частями.

С. 106. *Смоленский рынок* — располагался на Садовом кольце, в районе Смоленской площади и Протоchnого переуллка. Известен с XVII в. Ликвидирован в середине 1920-х годов. Во время октябрьских боев в Москве силы КОБ укрепились на Садовом кольце от Крымского моста до Смоленского рынка.

С. 107. ...*чтобы мы немедленно приступили к стягиванию наших сил.* — Договор о перемирии между Военно-революционным комитетом (ВРК) и Комитетом общественной безопасности (КОБ) был заключен 2 ноября 1917 г. Согласно этому договору, КОБ должен был прекратить свое существование, а Белая гвардия — разоружиться и расформироваться (с гарантией сохранения офицерам присвоенного их званию оружия, юнкерским училищам — оружия, необходимого для обучения). Также предписывалось освободить всех пленных обеих сторон и прекратить военные действия.

С. 108. *Хованский Иван Константинович* — полковник, георгиевский кавалер, участник Первой мировой войны. В Добровольческой армии командовал офицерской ротой и юнкерским батальоном. В апреле 1918 г. во время Ледяного похода командовал 1-м Офицерским полком, в котором служил С.Эфрон.

...*расчистить путь к Брянскому вокзалу.* — Ныне Киевский вокзал. *Драгомиловский мост уже в наших руках.* — Речь идет о современном Бородинском мосте, который был построен в 1909–1912 гг. и через реку Москву соединял Смоленскую и Б.Дорогомиловскую улицы. Первоначально на этом месте находился деревянный Дорогомиловский мост, сооруженный в конце XVIII в. И хотя в 1847 г. он был переименован в Бородинский, москвичи еще очень долгое время продолжали употреблять старое название.

Вокзал и мост в дни октябрьских боев 1917 г. были стратегически важными объектами и переходили из рук в руки. В ночь на 28 октября юнкера захватили мост, а 29 октября — вокзал.

С. 109. ...*там собираются силы для спасения России.* — На Дону, в Новочеркасске, формировалась офицерская организация под командованием генерала М.В.Алексеева. См. примеч. к с. 115.

С. 111. *Когда это было?.. Кажется, были сумерки, а может быть, просто все казалось сумеречным.* — Согласно условиям договора между воюющими сторонами, 3 ноября 1917 г. к часу дня в Александровском военном училище собрались офицеры и юнкера, занимавшие близлежащие к училищу районы (Кремль, Арбат, Б. и М. Никитские ул.). В 4 часа дня началось их разоружение, длившееся до позднего вечера.

С. 112. *...Барочная улица.* — На Барочной ул., в доме № 39 (здании бывшего лазарета) находился штаб «Алексеевской организации» (см. примеч. к с. 115). Добровольцы размещались в этом же здании.

С. 113. *Из Крыма, а в Крым из Москвы.* — После октябрьских боев в Москве и победы большевиков С.Эфрон вместе с М.Цветаевой и С.Гольцевым уехал в Коктебель, к М.Волошину. Оттуда — на Дон, в Добровольческую армию.

С. 114. *Синельниково* — село в Днепропетровской области.

С. 115. *Генерал Алексеев* Михаил Васильевич (1857–1918) — участник Русско-японской войны. В марте-мае 1917 г. был Верховным главнокомандующим. По инициативе М.В.Алексеева на фронте была создана широкая сеть солдатско-офицерских организаций, находившихся в своей массе под влиянием командования. После октябрьского переворота он уехал в Новочеркасск, где в начале ноября приступил к созданию своей «Алексеевской организации» — добровольного военного формирования из бежавших на Дон офицеров, юнкеров, кадетов, гимназистов старших классов и др. 25 декабря формирование получило наименование Добровольческой армии, которая обязывалась стоять на страже гражданской свободы. После гибели Корнилова Алексеев стал руководителем «Особого совещания» (правительства территории, на которую распространялась власть Добровольческой армии). Умер от болезни сердца.

Георгиевский полк — полк, действующий в составе белогвардейских сил на юге России. С конца ноября 1917 г. он участвовал в боях с большевиками в районе Ростова. Состав его вследствие больших потерь непрерывно менялся. Во время Ледяного похода он был влит особым батальоном в Корниловский ударный полк.

По собственному свидетельству С.Эфрона, после реорганизации он был зачислен не в Корниловский, а в 1-й Сводно-офицерский полк под командованием генерала С.Л.Маркова (1879–1918).

...подпишешь присягу. — Все желающие вступить в «Алексеевскую организацию» подавали письменное заявление о добровольном желании служить в организации.

С. 117. *...морской офицер, капитан 2 ранга Потемкин.* — Потемкин В.Н. (?–1938) — капитан 1-го ранга. Представитель древнего дворянского рода. Участник Русско-японской войны, был ранен и взят в плен. В октябре 1917 г. арестован большевиками и предан суду революционного трибунала, бежал. Создал на юге России Морскую роту Добровольческой армии. Впоследствии занимал

ряд командных должностей. Перед эвакуацией из Крыма получил назначение на пост начальника дивизиона морских канонерских лодок в Азовском море. При эвакуации был комендантом всех пристаней и погрузок в Керчи. В Константинополе назначен командиром военного транспорта «Ялта». Умер от ран в Париже.

С. 118. *Миончинский* Дмитрий Тимофеевич (1889–1918) – дворянин, полковник, участник Первой мировой войны. В декабре 1917 г. прибыл на Дон в отряд есаула Чернецова. В Добровольческой армии командовал несколькими войсковыми соединениями. Погиб во время Ледяного похода.

С. 120. ...*Рождество в Москве проведешь*. – В Москву С.Эфрон приехал инкогнито в январе 1918 г. В день последней встречи с ним 18 января 1918 г., когда С.Эфрон возвращался в Добровольческую армию, М.Цветаева написала стихотворение «На кортике своем: Марина...», открывающее ее поэтический сборник «Лебединый стан».

ТИФ

Скорее всего, в основу этого рассказа положена реальная поездка С.Эфрона в Москву в январе 1918 г., по поручению командования Добровольческой армии.

С. 124. *Литер* – здесь: свидетельство на право проезда по железной дороге.

С. 125. *Цибуля* – лук (укр.).

С. 126. ...«единую и великую»... – Искаженный лозунг Добровольческой армии: «За единую и неделимую Россию».

Кираса – металлические латы, надевавшиеся на спину и грудь для защиты от ударов холодным оружием; к началу XX в. сохранились в кавалерии как принадлежность парадной формы.

С. 128. *Василий Иванович, вы ли?* – Прототипом Василия Ивановича является сам С.Я.Эфрон.

С. 129. *Два раза в Москву и обратно...* – Очевидно, художественный домысел. Во всяком случае, известно только об одной поездке С.Эфрона в Москву (см. примеч. к с. 120).

...*перед совещанием московским...* – Совещание, созванное правительством А.Ф.Керенского в августе 1917 г. в Москве. На этом совещании Л.Г.Корнилов выступил с призывом применить военную силу.

С. 130. ...*поход Корниловский...* – Речь, по-видимому, идет о наступлении на Петроград, которое организовал генерал Корнилов в августе 1917 г. (см. примеч. к с. 69). Корниловским также называют 1-й Кубанский (Ледяной поход).

Петлюра Симон Васильевич (1879–1926) – политический деятель, военачальник. После Февральской революции организовал Украинский Военный Комитет. Был министром обороны украин-

ского правительства (Центральной рады). Восстал против правления Скоропадского и после его падения (с ноября 1918 г.) был членом украинской Директории, а затем ее председателем и атаманом, командующим украинской армией. Воевал в союзе с Польшей. Был сторонником «самостийной» Украины.

В октябре 1920 г. вместе с правительством Украинской Народной Республики (УНР) эмигрировал в Польшу; после настоятельных требований СССР выдать его властям в 1923 г. переехал в Будапешт, в конце 1924 г. — в Париж. Убит С.Шварцбартом, который в ходе судебного процесса инкриминировал Петлюре организацию еврейских погромов на Украине.

Гетман — имеется в виду Скоропадский Павел Петрович (1873—1945) — политический деятель, военачальник, представитель древнего дворянского рода, участник Русско-японской и Первой мировой войн. С января 1917 г. он командовал 34-м армейским корпусом. В октябре на съезде Вольного казачества был выбран атаманом, но спустя месяц, чувствуя к себе недоверие со стороны Центральной рады, подал в отставку. Когда в апреле 1918 г. на хлебоборбском конгрессе, созванном по инициативе «Союза земельных собственников», было провозглашено создание украинской державы, Скоропадский встал во главе ее. В период его правления вступили в силу около 400 государственных актов, многие из которых содействовали украинизации населения. Скоропадский также провел работу по «очищению» местного самоуправления от демократических партий, санкционировал аресты членов украинских политических организаций, начал карательные экспедиции против крестьян, участвовавших в захвате помещичьих земель. Эти акции стали причиной ноябрьского народного восстания против гетмана, в результате чего он отрекся от власти и выехал в Германию. В годы Второй мировой войны сотрудничал с фашистами.

...устроился товарищем... — Здесь: в значении помощник, заместитель.

С. 133. *Аттила* (?—453) — предводитель гуннов. Возглавил опустошительные походы в Восточную Римскую империю, Галлию, Северную Италию.

С. 137. *Клуня* — гумно, крытая площадка для молотбы хлеба (*укр. и южн.-русск.*).

Марина Цветаева

ОКТЯБРЬ В ВАГОНЕ

С. 145. *Кремль и все памятники взорваны.* — Этот ложный слух возник после обстрела Кремля большевиками.

56-ой полк. — См. примеч. к с. 69.

Письмо в тетрадку — обращено к С.Эфрону и написано по дороге из Крыма в Москву.

...*подъезжая к Харькову, прочла «Южный Край»*. — Газета выходила в Харькове (1880—1919).

С. 145—146. *Помните те огромные ключи, которыми Вы на ночь запирали ворота?* — С.Эфрон участвовал в охране Кремля от большевиков (см. очерк «Записки добровольца»). По этому поводу А.С.Эфрон писала: «Папа... один раз прибежал с огромным ключом от кремлевских ворот» (письмо П.Антокольскому от 21 июня 1966 г.).

С. 146. *Если Бог сделает это чудо... буду ходить за Вами как собака.* — Перечитывая очерк перед реэмиграцией в СССР, Цветаева сделала на полях приписку: «Вот и пойду — как собака. МЦ. 17.VI-1938 г.».

«*Курская Жизнь*» — газета курских эсеров (1917 г.).

Лозовая — железнодорожная станция и поселок в Харьковской губернии (с 1938 г. — город).

С. 147. *«Двадцать три»*. — В октябре 1917 г. С.Эфрону было двадцать четыре года.

С. 148. *Сенная* — имеется в виду Смоленская Сенная площадь.

Церковь Бориса и Глеба. — Церковь Бориса и Глеба находилась на Поварской улице напротив Борисоглебского переуллка. Снесена в 1930 г.

Есть еще на Арбатской площади. — Церковь снесена в 1930 г., несмотря на выдающиеся художественные достоинства, под предлогом реконструкции Арбатской площади.

С. 149. *Покровская* — ныне Бакунинская улица.

...*в Александровском, с юнкерями...* — См. очерк «Записки добровольца» и примеч. к с. 93 и 105.

...*сестры барфиновы...* — Сестры С.Эфрона: Лиля (Елизавета Яковлевна Эфрон; 1885—1976), впоследствии режиссер, педагог, и Вера (Вера Яковлевна Эфрон; 1888—1945), актриса, впоследствии сотрудница Государственной библиотеки им. В.И.Ленина.

С. 150. ...*свой дом на Полянке*. — В 1912 г. М.Цветаева купила дом на Полянке (на деньги, подаренные к свадьбе вдовой ее деда А.Д.Мейна Сусанной Давыдовой, домашнее прозвище которой было Тью). В начале Первой мировой войны (супруги Эфрон были в это время в Крыму) дом был сдан в аренду под психиатрическую лечебницу. Вернувшись в Москву, Цветаева не захотела больше жить в этом доме и на получаемую за него арендную плату сняла квартиру в Борисоглебском переулке. В революцию дом на Полянке был экспроприрован, до наших дней не сохранился.

В вечер того же дня уезжаем... — 4 ноября 1917 г. Цветаева уехала из Москвы в Крым проводить мужа в Добровольческую армию.

Г<оль>цев — см. примеч. к очерку «Записки добровольца», с. 84.

С. 151. ...на приступочке башни... — В очерке «Живое о живом» М.Цветаева описывает дом М.Волошина в Коктебеле: «Была большая просторная комната, со временем Макс достроил верх, а потолок снял, — получилась высота в два этажа и в два света. Внизу была мастерская, из которой по внутренней лестнице наверх, в библиотеку, расположенную галереей».

Тэн Ипполит Адольф (1828–1893) — французский философ, писатель, историк и теоретик искусства. В своей философии истории и искусства очень большое значение придавал роли среды, пытался выявить истоки выдающихся способностей у гениев.

...Вандея... — Во время Великой французской революции в департаменте Вандея шли особенно кровопролитные бои.

Отузы — татарская деревня близ Коктебеля.

...с каббалистическими знаками... — Каббала — мистическое учение в иудаизме, основанное на толковании Ветхого Завета и доступное только посвященным. В XIX–XX вв. возрос интерес к каббале и ее символам.

...обратный путь в Москву... — М.Цветаева выехала в Москву, чтобы забрать детей и вернуться в Крым, где, кроме М.Волошина, жила тогда ее сестра Ася, но это оказалось невозможным: страна уже была поделена на «белую» и «красную» части, между которыми не было сообщения.

Брешко-Брешковская Екатерина Константиновна (1844–1934) — один из организаторов и лидер партии эсеров, «бабушка русской революции», ратовала за продолжение войны с Германией.

С. 152. Викжель — Всероссийский исполком союза железнодорожников (авг. 1917 — янв. 1918), центральный профсоюзный орган на железной дороге. 29 октября 1917 г., угрожая всеобщей забастовкой железнодорожников, Викжель потребовал создания «однородного социалистического правительства» из представителей всех «советских партий» — от большевиков до народников-социалистов, замены В.И.Ленина на посту председателя Совета народных комиссаров (СНК).

М.Цветаева называет так своего попутчика по той причине, что он, видимо, является железнодорожным служащим.

С. 153. ...ни бедного, мал, ни богатого: человеческая и во всех Христос. — Искраженная цитата из послания апостола Павла к Колоссянам (3, 11).

С. 154. «Пушки с пристани палят, / Кораблям пристать велят». — Цитата из «Сказки о царе Салтане...» А.С.Пушкина.

С. 155. Люба — возможно, Л.Жуковская (родственница А.К.Герцык, поэтессы, старшей подруги М.Цветаевой).

ПИСЬМА С.ЭФРОНУ

1

С. 156. ...предлагает помочь в продаже дома. — Имеется в виду собственный дом М.Цветаевой и С.Эфрона на Полянке.

Сергей Иванович Гольцев.

Дуня — возможно, молочница или прислуга.

Додя — возможно, Дарья Андреевна Юнге (урожд. Котлярова; ок. 1885—1955), жена Александра Эдуардовича Юнге (1872—1921) — ботаника.

Таня — имеется в виду Татьяна Исааковна Плущер-Сарна (1887—1972) — жена Никодима Акимовича Плущер-Сарна (1883—1945) — друга М.Цветаевой, адресата многих ее стихов 1916—1917 гг.

2

С. 157. *Вера* — имеется в виду Вера Яковлевна Эфрон.

...дала *Тане*... — Речь идет о Т.И.Плущер-Сарна.

...одна мерзость, которую... надо выселить. — Кого имеет в виду М.Цветаева, установить не удалось.

Цетлины — имеются в виду Михаил Осипович Цетлин (Цейтлин, 1882—1945), поэт, и его жена Мария Самойловна (1882—1976) — друзья М.Волошина, знакомые М.Цветаевой.

Ольга Артуровна Рогозинская (урожд. Лаоссон; 1888—1971) — жена Владимира Александровича Рогозинского (1882—1951), инженер, архитектора, друга Волошина.

Редлихи — имеются в виду Алиса Федоровна Редлих (урожд. Матиссен; 1868—1944) — пианистка и Эрнест Морицевич Редлих (1858 — ок. 1924) — художник.

У Жуковских разграблено... все имение... — Имеется в виду имение Канашово в Долыссах Витебской губернии, принадлежавшее брату Дмитрия Евгеньевича Жуковского (1866—1943), переводчика, издателя, мужа А.К.Герцык — близкой приятельницы М.Цветаевой.

Гольдовские — имеются в виду Онисим Борисович (1858—1922) — московский адвокат и его жена Рашель Мироновна (урожд. Хин, в первом браке Фельдштейн; 1863—1928) — писательница, печатавшаяся главным образом под своей девичьей фамилией, — отчим и мать М.С.Фельдштейна, женатого вторым браком на Е.Я.Эфрон.

Старынкевич Елизавета Ивановна (урожд. Шевырева; 1890—1966) — знакомая Волошина и сестер Эфрон.

Рашель — имеется в виду Р.М.Гольдовская.

Миша — имеется в виду М.С.Фельдштейн.

С. 158. *Бальмонт* Константин Дмитриевич (1867–1942) — поэт, друг М. Цветаевой. Эмигрировал в 1920 г.

...поместил их в какую-то однодневку-газету... — Имеется в виду однодневная газета «Слову — свобода» (Издание Клуба московских писателей), вышедшая 10 декабря 1917 г.

Борис — имеется в виду Б. С. Трухачев. См. примеч. к с. 61.

Радин — имеется в виду Николай Мариусович Радин (наст. фам. Казанков; 1872–1935) — актер, режиссер.

ВОЛЬНЫЙ ПРОЕЗД

С. 160. ...*Институт Кавалерственной Дамы Чертовой*... — Александро-Мариинский Кавалерственной дамы Чертовой институт, подготавливавший дочерей офицеров и военных врачей к педагогической деятельности, находился на Пречистенке.

Клянуся Стиксом... — В древнегреческой мифологии Стикс — река в царстве мертвых. Клятва водой Стикса была одной из самых страшных клятв для богов и людей.

С. 161. *Реалка* — реальное училище.

...*церковь* — «*Великого Совета Ангел*»... — Часовня во имя «Великого Совета Ангела», построенная в конце XVII в., находилась за храмом Василия Блаженного. Разрушена в 1930 г.

С. 163. *Мизгирь* — злой паук, тарантул (обл.).

С. 166. *Ластик* — дешевый сорт бумажной материи.

С. 167. *Хвунт* — искаженное фунт: мера веса, равная приблизительно 400 г.

С. 168. ...*на Казанской*... — 4 ноября (22 октября) Церковь совершает празднование Казанской иконы Божьей Матери, установленное в честь избавления Москвы и всей России от поляков в 1612 г.

С. 170. *От моих вероломных Тезев (хорош — Наксос!)*... — Согласно древнегреческой мифологии, Тезей оставил влюбленную в него Ариадну на острове Наксос.

С. 171. ...*убиенному Урицкому. Я... знала его убийцу... вместе в песок играли: Каннегиссер Леонид*. — Урицкий Моисей Соломонович (1873–1918) — председатель Петроградской ЧК, был убит по этому Каннегиссером Леонидом Акимовичем (1898–1918), эсером. После чего объявили «красный террор», а Каннегиссера расстреляли. «В песок» с Каннегиссером Цветаева не играла. Она познакомилась с ним в Петрограде в канун 1916 г. См. также ее воспоминания «Нездешний вечер».

С. 172. *А дальше покушение на Ленина... Ваша однофамилица: Каплан*. — Каплан Фанни Ефимовна (ок. 1890–1918) — эсерка, стреляла в Ленина. Убийство Урицкого и покушение на Ленина произошли в один день, 30 августа 1918 г. Некоторые современные

историки считают обвинение против Ф.Е.Каплан сфальсифицированным.

С. 173. *Николаша* – Николай II (1868–1918) – последний российский император.

Два Георгия. – Имеется в виду орден Святого Георгия.

...мой Разин (песенный)... – К образу Степана Разина М.Цветаева обращалась неоднократно. В 1917 г. она написала цикл из трех стихотворений «Стенька Разин».

«Город славный, город древний...» – Неточная цитата из стихотворения Ф.Н.Глинки «Москва».

С. 174. *Иван-Великий-Колокол* – имеется в виду церковь в Кремле – колокольня Ивана Великого, построенная в самом начале XVI в.

С. 175. *Из-за одного праведника Содом спасу?* – Содом – город в Древней Палестине, который, согласно библейскому преданию, был разрушен землетрясением и «огненным дождем» за грехи жителей.

Гракхи-братья – Тиберий (162–133 до н.э.) и Гай (153–121 до н.э.) – политические деятели Древнего Рима, героически погибли в борьбе с сенатом.

По дороге из Берлина... – Во время Первой мировой войны, когда Россия воевала с Германией, группа большевиков во главе с Лениным вернулась из эмиграции в Петроград через Берлин в plombированном вагоне.

Околodочный надзиратель – полицейский определенного городского участка.

С. 176. *Денница* – утренняя заря.

Наследник – цесаревич Алексей Николаевич (1904–1918).

...Пойла – стойла... – Имеются в виду строчки из стихотворения «Кровных коней запрягайте в дровни...»: «Перепивайтесь кровавым пойлом. / Стойла – в соборы! Соборы – в стойла!»

С. 177. *«Ветры спать ушли с золотой зарей...»* – Этим стихотворением открывается цикл «Стенька Разин».

Будто есть... в нашей русской земле озеро... – Далее рассказывается один из вариантов легенды о граде Китеже.

С. 179. *А вот у меня еще с собой книжечка о Москве*... – Речь идет о сборнике «Москва в истории и литературе», составленном Михаилом Ковалевским (издание Универсальной библиотеки, 1916). Достоверно известно, что М.Цветаева дарила эту книгу О.Мандельштаму и Э.Миндлину.

С. 180. *Хитровка* – имеется в виду Хитров рынок в Москве, где процветала уголовщина.

С. 183. *Стеклов* (наст. фамилия Нахамкис) Юрий Михайлович (1873–1941) – советский государственный и партийный деятель, публицист. Автор трудов по истории революционного движения. В 1917–1925 гг. – редактор «Известий».

«Во сне все возможно» — повесть Алексея Николаевича Венчикова (наст. фам. Ульянов), вышедшая в Москве в 1915 г.

Кальдерон де ла Барка Педро (1600—1681) — испанский драматург. «Жизнь есть сон» — его религиозно-философская драма (1636).

Бердслей (Бердсли) Обри Винсент (1872—1898) — английский художник-график, писатель, автор афоризмов.

С. 185. *Штоф* — мера вина, водки — $\frac{1}{10}$ ведра (*устар.*). Здесь: бутылка водки такой меры.

Сергей Эфрон

ПИСЬМО М.ЦВЕТАЕВОЙ

С. 187. ...*Троцкий окончательно закрыл границы...* — В октябре 1918 г. был запрещен выезд на Украину.

Слышал о «неделе бедноты»... — К первой годовщине революции был приурочен съезд комитетов деревенской бедноты северной области в Петрограде.

Никодим Акимович Плугер-Сарна (1883—1945) — друг М.Цветаевой. К нему обращены многие стихотворения второй половины 1910-х годов.

...*Добровольческая армия начнет движение на Великороссию.* — Наступление началось только летом 1919 г.

С. 188. ...*может случиться, что я попаду... в отряд,двигающийся в другом направлении.* — Произошло именно так.

Зелинская — по-видимому, Валентина Иосифовна Зелинская (ок. 1894—1928).

Ирина Борисовна Трухачева (1918—1980) — дочь Б.С.Трухачева и М.И.Кузнецовой.

Марина Цветаева

МОИ СЛУЖБЫ

С. 189. ...*мой квартирант... Икс.* — Закс Генрих Бернардович (1886—1941) — польский коммунист.

Наркомнац — Народный комиссариат по делам национальностей. Образован в 1917 г., просуществовал до 1924 г. Его бессменным руководителем был И.В.Сталин.

Чрезвычайка — Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК или ЧК) во главе с Ф.Э.Дзержинским.

Дом Ростовых? — Дом на углу Поварской и Кудринской (бывш. дом графа В.А.Соллогуба); считается, что Л.Н.Толстой описал его как дом Ростовых, героев романа «Война и мир».

С. 191. *Куцавейка* (кацавейка) — теплая, стеганная на вате женская куртка, распашная, сильно расширенная книзу, без воротника, горловина круглая, прошита фигурной строчкой.

Стекло — см. примеч. к с. 183.

Керженцев (наст. фам. Лебедев) Платон Михайлович (1881—1940) — советский государственный и партийный деятель, журналист.

С. 192. ...*розовая, здоровая, курчавая... легко-мыслящая и легко-любящая... Атенаис из «Боги жаждут» Франса...* — М.Цветаева верно характеризует героиню А.Франса Атенаис, но «в роковой тележке», по дороге на казнь, она не «опрavляла юбки».

С. 193. *Джунковский* Владимир Федорович (1865 — не ранее 1938) — московский генерал-губернатор.

С. 194. *Отец* — Иван Владимирович Цветаев (1847—1913) — известный филолог и искусствовед, с 1877 г. — профессор Московского университета. Основатель Музея изящных искусств (ныне Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина).

С. 195. ...*после столькох школ, пансионов и гимназий...* — С 1902 по 1906 г. в связи с болезнью матери и необходимостью лечения на европейских курортах Марина и Ася учились в разных странах Европы; после смерти Марии Александровны М.Цветаева также сменила ряд учебных заведений (пансион фон Дервиз, гимназия Алферовой, гимназия Брюхоненко) и ни одно не закончила.

Миллер Вацлав Александрович (1887—1939) — в 1918—1920 гг. заведовал информационным отделом в Наркомнаце.

...я ... *по бабушке... тоже полячка.* — Бабушка М.Цветаевой со стороны матери, Мария Лукинична Мейн, урожд. Бернацкая (1841—1869) — полячка.

С. 196. ...*схождение Богородицы в ад или Орфея в Аид.* — В христианской литературе нигде не говорится о сходе Богородицы в ад.

В древнегреческой мифологии Орфей — певец и музыкант, наделенный магической силой искусства, которой покорялись не только люди, но и боги, и силы природы. Аид — подземное царство. В одном из эпизодов мифа Орфей спускается в подземное царство за своей женой Эвридикой, чтобы вывести ее оттуда.

Хронос — на древнегреческом языке — «время». Народная этимология сблизила это слово с Кроносом — одним из титанов, который поедал собственных детей. В древнеримской мифологии Кронос известен под именем Сатурна, который воспринимался как символ неумолимого времени.

Психея — в древнегреческой мифологии олицетворение души. В терминологии Цветаевой Психея противопоставлялась Еве, земному, физическому началу.

Захлестнута... райской пеной!.. Афродиты... — В древнегреческой мифологии Афродита — богиня любви и красоты, согласно одному из вариантов мифа родилась из морской пены.

С. 197. *Бонивар* Франсуа (1493—1570) — швейцарский гуманист, участник политической борьбы за независимость Женевы. Заключен в подземелье Шильонского замка, получил прозвище «шильонский узник».

Жерло — здесь: входное отверстие в печи.

«Котлы кипят кипучие, ножи точат булатные, хотят козла зарезать...» — Из русской народной сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка».

...у Пана... — Имеется в виду картина М.А.Врубеля (1856—1910) «Пан». В древнегреческой мифологии Пан — бог лесов и рощ, покровитель пастухов.

С. 199. *Мамонтов* (Мамантов) Константин Константинович (1869—1920) — генерал-лейтенант русской армии, один из организаторов Белого движения, командир конного корпуса в Вооруженных силах Юга России.

С. 200. *Ламартин* Альфонс Мари Луи де (1790—1869) — французский поэт-романтик, публицист, политический деятель.

С. 201. *... это была французженка...* — Имеется в виду Гедвилло Елена Адамовна — преподавательница французского языка в женской гимназии М.Г.Брюхоненко.

Альмандин — драгоценный камень группы гранатов. *Аладдин* (Аладдин) — герой арабской сказки «Аладдин и волшебная лампа». *Альманзор* (Альмансор, аль-Мансур; ?—1002) — фактический правитель Кордовского халифата (с 976 г.). *Альгамбра* — дворцовый комплекс в Испании (XIV в.).

Випер — здесь: удар (от англ. whip — хлестать).

...ять выскакивает, контрреволюционное... — В 1918 г. была проведена реформа русского алфавита, при которой буква «ять» была упразднена. М.Цветаева принципиально не принимала новой орфографии, как не принимала всего исходящего от новой власти.

С. 202. *Сгребая черновую с Казановой...* — В это время М.Цветаева работала над пьесой «Приключение», главный герой которой Джованни Джакомо Казанова (1725—1798), проведший бурную авантюрную жизнь, автор многотомных мемуаров, в которых с поразительной откровенностью описывает свою интимную жизнь. Казанова также герой пьесы М.Цветаевой «Феникс».

Урядник — в царской России нижний полицейский чин.

С. 205. *«Всегда вперед»* — орган печати Центрального и Московского комитета РСДРП (М., 1918—1919).

С. 206. ...*кроме великих княжон!* — Великие княжны (четыре дочери Николая II) были расстреляны вместе с ним 17 июня 1918 г.

С. 207. *Иерусалимское подворье* — церковь Воскресения Христова, Старо-Иерусалимского Патриаршего подворья на Пречистенском (ныне Гоголевском) бульваре.

Эльзевир — книги, напечатанные в знаменитых голландских типографиях XVI—XVIII вв., принадлежавших Эльзевирам.

Библиотечной комиссией заведует Брюсов. — В 1918—1919 гг. В.Я.Брюсов заведовал библиотечным отделом при Наркомпросе (Народном комиссариате просвещения).

С. 209. *«Марина, подари мне Кремль!»* — Ср. в цикле «Але» (24 августа 1918 г.): «Когда-то сказала: — Купи! — / Сверкнув на кремлевские башни».

Моя тигровая шуба... которую Мандельштам, влюбившись в Москву, упорно величал боярской. — В январе-феврале 1916 г. О.Мандельштам дважды приезжал в Москву, чтобы увидеться с М.Цветаевой «В эти чудесные дни, — вспоминает она в очерке «История одного посвящения», — я дарила ему Москву». О прогулках с Цветаевой по Москве Мандельштам вспоминает в стихотворении «В разноголосице девического хора...»: «И пятиглавые московские соборы / С их итальянскою и русскою душой / Напоминают мне явление Авроры, / Но с русским именем и в шубке меховой».

С. 211. ...*слезы или пот на лице, не знаю*. — Скрытая неточная цитата из стихотворения Н.А.Некрасова «В полном разгаре страда деревенская...» («Слезы ли, пот ли у ней над ресницами...»).

О, как все это я любила! — Скрытая цитата из стихотворения Ф.И.Тютчева «Весь день она лежала в забытии...».

Стахович Алексей Александрович (1856—1919) — актер Московского Художественного театра (МХТ), преподаватель сценического движения в III студии МХТ. Ему М.Цветаева посвятила два стихотворения — «Памяти Стаховича» в сб. «Лебединый стан» («Не от запертых на семь замков пекарен...», «Высокой горести моей...») и мемуарный очерк «Смерть Стаховича» (1926).

С. 212. *Сухарева* (Сухаревка) — имеется в виду рынок вокруг Сухаревской башни на Сретенке, снесенной в 1934 г.

Монпленбеж — ошибка (м.б., намеренная) М.Цветаевой: надо «Мопленбеж» — Московское отделение Центральной коллегии по делам пленных и беженцев; *Монплезир* (Монплезир) — дворец в Петергофе, построен в XVIII в.

С. 214. *«Фортуна»* — пьеса М.Цветаевой из цикла «Романтика», над которой она работала в 1919 г.

С. 215. ...*во «Дворце Искусств»*... — «Дом Соллогуба» стал Дворцом искусств весной 1919 г.

Читали... Лунначарский — из швейцарского поэта Карла Мюллера... — Лунначарский Анатолий Васильевич (1875—1933) — советский государственный и партийный деятель, писатель, критик, переводчик. С 1917 г. —

нарком просвещения. Поэта Карла Мюллера не существует, вероятно, имеется в виду швейцарский поэт Конрад Мейр (1825–1898).

Дир Туманный — юношеский поэтический псевдоним известного впоследствии прозаика Панова Николая Николаевича (1903–1973).

С. 216. ...*И я, Лозэн, рукой белей, чем снег...* — Из монолога главного героя «Фортуны» — Лозэна. Арман-Луи де Гонто, герцог Лозэн — реальное историческое лицо. Один из деятелей Французской революции, впоследствии из-за аристократического происхождения обвинен в предательстве и казнен.

С. 217. *Рукавишников* Иван Сергеевич (1877–1930) — поэт, писатель, первый директор Дворца искусств.

...*у Иверской...* — Икона Иверской Божьей Матери — одна из наиболее чтимых московских святынь — находилась в Иверской часовне на Красной площади. Часовня была снесена большевиками. Восстановлена в 1995 г.

ИЗ ДНЕВНИКА

С. 217. *Собачья площадка* — сквер в районе Арбата и Большой Молчановки. Ликвидирована в 1960-е годы при строительстве проспекта Калинина (ныне — Новый Арбат).

...*в доме напротив Пушкин читал своего Годунова.* — Имеется в виду дом С.А.Соболевского, библиотеки, библиографа, где 26 сентября 1926 г. А.С.Пушкин читал трагедию «Борис Годунов». Дом был расположен вблизи Собачьей площадки (Кречетниковский пер., 13). Не сохранился.

С. 218. *Пекарня Милешина* — булочная-пекарня С.М.Милешина находилась в доме № 2 по Борисоглебскому переулку.

С. 219. *Ржевская церковь* — церковь Божьей Матери Ржевской на Поварской. Снесена в 1952 г. На этом месте сейчас здание Верховного суда.

С. 220. *Белобородов* Александр Георгиевич (1891–1938) — советский государственный деятель, в 1918 г. председатель исполкома Уральского областного совета. Подписал решение о расстреле Николая II и его семьи.

...*убили русского царя, Николая II.* — Царь был расстрелян в ночь на 4 (17) июля 1918 г.

Ленин убит. — Ложный слух, очевидно связанный с покушением на В.И.Ленина. См. примеч. к очерку «Вольный проезд», с. 172.

Закс — см. примеч. к очерку «Мои службы», с. 189.

С. 222. *Из гимназии Брюхоненко.* — Частная гимназия Брюхоненко находилась в Б.Кисловском пер. М.Цветаева училась в ней в 1908–1910 гг.

«*Белая гвардия — путь твой высок*»... — Стихотворение, открывающее цикл «Дон» в «Лебедином стане».

Примечания

...весь «Дон»... — Цикл из трех стихотворений в «Лебедином стане».

С. 223. ...особняк, напоминающий Англию (никогда не была). — М.Цветаева впервые посетит Англию только в 1926 г. по приглашению своего друга, критика и литературоведа Д.П.Святополка-Мирского.

Штофный — сделанный из штофа, тяжелой портьерной ткани.

Жардиньерка — подставка, этажерка для комнатных цветов.

С. 225. *Колонтай* Александра Михайловна (1872–1952) — советский государственный и партийный деятель, дипломат, публицист. Традиционные семейные отношения считала буржуазными пережитками. Пропагандировала «любовь пчел» — свободную любовь трудящихся.

«*Plus royaliste que le Roi!*» — Выражение возникло в период правления Людовика XVI. Подразумеваются люди, идущие дальше тех, чьи взгляды и интересы они отстаивают.

«С.Э.» («ХОЧЕШЬ ЗНАТЬ, КАК ДНИ ПРОХОДЯТ...»)

С. 227. В ноябре 1919 г., когда было написано это стихотворение, М.Цветаева не имела никаких известий о муже.

«СИЖУ БЕЗ СВЕТА, И БЕЗ ХЛЕБА...»

С. 228. ...*может — всем своим покорством / — Мой Воин! — выкуплю тебя.* — Стихотворение написано в мае 1920 г., когда М.И.Цветаева по-прежнему ничего не знала о судьбе мужа.

«ПИСАЛА Я НА АСПИДНОЙ ДОСКЕ»

С. 228. *Аспидная доска* — черная доска, на которой пишут грифелем.

...*внутри кольца.* — См. примеч. к стихотворению «С.Э.» («Я с вызовом ношу его кольцо...»), с. 56.

Сергей Эфрон

О ДОБРОВОЛЬЧЕСТВЕ

С. 229. *Добровольчество. «Добрая воля к смерти» (слова поэта)...* — Авторский эпиграф к стихотворению М.Цветаевой «Посмертный марш» (23 января 1922 г. ст. ст.).

С. 230. *Зло олицетворялось большевиками. Борьба с ними стала первым лозунгом и негативной основой добровольчества.* — Лидеры Белого движения провозгласили лозунг «непредрешения», согласно которому задача Добровольческой армии заключалась лишь в разгроме большевиков. Определение будущего устройства России возлагалось на Учредительное собрание, которое должно быть создано после разгрома большевизма.

...умирали русские на Калке, на Куликовом, под Полтавой... — На реке Калке в 1223 г. произошло первое сражение русских войск с татаро-монголами, одержавшими победу. На Куликовом поле (между реками Непрявда и Дон) в 1380 г. произошла Куликовская битва, где русские войска под руководством Дмитрия Донского разгромили татаро-монгольское войско под руководством Мамая. В 1709 г. во время так называемой Северной войны русская армия под командованием Петра I разгромила шведскую армию Карла XII.

...до последнего Крыма... — Из Крыма Добровольческая армия 11–16 ноября 1920 г. покидала Россию.

«Махновщина» — анархо-крестьянское движение на юге Украины во время Гражданской войны, возглавляемое Махно Нестором Ивановичем (1888–1934). Махно воевал против белогвардейцев, а затем и против советской власти. В 1921 г. эмигрировал.

С. 232. *Орел, Курск... за Дон зализывать раны.* — Описан путь, по которому отступала Добровольческая армия в 1919 г., после завершения неудачей похода на Москву.

Пристав — в царской России начальник полиции небольшого административного района.

Становой — в царской России начальник административно-полицейского уезда, состоящего из нескольких волостей.

...переплыли в Крым. — 26–27 марта 1920 г. части Добровольческой армии под командованием генерала А.И.Деникина были эвакуированы из Новороссийска в Крым.

Землю крестьянам решили отдать за небольшой выкуп. — 25 мая (ст. ст.) 1920 г. генерал П.Н.Врангель издал приказ, согласно которому земля подлежала передаче в собственность крестьянам, с обязательством выплаты государству ее стоимости сразу или в течение 25 лет, хлебом или деньгами. (Для ср.: большевики приняли Декрет о земле, ликвидирующий помещичье землевладение, значительно раньше: 26 октября 1917 г.)

...на... Галлиполийском побережье. — В турецком городе Галлиполи (совр. назв. Гелиболу) союзники устроили лагерь для русской армии — 1-го корпуса под командованием генерала Кутепова. Место представляло собой голое поле, где было множество ядовитых змей. Большинство офицеров разместились в палатках, предоставленных французским правительством. Семейные устроили землянки и каменные лачуги.

Примечания

С. 233. ...«положив душу свою за други своя»... — Неточная цитата из Евангелия от Иоанна (15, 13).

...стреляет в Миллюкова, убивает Набокова... — Речь идет о покушении на Павла Николаевича Миллюкова, совершенном монархистами во время его выступления в Берлине 28 марта 1922 г. В результате покушения погиб Владимир Дмитриевич Набоков, министр Временного правительства, отец писателя Владимира Владимировича Набокова.

Марина Цветаева

ПИСЬМО С.ЭФРОНУ

С. 235. 18²⁰ января было три года как мы расстались. — См. примеч. к с. 120.

5²⁰ мая будет десять лет, как мы встретились. — М.Цветаева и С.Эфрон впервые встретились 5 мая 1911 г. в Коктебеле у М.Волошина.

Аля уже восемь лет... — Старшая дочь М.Цветаевой и С.Эфрона Ариадна родилась 5 сентября 1912 г.

С. 236. ...в прошлом году, в Сретение, умерла Ирина. — Младшая дочь М.Цветаевой умерла в феврале 1920 г. в кунцевском приюте, от голода.

С. 237. ...Вы прочтете эту книгу... — Очевидно, имеется в виду «Лебединый стан».

То, что Аля уцелела, — чудо. — Аля была больна малярией.

Лорд Фаунтлерой — герой повести американской писательницы Ф.Бернетт «История маленького лорда Фаунтлероя».

Домби — герой романа Ч.Диккенса «Домби и сын».

Глеб Яковлевич Эфрон (1889—1897) — старший брат С.Эфрона, умерший в семилетнем возрасте.

Г-вм — очевидно, имеется в виду Гольцев С.И. См. примеч. к с. 84.

«КАК ПО ТЕМ ДОНСКИМ БОЯМ...»

С. 244. По заморским городам / Все с тобой мечта моя. — С.Эфрон вместе с остатками Белой армии покинул Россию, о чем М.Цветаева узнала из его письма от 14 июля 1921 г.

...Однокальбельники. — М.Цветаева родилась 26 сентября (ст. ст.) 1892, С.Эфрон — 29 сентября 1893 г. Но Цветаева создала легенду о том, что они с мужем родились в один день, и всегда праздновала дни рождения вместе.

Сергей Эфрон

ПИСЬМО М.ЦВЕТАЕВОЙ

С. 246. ...от Ильи Григорьевича... — По просьбе М.Цветаевой Эренбург узнал о местонахождении С.Эфрона.

Константин Дмитриевич — речь идет о Бальмонте.

С. 247. *Перечитайте Пьера Лоти.* — Очевидно, имеется в виду «Книга милосердия и смерти» французского писателя Пьера Лоти (наст. имя Луи Мари Жюльен Вио; 1850–1923).

СТРУИСТАЯ ЛЕСТНИЦА ЛЕТЫ

Сергей Эфрон

ЦЕРКОВНЫЕ ЛЮДИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

С. 251. *Кроки* — набросок чертежа, рисунка.

... «отречься от старого мира»... — Неточная цитата из «Интернационала».

С. 252. ...*грабь награбленное*... — Один из лозунгов большевистской революции.

С. 253. ... «*Царство Его не от мира сего*». — Неточная цитата из Евангелия от Иоанна (18, 36).

С. 255. *Константин Великий* (ок. 285–337) — древнеримский император с 306 г. Поддерживал христианскую церковь, сохраняя также языческие культы.

Юстиниан (482 или 483–565) — византийский император с 527 г. Провел кодификацию римского права.

О ПУТЯХ К РОССИИ

С. 257. «*Нету лиц у них и нет имен...*» — Из стихотворения М.Цветаевой «Над церковкой — голубые облака...»

Сменовеховцы — участники общественно-политического движения в среде русской интеллигенции (главным образом эмигрантской), возникшего в 1920-е годы с введением новой экономической политики. Идеологи сменовеховства (Н.В.Устрялов, А.В.Бобринцев-Пушкин, С.С.Лукьянов, Ю.В.Ключников, С.С.Чахотин и др.) надеялись на возврат к капитализму, перерождение советской власти, призывали интеллигенцию к отказу от вооруженной борьбы и сотрудничеству с новой буржуазией и новой властью. Печатный орган — журнал «Смена вех» (Прага, октябрь 1921 — март 1922 г.). Сменовеховские идеи также активно пропагандировались в газете «Накануне» (Берлин, март 1922–1924 гг.).

Степун Федор Августович (псевд. А. Лугин; 1884–1965) – философ, писатель, публицист, литературный критик. Один из основателей философских журналов «Логос» и «Труды и дни», издатель модернистского альманаха «Шиповник». После октября 1917 г. был сотрудником газет правых эсеров «Возрождение» и «Сын Отечества», участвовал в работе Вольной академии духовной культуры. В 1922 г. выслан из СССР. Преподавал в религиозно-философской академии в Берлине. С 1926 г. – профессор Дрезденского университета, уволен в 1937 г. за антифашистские настроения. В 1931–1939 гг. работал в редакции журнала «Новый град» (Париж). С 1946 г. возглавлял кафедру русской культуры в Мюнхенском университете. Был руководителем русского христианского студенческого движения, публиковался в журналах «Современные записки» (Париж), «Грани» (Франкфурт-на-Майне), «Опыты» и «Новый журнал» (Нью-Йорк) и др.

ЭМИГРАЦИЯ

С. 262. ...*степуновский «Переслегин»*... – Имеется в виду художественно-автобиографический роман Ф.А.Степуна «Николай Переслегин» (1929).

...*минцловские рассказы*... – Имеются в виду исторические рассказы Сергея Рудольфовича Минцлова (1870–1933).

Муратов Павел Павлович (1881–1950) – прозаик, историк, искусствовед, автор книги «Образы Италии».

Алданов (наст. фам. Ландау) Марк Александрович (1886–1957) – автор многочисленных исторических романов.

Пешехонов Алексей Васильевич (1867–1933) – публицист, статистик, политический деятель. Один из основателей и лидеров партии народных социалистов (энесов). После слияния ее с трудовиками (в июне 1917 г.) – член ЦК трудовой народно-социалистической партии. С мая по август 1917 г. занимал пост министра продовольствия. После октябрьского переворота входил в «Союз возрождения России», был его представителем в Добровольческой армии. В 1922 г. выслан за границу. Жил в Риге, Праге, Берлине. Неоднократно обращался к Советскому правительству с просьбой разрешить ему вернуться в Россию. В журнале «*Воля России*» за 1925 г. (№ 7, 9/10, 11) была опубликована статья Пешехонова «Родина и эмиграция».

С. 263. *Гессен Иосиф Владимирович* (1866–1943) – общественно-политический деятель, адвокат, публицист. Член ЦК партии кадетов, один из лидеров ее правого крыла. С 1919 г. – в эмиграции. С 1921 г. – председатель Берлинского Союза русских писателей и журналистов, один из руководителей издательства «Слово», редактор газеты «Руль» (Берлин). Был издателем сборников «Архив русской революции». С 1935 г. жил в Париже, с 1941-го – в США.

Миллюков Павел Николаевич (1859–1943) — общественно-политический деятель, историк, публицист, теоретик и лидер партии кадетов. Редактор ее центрального органа — газеты «Речь». Министр иностранных дел в первом составе Временного правительства (март-май 1917 г.). Участвовал в подготовке корниловского выступления, осуществлял политическое руководство Добровольческой армией. С конца 1918 г. — за границей. В 1920-м обосновался в Париже, где стал главным редактором газеты «Последние новости». После раскола кадетской партии в 1921 г. возглавил ее «демократическую группу», оформившуюся через несколько лет в Республиканско-демократическое объединение. С 1938 г. — редактор ежемесячного журнала «Русские записки». Издавал также труды по истории России XIX–XX вв., Февральской и Октябрьской революциям. С началом нападения Германии на СССР заявил о солидарности с правительством СССР, тяжело переживал поражения Красной армии.

Павел Николаевич — имеется в виду Миллюков.

Петр Бернгардович Струве (1870–1944) — общественно-политический деятель, экономист, философ, историк, публицист. Редактор журнала «Русская мысль». Участник сб. «Вехи». В годы Первой мировой войны пропагандировал идею защиты Отечества. С августа 1917 г. член «Совета общественных деятелей», идеолог «белого дела», участник ряда белогвардейских организаций. В 1918 г. выступил инициатором издания «Из глубины: Сборник статей о русской революции», где в своем материале «Исторический смысл русской революции и национальные задачи» писал: «Русская революция оказалась национальным банкротством и мировым позором». С 1920 г. — в эмиграции. Там он продолжал активную издательскую и исследовательскую работу. С мая 1925 г. жил в Париже, редактировал газеты «Возрождение», «Россия», «Россия и славянство». До конца своих дней оставался непримиримым противником большевизма.

С. 264. *Евразийство* — идейно-политическое и общественное течение в среде русской эмиграции, возникшее в 1920 г. Его представители — П.Н.Савицкий, Н.С.Трубецкой, Г.В.Флоровский, П.П.Сувчинский, Г.В.Вернадский, Л.П.Карсавин и др. Евразийцы утверждали, что Россия — особая страна, органически соединившая в себе элементы Востока и Запада. Модель социально-политического устройства будущей России евразийцы надеялись осуществить мирным путем, через изменение сознания народных масс. В экономике они выступали за сочетание государственной и частной форм собственности. В духовной жизни особая роль отводилась ими православию. Идеи евразийства получили отражение во многих изданиях, в том числе газете «Евразия» (Париж), в редколлегиях которой входил С.Я.Эфрон. В начале 1929 г. произошел раскол движения. Представители

Примечания

левого крыла, лидерами которого были С.Я.Эфрон и Д.П.Святополк-Мирский, заняли просоветскую позицию. С середины 1930-х годов евразийство как организованное движение прекратило свое существование.

9-я Рождественка на Песках — название, очевидно, выдуманно С.Эфроном.

Муссолини Бенито (1883—1945) — фашистский диктатор в Италии в 1922—1943 гг. Основал фашистскую партию в 1919 г., захватил власть в стране и установил фашистскую диктатуру. Правительство Муссолини совместно с фашистской Германией развязало Вторую мировую войну. В 1945 г. захвачен итальянскими партизанами и казнен.

Унтергунд — метро (нем.).

С. 265. *Сменовеховство* — см. примеч. к с. 257.

С. 266. ...*красновского «За чертополохом»*. — Имеется в виду фантастический роман Петра Николаевича Краснова (1869—1947), где описывается конец большевизма и реставрация монархии в России.

В предыдущей статье своей (№ 6—7 «Пути в Россию»)... — Имеется в виду статья С.Эфрона «О путях к России», опубликованная в журнале «Своими путями» (Прага. 1925. № 6—7).

С. 268. *Книга о детях эмиграции, выпущенная под ред. Зеньковского*... — Имеется в виду сб. под ред. Зеньковского Василия Васильевича (1881—1962) «Дети эмиграции» (Прага, 1925).

Людмила Поликовская

Содержание

Лев Аннинский
Эфронт Марины Цветаевой 5

Друг у друга мы навек в плену

Сергей Эфрон
Волшебница 29

Марина Цветаева
На радость 52
Сергею Эфрон-Дурново 53
Генералам двенадцатого года 54
С.Э. 56
Письма С.Эфрону 57

Роковые времена

Сергей Эфрон
Записки добровольца 69
Тиф 121

Марина Цветаева
Октябрь в вагоне 145
Письма С.Эфрону 156
«На кортике своем: Марина...» 159
Вольный проезд 160

Сергей Эфрон
Письмо М.Цветаевой 187

Марина Цветаева

Мои службы 189

Из дневника 217

С.Э. 227

«Сижу без света, и без хлеба...» 228

«Писала я на аспидной доске...» 228

Сергей Эфрон

О добровольчестве 229

Марина Цветаева

Письмо С.Эфрону 235

Благая весть 239

«Как по тем донским боям...» 244

«Не похорошела за годы разлуки!..» 245

Сергей Эфрон

Письмо М.Цветаевой 246

Струистая лестница Леты

Сергей Эфрон

Церковные люди и современность 251

О путях к России 257

Эмиграция 261

От составителя 270

Примечания 271

Литературно-художественное издание

МАРИНА ЦВЕТАЕВА
СЕРГЕЙ ЭФРОН
Нет на земле второго Вас...

Редакторы Е.В.Толкачева, В.П.Кочетов
Художественный редактор Т.Н.Костерина
Технический редактор С.С.Басипова
Оператор компьютерной верстки М.Е.Басипова
Оператор компьютерной верстки переплета В.М.Драновский
Корректоры Н.В.Семенова, Е.В.Рудницкая

Подписано в печать 15.07.2007

Формат 60x90/16

Тираж 5 000 экз.

Заказ №4463

ЗАО «Издательство «Вагриус»
107076, Москва, ул. Стромынка, д. 19, к. 2

Отдел реализации издательства:
(495) 510-56-09, 510-56-10
Электронная почта:
vagrius@vagrius.com

Отпечатано в ОАО «ИПК
«Ульяновский Дом печати»
432980 г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 14.



МАРИНА ЦВЕТАЕВА

СЕРГЕЙ ЭФРОН

Нет на земле второго Вас...



ISBN 978-5-9697-0451-0



9 785969 704510